

библиотека
журнала

АНТРОПОЛОГИЯ СОЦИОЛОГИЯ ПОЛИТОЛОГИЯ ИСТОРИЯ

неприкосновенный
запас

РЕВОЛЮЦИЯ
ОТ ПЕРВОГО
ЛИЦА: ЙОХЕН ХЕЛЛЬБЕК
ДНЕВНИКИ
СТАЛИНСКОЙ
ЭПОХИ

Библиотека журнала «Неприкосновенный запас»

Йохен Хелльбек

Революция от первого лица: дневники сталинской эпохи

Новое литературное обозрение

Москва

2021

УДК 321.74(47+57)

ББК 63.3(2)6-7

X36

Редакторы серии

И. Калинин, Т. Вайзер

Авторизованный перевод с английского С. Чачко; научный редактор А. Щербенок

2-е издание

Йохен Хелльбек

Революция от первого лица: дневники сталинской эпохи / Йохен Хелльбек. — М.: Новое литературное обозрение, 2021. — (Серия «Библиотека журнала «Неприкосновенный запас»).

Представленный в книге взгляд на «советского человека» позволяет увидеть за этой, казалось бы, пустой идеологической формулой множество конкретных дискурсивных практик и биографических стратегий, с помощью которых советские люди пытались наделить свою жизнь смыслом, соответствующим историческим императивам сталинской эпохи. Непосредственным предметом исследования является жанр дневника, позволивший превратить идеологические критерии времени в фактор психологического строительства собственной личности. Герои книги — бежавшие в город крестьяне и представители городской интеллигенции, работавшие

сельскими учителями, инженеры и писатели — использовали дневник как способ самонаблюдения и самовоспитания, превращая существующие культурные образцы в горизонт внутреннего становления, делая историю частью своего Я.

ISBN 978-5-4448-1451-2

Jochen Hellbeck

Revolution on My Mind. Writing a Diary Under Stalin

© 2006 by the President and Fellows of Harvard College

Публикуется по соглашению с Harvard University Press

© С. Чачко, пер. с английского, 2017

© ООО «Новое литературное обозрение», 2017

- . БЛАГОДАРНОСТИ
- . ПРЕДИСЛОВИЕ
- . ПРОЛОГ ФОРМОВКА РЕВОЛЮЦИОННОГО Я
- . ГЛАВА 1 ВОСПИТАНИЕ СОЗНАТЕЛЬНЫХ ГРАЖДАН
- . ГЛАВА 2 БОЛЬШЕВИСТСКИЕ ВЗГЛЯДЫ НА ДНЕВНИК
- . ГЛАВА 3 ЛАБОРАТОРИИ СОЗНАНИЯ
- . ГЛАВА 4 ИНТЕЛЛИГЕНЦИЯ ПЕРЕД СУДОМ. ЗИНАИДА ДЕНИСЬЕВСКАЯ
- . ГЛАВА 5 СЕКРЕТЫ КЛАССОВОГО ВРАГА. СТЕПАН ПОДЛУБНЫЙ
- . ГЛАВА 6 ДНЕВНИК НОВОГО ЧЕЛОВЕКА. ЛЕОНИД ПОТЕМКИН
- . ГЛАВА 7 ЧЕРНИЛЬНИЦА СТАЛИНА. АЛЕКСАНДР АФИНОГЕНОВ
- . ГЛАВА 8 СТРЕМЛЕНИЕ ПРОДОЛЖАТЬ БОРЬБУ
- . СПРАВКА ОБ ИСТОЧНИКАХ

БЛАГОДАРНОСТИ

Эта книга не появилась бы без поддержки многих лиц и институций, которым я глубоко признателен. Бен Эклоф пробудил во мне страстную любовь к русской истории. Увлечение миром крестьянства, возникшее во время его семинаров, привело меня в Народный архив в Москве, с которого началось изложение в настоящей книге. Я благодарен сотрудникам Народного архива, Государственного архива литературы и искусства, Отдела рукописей Ленинской библиотеки, Государственного архива Российской Федерации, Российского государственного архива народного хозяйства, Фонда Солженицына, Бахрушинского музея и Государственного архива социально-политической истории за их знания и гостеприимство. Они оказывали мне помощь, когда я не мог разобраться в почерке авторов дневников или понять какие-либо их языковые обороты. Особенно я признателен Галине Поповой и Галине Акимовой из Народного архива, а также архивистам Государственного архива литературы и искусства за самоотверженную поддержку, которую они оказывали мне на протяжении многих лет. Спасибо авторам дневников сталинской эпохи Леониду Потемкину, Степану Подлубному, Татьяне Лещенко-Сухомлиной и Аркадию Манькову за их доверие и терпение в общении со мной. Наши беседы, посвященные их дневникам, были напряженными и незабываемыми. Марина Гаврилова (урожденная Подлубная) и Александра Афиногенова сообщили мне ценную информацию о своих отцах, ведших дневники, и радушно приняли у себя дома. Вероника Гаррос, Наталья Кореневская и Томас Лахузен любезно познакомили меня с десятками дневников, обнаруженных ими в различных российских архивах. Я благодарен Олегу

Горелову, Валентине Круглеевой, Лилии Рязановой, Семену Виленскому и Вячеславу Ульриху за то, что они указали мне, где можно ознакомиться с другими дневниками. Чрезвычайно важна во время пребывания в Москве была для меня помощь Альберта Ненарокова, Арсения Рогинского и Ларисы Захаровой. Благодаря Андрею Белизову каждый приезд в Москву стал казаться мне возвращением домой.

Леонид Хаимсон из Колумбийского университета научил меня непредубежденно относиться к действующим лицам истории. Он мгновенно определял историческое значение документов, которые я ему показывал, и с присущей ему остротой взгляда и отеческой заботой направлял мое исследование. Неизменные поддержка, критическое участие и поощрение Марка фон Хагена и Ричарда Уортмана были принципиально важны для написания и окончательного оформления книги. Стивен Коткин делился со мной своими принципиально важными догадками. Фрэнсис Бернстайн, Фредерик Корни, Эндрю Дэй, Анна Фишзон, Игал Халфин, Питер Холквист, Надежда Кизенко, Натэниел Найт, Яннис Коцонис, Лори Манчестер, Кеннет Пинноу, Чарлз Штайнведель и Амир Вайнер, создав вокруг себя атмосферу исключительного товарищества, оказали серьезное влияние на образ моих мыслей. Игал Халфин, Питер Холквист и Ян Плампер указали мне дорогу, полную поразительных открытий в окружающем мире и в самом себе. Многие мысли, высказанные в настоящей книге, подсказаны дискуссиями с ними в Гарримановском институте, в индийском ресторанчике за углом и в других местах. Я ценю их дружбу. Другие мои друзья и коллеги читали рукопись, по частям или целиком, и охотно делились критическими замечаниями по поводу прочитанного. Я благодарен Ирине Паперно, Биллу Розенбергу, Лоре Энгелстайн, Борису Гаспарову, Эрику Найману, Борису Вольфсону, Габору

Риттершпорну, Сюзанне Шаттенберг и Штефану Плаггенборгу за подробные и полезные замечания. Дискуссии с Йоргом Баберовским, Ивом Коэном, Майклом Дэвид-Фоксом, Мальте Рольфом, Карлом Шлёгелем, Штефаном Трёбстом и Альбрехтом Визенером помогли мне найти место моего исследования в более широких контекстах. Книга была завершена в Ратгерском университете, сотрудники которого вдохновляли меня широтой и глубиной их исторического воображения. Я особенно благодарен Белинде Дэвис, Зиве Галили, Полу Ханебринку, Кэтрин Хоуи, Джексону Лирсу, Филлису Маку и Бонни Смит. Кроме того, я благодарен участникам различных конференций в Соединенных Штатах, Европе и России, на которых мне довелось представлять результаты своих исследований. Мне повезло, что главным редактором книги в издательстве Гарвардского университета была Джойс Зельцер. Джойс поверила в мой замысел с того дня, когда она о нем впервые услышала, и ее постоянные советы значительно улучшили книгу. Редактируя рукопись после ее представления в издательство, Камилла Смит внесла важные сокращения, которые улучшили ее структуру. Особая благодарность — Альфонсо Рутильяно, который помог мне придумать название книги.

Проведение исследования и написание книги стали возможны благодаря Фонду исследований немецкого народа (*Studienstiftung des Deutschen Volkes*), Колумбийскому университету, Обществу сотрудников Мичиганского университета (*Michigan Society of Fellows*), Фонду Фрица Тиссена, Ратгерскому центру исторического анализа и Центру исследований новейшей истории в Потсдаме. Отдельные части данной книги публиковались в других местах и использованы здесь с разрешения издателей: части глав 3, 5 и 7 были опубликованы соответственно в: *Working, Struggling, Becoming: Stalin-Era Autobiographical Texts // Russian Review*. 2001. Vol. 60. № 3.

P. 340—359; Fashioning the Stalinist Soul: The Diary of Stepan Podlubnyi (1931—1939) // *Jahrbücher für Geschichte Osteuropas*. 1996. № 3. S. 344—373; Writing the Self in the Time of Terror: Alexander Afinogenov's Diary of 1937 // Engelstein L., Sandler S. (eds.) *Self and Story in Russian History*. Cornell University Press, 2000.

Я глубоко признателен своим родителям. Без их постоянной поддержки и поощрения я просто не состоялся бы, в том числе и как ученый. А Катинька наполняет мою жизнь радостью. С любовью посвящаю ей эту книгу.

ПРЕДИСЛОВИЕ

Я впервые погрузился во внутренний мир сталинской России жарким августовским днем 1990 года. В тот момент перестройка достигла поворотного пункта, когда либеральные реформы Горбачева начали разрушать советский строй. Для историков перестройка означала архивную революцию: рассекречивание архивов Коммунистической партии будет продолжаться на протяжении большей части 1990-х годов, подталкивая к новым интерпретациям советского прошлого. Я провел несколько недель в московских библиотеках, собирая материал для исследовательского проекта о судьбе российских крестьян при Сталине. Мое пребывание в советской столице подходило к концу — через несколько дней мне предстояло возвратиться в Нью-Йорк. Побывав утром в бане, посетить которую для борьбы с жарой посоветовал мне один из русских друзей, я в неопределенно энергичном настроении шел по центральным московским улицам. Мое внимание привлекла вывеска на одном из зданий: «Народный архив». После недолгого колебания я вошел внутрь.

Сначала мне показалось, что я ошибся дверью, поскольку перед моим взором предстал небольшой магазинчик, заваленный дешевыми транзисторными

приемниками и бобинами пленки с записями поп-музыки. Но когда я спросил об архиве, владелец магазинчика направил меня в подсобное помещение окнами во двор. Как и в большинстве архивов, здесь было холодно и темно, поскольку зарешеченные окошки давали лишь скудное освещение. На металлических полках рядами стояли большие серые ящики. Наскоро обустроенная читальня с поломанной мебелью свидетельствовала о том, что архив держится скорее на энтузиазме, чем на щедром финансировании. Оказалось, что директор отсутствует; а его молодые помощники возбужденно рассказали мне о своем увлечении сбором и сохранением свидетельств простых граждан, которые, как они считали, могли поколебать авторитарное советское государство и его господство над личной и коллективной памятью.

Достаточно скоро наша беседа коснулась правления Сталина. Когда я стал рассказывать о своем исследовании, один из архивистов снял с полки ящик, наполненный пожелтевшими, запыленными тетрадями. Я раскрыл тетрадь, лежавшую сверху, и прочел название: «Дневник по Работе Бригады им. 9-го Съезда В.Л.К.С.М. и Ежедневные записи Бригадира и ученика Ф.З.У. Ст.[епа]на Фил.[ипповича] Подлубного». Я продолжил чтение и вскоре увлекся историей молодого человека, которого преследовала советская власть из-за того, что его отец был «классовым врагом». Сбежав из деревни и приехав в Москву, Подлубный сумел скрыть свое происхождение и стал образцовым рабочим и коммунистом. Дневник раскрывал двойную жизнь, полную противоречий и опасностей, но главным образом свидетельствовал о попытках Подлубного переделать себя: казалось, он стремился действительно стать тем человеком, за которого себя выдавал.

Через несколько часов, изумленный, я покинул архив и вернулся в музыкальный магазин, переполненный

покупателями, жаждавшими товаров и переживаний, долгое время недоступных при советской власти. Казалось, всем им нет дела до исторических документов, хранящихся в соседнем помещении. Навязчивый ритм западной попсы, наполнявший магазин, преследовал меня в дверях, вырывался на улицу и устремлялся к расположенному неподалеку Кремлю.

Мне открылся совершенно иной подход к сталинскому времени, и хотя тем летом я не мог дольше оставаться в Москве, в последующие годы я приезжал сюда снова. Сначала я считал, что дневник Подлубного — исключительное явление. Но в каждый следующий приезд я обнаруживал все больше и больше дневников, которые вели мужчины и женщины, старые и молодые, богатые и бедные, деятели искусства и ученые, студенты и домохозяйки. Некоторые из дневников были обнаружены мною в архивах Москвы и Московской области. Другие поступали из частных источников — от самих авторов дневников или их потомков. Некоторые из авторов дневников приглашали меня к себе домой обсудить свои жизнеописания. Хотя архив КГБ, в котором хранится самое большое собрание дневников советской эпохи, оставался для меня закрыт, я смог прочесть опубликованные версии этих дневников, а также многие другие напечатанные дневники, письма и воспоминания того периода.

Некоторые дневники можно было прочесть за полдня; объем других составлял тысячи страниц. Некоторые были скучны и неэмоциональны, другие — полны душераздирающих и ошеломляющих признаний. И хотя некоторые авторы дневников не анализировали свой внутренний мир, другие, читаемые мной со все нарастающим интересом, спрашивали себя: «кто я» и «как я могу себя изменить». Эти интроспективные и самоанализирующие голоса находятся в центре настоящей

книги, в которой я исследую, что означало написать слово *Я* в эпоху большого *Мы*.

Многие ученые объясняли, как функционируют тоталитарные режимы, опираясь на общественно-политические теории. Я избрал другой подход. Действующие лица, проходящие по страницам этой книги, писали богатым и нередко поразительным языком; многие их открытия поверхностны, но другие заслуживают пристального внимания. Восстанавливая их надежды, проблемы и выбор, я раз за разом обнаруживал ошеломительную глубину личной вовлеченности этих людей в события революционной эпохи. Они не говорили от имени всего советского общества, но присущий им индивидуализированный язык помогает объяснить, какой была жизнь в сталинскую эпоху. Их голоса звучат с утопической страстью, они позволяют нам погрузиться в увлекательное и тревожное время, когда многие простые люди чувствовали необходимость вписать свою жизнь в революцию и во всемирную историю.

ПРОЛОГ

ФОРМОВКА РЕВОЛЮЦИОННОГО Я

Рано утром 8 июля 1937 года НКВД арестовал Осипа Пятницкого. Один из самых высокопоставленных государственных партийных деятелей сталинской России был обвинен в том, что замышлял террористические акты против советского государства. Десять дней спустя его жена начала вести дневник. С трогательными подробностями в дневнике Юлии Пятницкой описываются обстоятельства ареста ее мужа, невзгоды и горести, обрушившиеся на нее, человека, прежде входившего в советскую элиту. Соседи и бывшие друзья стали избегать ее как жену «врага народа»; она потеряла должность инженера, и ее — вместе с двумя маленькими детьми — оставили на произвол судьбы без

каких-либо источников дохода и средств к существованию. Отчаявшаяся женщина непрестанно думала о муже, и в конце концов этот вопрос поглотил все ее внимание. «Кто же он?» — спрашивала она в дневнике. Был ли действительно Пятницкий преданным коммунистом, как он утверждал? Сначала она склонялась к тому, чтобы доверять ему: в конце концов, они были женаты 17 лет. Но это бы означало, что ошибается партия. Такие рассуждения Пятницкая обрывала на полуслове: «Очевидно, я не так думаю. Очевидно, Пятница никогда не был профессиональным революционером, а был профессиональным мерзавцем — шпионом или провокатором... И потому так жил он, и был таким замкнутым и суровым. Очевидно, на душе было темно, пути иного не было, как ждать, когда его раскроют или когда он сумеет удрать от кары» [1].

Пятницкий был псевдонимом Осипа. Урожденный Таршис, он принял его после вступления в большевистское движение. Этот псевдоним, происходящий от слова «пятница», дали Осипу товарищи, уподоблявшие его приверженность революционному движению преданности Пятницы своему господину, Робинзону Крузо. Но, несмотря на это, Юлия после ареста Осипа не могла со всей определенностью сказать, кем был ее супруг. Она хотела верить утверждениям Пятницкого, что его большевистская совесть «перед партией так же чиста, как только что выпавший в поле снег», но сами такие мысли она описывала как «черные» и «преступные». Логика подобных мыслей, противоречивших официальным обвинениям, вела ее к вопросу о том, в каком направлении движется страна. В конечном счете она подрывала ее идентичность советского гражданина и члена боевого товарищества коммунистов. Эта идентичность, основанная на приверженности коллективному строительству светлого будущего, была для Юлии сутью жизни.

Страницы дневника Пятницкой иллюстрируют борьбу между ее взглядами и сознательными усилиями, которые она прилагала к восстановлению своего мировоззрения преданной партии коммунистки. Дневник служил орудием, при помощи которого она могла освободиться от ядовитых мыслей и тем самым вновь обрести уверенный, целостный голос убежденного революционера. Ее задача состояла в том, чтобы «доказать, не для других, а для себя... что ты выше, чем жена, и выше, чем мать. Ты докажешь этим, что ты гражданка Великого Советского Союза. А если нет сил, убирайся ко всем чертям» [2].

Такие личные документы, как дневник Юлии Пятницкой, лишь недавно ставшие доступными исследователям, заставляют подвергнуть сомнению представление о тоталитарных обществах и, в частности, о сталинском режиме, выступающем в качестве образцового примера тоталитаризма. Затрагивая проблему самовыражения в сталинской России, мы обычно думаем, что государство лишало своих граждан возможности высказывания собственного мнения и что истинные мысли и искренние стремления людей выражались только в частной сфере, защищенной от навязчивого вмешательства государства. Мы думаем, что личностное ядро советских граждан было качественно иным, нежели способ их «официальной» саморепрезентации. Мы рассматриваем этих людей в соответствии с либеральной концепцией субъекта — как личностей, стремящихся к автономии и дорожащих своей частной жизнью как сферой свободного самоопределения. С этой точки зрения советские граждане наверняка должны были противостоять государству, полному решимости уничтожить их независимость и приватность [3].

В своей идеальной форме дневник представляется нам вместилищем частных убеждений, выраженных стихийно и непринужденно. С учетом вездесущности государственных

репрессий в тоталитарных системах лишь исключительные личности, побуждаемые совестью или заботой о потомках, рискуют вести тайные дневники. В романе «1984» Джорджа Оруэлла Уинстон Смит начинает вести дневник, чтобы выразить себя вопреки государству Большого Брата. Ведение дневника является «проступком», который, будучи обнаружен, «по всей логике» приведет к «смертной казни или по крайней мере к 25-летнему заключению в лагере принудительного труда». Оруэлловское государство Большого Брата активно стремится искоренить любое представление о личном *Я*. Принудительные коллективные формы жизни лишают людей времени, места и даже необходимых орудий — бумаги и карандаша — для формулирования каких-либо личных мыслей. Уинстон Смит ведет свой дневник в «удивительно красивой тетради. Гладкая кремовая бумага чуть пожелтела от старости — такой бумаги не выпускали уже лет сорок, а то и больше. Он заметил ее на витрине старьевщика в трущобном районе и загорелся желанием купить»[4]. Смысл этого описания ясен: личному дневнику — артефакту прошедшей либеральной эпохи — не место в тоталитарном государстве.

Жанр дневников, процветавший в дореволюционной русской культуре, предположительно должен был исчезнуть в наступившей после революции обстановке страха и недоверия. Считалось, что те, кто вел дневники во время революции и в первые годы советской власти, прекратят это делать в сталинскую эпоху, когда написание личных текстов легко могло превратиться в саморазоблачение [5]. В 1926 году ОГПУ конфисковало дневник у Михаила Булгакова. После возврата дневника (без каких-либо обвинений) писатель уничтожил его [6]. Оставшиеся в живых интеллигенты сходятся во мнении, что дневник в сталинский период был анахронизмом. «В то время нельзя было даже подумать о ведении настоящего дневника», — замечает в предисловии к беседам с Анной Ахматовой,

записанным в виде дневника в 1938—1941 годах, Лидия Чуковская. Чуковская добавляет, что всегда «опускала или маскировала» «основное содержание» своих бесед с поэтессой. В воспоминаниях, написанных в 1967 году, Вениамин Каверин рассказывает о своем посещении Юрия Тынянова в Ленинграде в конце 1930-х годов. Хозяин, указав на открытое окно, из которого несло гарью, сказал: «Люди жгут память и делают это уже давно, каждую ночь... Я теряю рассудок, думая о том, что каждую ночь тысячи людей бросают в огонь свои дневники» [7].

Однако представление о всеобщем и единообразном подавлении личных нарративов опровергается теперь потоком личных документов первых десятилетий советской власти — дневников, писем, автобиографий, поэтических произведений, обнаруживаемых в недавно открытых советских архивах. Дневник, похоже, оставался популярным жанром советского и особенно сталинского периода. Дневники вели писатели и художники, а также инженеры и ученые, учителя, профессора и студенты, рабочие, крестьяне, служащие, партийные работники и комсомольские активисты, военные, школьники и домохозяйки. Дневники вели партийцы разного уровня и беспартийные, включая людей, осужденных за контрреволюционную деятельность.

Их личные хроники очерчивают экзистенциальную территорию, отмеченную авторефлексией и борьбой. Многие советские дневники характеризуются явной интроспективностью, но их интроспекция не направлена на индивидуалистические цели. В противоположность Уинстону Смитту, «дневниковое» *Я* которого было обращено против целей и ценностей, пропагандировавшихся государством, авторы советских дневников обнаруживают стремление вписаться в общественно-политический порядок. Они стремились к самореализации в качестве субъектов истории, действия

которых определялись активной приверженностью общему революционному делу. Их личные нарративы настолько насыщены революционными ценностями и категориями, что они, кажется, сводят на нет различие между личной и общественной сферами. Многие авторы дневников сталинской эпохи были увлечены поиском того, кем они, в сущности, являются и как они могут преобразовать себя. Они брались за перо, потому что сталкивались с насущными внутренними проблемами и искали на них ответ в дневниковом самодопросе. Их дневники были действенными инструментами для вмешательства в собственное *Я* и сопряжения его с осью революционного времени.

Интерес к самопреобразованию, характерный для советской власти и авторов рассматриваемых дневников, уходил корнями в революцию 1917 года, стимулировавшую новый подход к *Я* как к политическому проекту. Все политические деятели, вставшие на сторону революции, несмотря на их идеологические различия, связывали ее с перестройкой жизни общества и каждого человека по революционным стандартам рациональности, открытости и чистоты. Долгожданное свержение царского строя должно было привести к созданию просвещенного политического устройства, которое избавило бы Россию от «темноты» и рабской покорности, присущих крестьянским массам и лежащих в основе проклятой отсталости. Революция знаменовала собой переход от старой жизни к новой. Речь шла об идеальном будущем, продвижение к которому диктовалось «законами истории», о будущем, которого можно было достичь, применяя рационалистическую науку и современную технику. Это будущее воображалось как естественная среда обитания идеального «нового» человека, которого революционеры описывали как человека-машину, неутомимого работника или ничем не скованную целостную личность [8].

Создание «улучшенного издания человека» (Троцкий) было официально поставленной целью большевистского режима, пришедшего к власти в октябре 1917 года. Перековка человечества и строительство рая на земле составляли смысл существования коммунистического движения. Проповедуя эти ценности советскому населению, каждый коммунист был обязан изменить собственную жизнь по образу и подобию «нового человека». Попытка коммунистов создать новый мир была в значительной степени ожесточенной борьбой с «пережитками» феодального и капиталистического обществ, порождавшими эгоистические и эксплуататорские настроения. Одновременно большевики стремились превратить людей в политически сознательных граждан, понимающих исторические закономерности и участвующих в строительстве социализма в силу собственных убеждений. Через многочисленные политико-воспитательные кампании советская власть подталкивала людей к сознательному отождествлению с революцией (как ее понимало партийное руководство) и, следовательно, к осмыслению себя в качестве активных участников исторической драмы. Их призывали сделать революцию частью своего внутреннего опыта и дать ей истолкование, которое бы определялось не только объективным ходом истории, но и духовным разворачиванием их субъективного Я[9].

При Сталине режим провозгласил намерение воплотить представление о новом человеке в жизнь. Принятые в 1928—1929 годах партийным большинством решения об ускоренной индустриализации страны, коллективизации крестьянства и активизации борьбы с классовыми врагами отражали страстное желание уничтожить все, что осталось от «старого мира», и приступить к строительству нового. Деятели сталинского режима считали, что революция достигла зрелости и породила у своих сторонников новое сознание, которое позволит осуществить подобный рывок.

Индустриализация должна была обеспечить для нового человека материально-насыщенную среду обитания. Масса героев сталинской эпохи — от летчиков-полярников до шахтеров и доярок-ударниц — были представлены как воплощение социалистической личности. Их героические деяния показывали, к чему могут — и должны — стремиться советские люди, чтобы реализовать свой человеческий потенциал. Сталинская эпоха выдвинула советскую мечту, контуры которой идеолог партии Николай Бухарин очерчивал, имплицитно противопоставляя ее американской мечте. В советской мечте социализм превращал бездуховные «рабочие руки», эксплуатируемые капиталистами, в «людей, в коллективного творца и организатора, в людей, работающих на себя, в сознательных производителей своей собственной “судьбы”, в действительных кузнецов своего счастья» [10]. В соответствии с этими революционными требованиями советских граждан следовало оценивать по траекториям их собственной жизни. В двойственном контексте мощных революционных нарративов самопреобразования, с одной стороны, и режима политического надзора над субъективностью людей, проявляющейся в ходе их самовыражения, граждане не могли не осознавать свою обязанность иметь определенную «биографию», публично представлять ее и работать над своим самосовершенствованием. Говорение и писание о себе стали чрезвычайно политизированной деятельностью. «Биография» сделалась произведением, имеющим значительный политический вес.

Активизация мыслей и действий людей, направленных на их *Я*, привела к резкому росту количества советских автобиографий. Дело не только в том, что значительно больше людей стали думать и писать о себе, но и в том, что автобиографический подход затронул совершенно новые слои населения. Этот процесс вел к тому, что люди

стали нащупывать язык самовыражения одновременно с обучением чтению и письму [11]. И все же, хотя коммунистический режим внес значительный вклад в создание автобиографических свидетельств, голоса свидетелей не являлись лишь результатом приспособления к интересам режима. Язык *Я* не рождался из predetermined идеологической литании. Скорее он существовал в более широкой революционной экосистеме, которую коммунистический режим не только создавал, но и сам являлся ее продуктом. Приверженность самосовершенствованию, общественной активности и самовыражению в согласии с историей возникла за много десятилетий до русской революции и уходила корнями в традиции русской интеллигенции. По сути дела, быть достойным определения *интеллигент* значило проявлять себя критически мыслящим субъектом истории. Это наследие XIX века сформировало самопонимание деятелей революции 1917 года и определило рамки проводившейся ими политики общественной идентичности и личного самоопределения [12].

Некоторые советские революционеры считали дневник, наряду с другими формами автобиографической практики, средством самоосмысления и самопреобразования. Но другие смотрели на него с тревогой и подозрением, считая ведение дневника сугубо «буржуазной» деятельностью. О том, подобает ли коммунисту вести дневник, спорили. Ведение дневника было оправдано при условии, что оно способствовало развитию социалистического сознания и воли к действию, но существовала также возможность, что оно приведет к пустой болтовне или даже хуже к «гамлетизму» — мрачным раздумьям вместо революционных поступков. Люди, писавшие дневники в уединении, не под контролем товарищей, рисковали оторваться от воспитывавшего их коллектива. Без такого контроля дневник стойкого коммуниста мог превратиться в

рассадник контрреволюционных настроений. Не случайно дневники были одними из самых желанных для органов документов во время обысков в домах предполагаемых «врагов народа».

Итак, дневники 1930-х годов были не просто прямыми порождениями советской государственной политики воспитания революционного сознания. Лишь в редких случаях дневники возникали по предписанию, полученному в классе, на стройплощадке или в редакции. По большей части эти документы велись по инициативе самих авторов, которые, в сущности, часто сожалели об отсутствии руководящих указаний о том, как им строить свою жизнь: не существовало официальной формулы очищения от «старой» природы и сохранения веры в новую. Будучи результатом непрерывной вовлеченности в самоанализ на протяжении определенного времени, дневники выявляли точки напряжения и разломы, которые обходились молчанием или вытеснялись в других нарративах. Поэтому дневники дают превосходную возможность понять формы, возможности и ограничения самовыражения при Сталине. Разумеется, не всякий дневник того периода служил целям интроспекции или отличался богатством языка самоанализа. Но множество авторов дневников разного возраста, общественного положения и профессий пытались ответить на одни и те же вопросы: кто они и как они могут измениться. Их объединяло общее стремление вписать свою жизнь в более общий революционный нарратив. Для их записей характерны общие формы самовыражения и идеалы самореализации, не сводящиеся к отдельным случаям и имеющие более широкое культурное значение.

Авторы этих дневников представляли себя типичным для Нового времени образом. «Быть человеком Нового времени, — пишет Мишель Фуко, — значит не воспринимать себя находящимся в потоке преходящих моментов, а видеть в себе объект сложной и трудной

обработки» [13]. Это означает представлять себя субъектом собственной жизни, а не, скажем, объектом высшей воли. В Новое время субъекты перестают признавать наперед заданные роли; они стремятся к самостоятельному созданию собственных биографий. Таким образом, субъектность предусматривает определенную степень сознательного участия человека в сотворении своей жизни [14]. В частности, советские дневники, с которыми я имел дело, позволяют понять происхождение нелиберальной, социалистической субъектности. С самого своего зарождения как политического движения социализм определялся его сторонниками через противопоставление либеральному капитализму. Когда революционеры в Советской России приступили к построению социалистического общества, они стали соревноваться со стандартной индустриальной модерностью, характерной для капиталистического Запада. Они разделяли с ней приверженность технике, рациональности и науке, но считали, что социализм победит экономически, морально и исторически, поскольку опирается на сознательное планирование и силу организованного коллектива [15]. В этом контексте Я-нарративы высвечивают значение и смысл социализма как антикапиталистической формы самореализации. Авторы дневников представляли себе идеальную жизнь в контрасте с капиталистическим Западом, который они воспринимали как эгоистический, индивидуалистический, ограниченный, словом — буржуазный. Они стремились к тому, что один из авторов дневников назвал «второй стадией» понимания — способности избежать атомизированного существования и постичь себя как частичку коллективного движения.

В расширенной жизни коллектива виделся источник подлинной субъективности. Коллектив обещал дать человеку дополнительную энергию, исторический смысл и нравственные ценности. Напротив, жизнь вне коллектива

или вне потока истории грозила личностной деградацией, обусловленной неспособностью участвовать в устремленной в будущее жизни советского народа. Юлия Пятницкая осознавала эту динамику, и в ее дневнике звучало настойчивое и отчаянное желание воссоединиться с коллективом. Потеряв после ареста мужа работу инженера, она целыми днями сидела в публичной библиотеке, перелистывая технические журналы:

«Просматривала *Машиностроение* за март. Каждый день, прожитый мною, двигает меня назад. Строятся новые машины: станки, сельскохозяйственные, для метрополитена, для мостов и т.д. ... Инженеры ставят по-новому вопросы организации, технологии инструментального дела. В общем, жизнь идет безусловно вперед, несмотря ни на какие “палки в колеса”. Чудный дворец культуры для “Зисовца”. Прямо завидки взяли: почему я не в их коллективе?» [16]

Принадлежность к коллективу и связь с историей были обусловлены необходимостью труда и борьбы, невозможных без неудач, провалов и обновленных обязательств. На фоне неутихавших призывов к «бдительности» такие авторы дневников, как Юлия Пятницкая, описывали свою неспособность соответствовать требованиям, предъявлявшимся к мышлению и поведению советских людей. У них возникали прямые вопросы и сомнения по поводу того, как согласовать радужные официальные репрезентации строящегося социалистического общества с серыми и тягостными реалиями их личной жизни. Но они сопротивлялись собственным наблюдениям, вызванным, как они полагали, «слабостью воли», и клялись бороться с ними. До некоторой степени колебания и сомнения были необходимы для работы над собой; они создавали динамику борьбы и движения вперед, динамику, которую авторы дневников переживали как развертывание своей воли.

Разделения внутренних стремлений и внешней покорности оказывается недостаточно для понимания власти советской революционной идеологии, преобразующей и пробуждающей персональное *Я*. Многие личные нарративы сталинской эпохи показывают, что идеология была живой тканью тех смыслов, над которыми серьезно размышляли авторы дневников. Идеология создавала напряжение, поскольку зачастую резко контрастировала с наблюдавшейся автором реальностью. Суть, однако, не в том, чтобы сосредоточиться на точках напряжения как таковых, а в том, чтобы увидеть, как люди работали с ними: сколь нетерпимо было для них «двоедушие», насколько малопривлекательным представлялся уход в личную жизнь, как они пользовались механизмами рационализации, пытаясь восстановить гармоничное представление о себе как части социалистического общества. Значительная часть идеологических противоречий в советской системе раннего периода не возникала между государством, с одной стороны, и гражданами (как вполне сформированными *Я*), с другой, а заключалась в способах взаимодействия граждан со своими собственными *Я*.

Несмотря на широко распространенную склонность вычитывать субъективность сталинской эпохи между строк и сосредоточиваться на пропусках и умолчаниях, чтение должно начинаться с самих строк автобиографических утверждений. Ханна Арендт, в течение многих лет изучавшая свидетельства представителей тоталитарного общества, пришла к выводу, что для «истинного понимания ничего не остается», кроме как принимать смысл высказываний за чистую монету. «Источники говорят и тем самым обнаруживают самопонимание и самоистолкование людей, которые действуют и считают, что знают, что они делают. Если мы отрицаем их способность к самоинтерпретации и претендуем на то, что понимаем

больше них и можем рассказать, в чем состоят их подлинные “мотивы” и какие объективные “тенденции” они представляют — и неважно, что думают они сами, — мы лишаем их самого дара речи, насколько речь вообще имеет смысл». За исключением тех редких и легко обнаруживаемых случаев, когда люди сознательно лгут, заключает Арендт, «самопонимание и самоистолкование являются основой любого анализа и понимания» [17].

Поскольку эта книга акцентирует формирующее воздействие идеологии на жизнь субъектов сталинской эпохи, может показаться, что она возвращается к теориям тоталитаризма, включая Арендт и Оруэлла. Сторонники тоталитарной парадигмы понимают идеологию в коммунистическом государстве как корпус официальных истин, исходивших от центральных государственных учреждений и служивших интересам режима. Идеология индоктринировала людей, внушая им, что они участвуют в великом «движении», а на самом деле обманывая их относительно истинных условий несвободы. Во многих смыслах убедительное, данное истолкование сводило советских граждан к жертвам устремлений режима. Затем пришло новое поколение социальных историков и обнаружило активное участие значительной части населения в мероприятиях большевиков. В процессе такого обнаружения советский строй был поразительным образом деидеологизирован, а его функционирование объяснялось в категориях «эгоистических интересов» различных социальных групп, выступающих в качестве бенефициаров режима. Однако историки этой школы не пытались критически проанализировать, какие формы подобные «эгоистические интересы» могли приобрести в социалистическом обществе [18]. Синтез этих позиций реабилитировал бы идеологию и одновременно сохранил бы ощущение индивидуальной субъектности (*agency*), но субъектности, не существующей автономно, а создаваемой

идеологией и динамично взаимодействующей с нею. Подобное внимание к идеологии и субъектности как переплетенным и взаимодействующим элементам позволило бы лучше почувствовать экзистенциальные обстоятельства исследуемого времени, которыми, за исключением Арендт, не интересовались ни сторонники теории тоталитаризма, ни ревизионисты [19].

Идеологию лучше понимать не как заданный, фиксированный и монологичный корпус текстов в смысле «идеологии Коммунистической партии», а как фермент, действующий в сознании людей и в ходе взаимодействия с субъективной жизнью конкретной личности приводящий к весьма разнообразным результатам. Человек здесь выступает в роли своеобразного операционного центра, в котором идеология распаковывается и персонализируется, в процессе чего индивид переделывает себя в субъекта с определенными и осмысленными биографическими чертами. Активизируя индивидуума, сама идеология обретает жизнь. Поэтому идеологию следует рассматривать как живую и адаптивную силу, оказывающую влияние лишь постольку, поскольку она функционирует в живых личностях, взаимодействующих с собственным Я и миром в качестве субъектов идеологии. В значительной мере логика великих революционных нарративов преобразования (преобразования общественного пространства и собственного Я), коллективизации (коллективизации индивидуалистически настроенных производителей и собственного Я) и очищения (кампаний политической чистки и актов индивидуального самосовершенствования) создавалась и воспроизводилась советскими гражданами, рационализировавшими непостижимую политику государства и, таким образом, являвшимися агентами идеологии наряду с руководителями партии и государства.

Стремление авторов дневников сталинской эпохи к целенаправленной и осмысленной жизни отражало

распространенную потребность в ее идеологизации, превращении жизни в выражение прочного, внутренне непротиворечивого, универсального мировоззрения (*Weltanschauung*). Эта ориентация на осмысленность и включенность в общество пересекалась со стремлением большевиков переделать человечество. Таким образом, режим мог направить устремленность к обретению ценности и преодолению собственного *Я*, возникшую за идейными границами большевизма, в приемлемое для него русло. В свете этого советский проект предстает вариантом более общего европейского явления межвоенного периода, которое можно описать как двойное обязательство: иметь личное мировоззрение и интегрироваться в общество. Эта идеальная форма бытия была названа «скоординированной жизнью»: она обещала подлинность и интенсивную осмысленность, реализуемую в коллективных действиях, предпринимаемых в соответствии с законами истории или природы [20].

Апелляция к *Я* лежала в сердце коммунистической идеологии. Она была ее определяющей чертой, а также источником ее силы. На фундаментальном уровне эта идеология выступала творцом личного опыта. Всякий, кто вписывал себя в революционный нарратив, обретал голос как действующий субъект, принадлежащий к более широкому целому. Более того, присоединение к движению было для каждого индивида стимулом к переделке *Я*. Силу коммунистического призыва, обещавшего, что те, кто раньше были рабами, могут превратить себя в образцовых представителей человечества, нельзя переоценить. Она ярко выразилась в сбивчивых автобиографических нарративах полуграмотных советских граждан, подробно описывавших свой путь от темноты к свету. Универсальность амбиций и масштаб советской революции выводили ее участников на уровень субъектов истории, которые ежедневно способствовали движению истории к идеальному

будущему. Многие из дневников, которые я буду здесь обсуждать, созданы в диалоге с этим двойным призывом коммунистического проекта: призывом к самопреобразованию и призывом к участию.

ГЛАВА 1

ВОСПИТАНИЕ СОЗНАТЕЛЬНЫХ ГРАЖДАН

Когда в феврале 1917 года в России произошла революция, Дмитрий Фурманов работал преподавателем вечерней школы для рабочих в родном городе, промышленном Иваново-Вознесенске. Полупрофессиональный писатель и бывший студент, покинувший Московский университет в самом начале Первой мировой войны чтобы участвовать в работе Красного Креста, 25-летний Фурманов немедленно включился в деятельность буйно разраставшейся сети революционных комитетов и партийных ячеек. Через месяц после начала революции он писал в дневнике: «Почетное звание “общественного работника” удесятерит силы... обязывает быть в высшей степени осторожным, рассудительным и строгим, приучает к сознательности, личному самосуду и личной самооценке. <...> В этой новой школе вырабатываются принципы, закаляется воля, создается план, система действий. <...> Эта великая революция и во мне создала психологический перелом» [21].

Фурманов утверждал, что революция, как предвестница нового, разумного и справедливого общественного строя, преобразила его по своему образу и подобию. Вмешавшись в его личную жизнь, революционная воля рационализировала работу его тела и души. Однако не все дневниковые записи Фурманова в тот период были столь энергичными по тону. Многие фрагменты свидетельствуют о его неуверенности в себе и нервных попытках определить

свою политическую позицию. Так, в записи за август 1917 года, озаглавленной «Кто я?», Фурманов пытался выяснить для себя, кто он — «эсер, интернационалист, максималист»? Два года спустя, уже вступив в большевистскую партию и будучи назначен на ответственную должность комиссара красной дивизии, сражавшейся на Гражданской войне, он продолжал жаловаться на отсутствие необходимой подготовки и недостаток политического энтузиазма, указывая, что его психологическая жизнь еще не вполне скоординирована с революцией [22].

Фурманов был одним из многих учителей, писателей, врачей, относивших себя к российской демократической интеллигенции и поддерживавших революцию как зарю новой эры. Для них она означала долгожданный момент, когда сценарии преобразования общества и человека, намеченные предшествующими поколениями интеллигенции, должны были воплотиться и стать действительностью. Эти сценарии предполагали полное обновление, полноту возможностей и безграничное совершенствование человечества; их олицетворением стал образ социалистического «нового человека». В апреле 1917 года Максим Горький выразил эти ожидания в статье в издававшейся им газете «Новая жизнь»: «Новый строй политической жизни требует от нас и нового строя души» [23]. Фурманов следовал этому требованию совершенно буквально: для него приверженность созданию нового, лучшего общества в важной степени предусматривала приверженность обновлению собственного Я [24].

Преданность новым формам общественной и личной жизни, выраженная в акте революции, объединяла революционеров всех лагерей — от большевиков, взявших власть в октябре 1917 года, до резко критиковавшего их Максима Горького и политически колебавшегося активиста Дмитрия Фурманова. Как представители русской интеллигенции, они разделяли моральную готовность

посвятить жизнь общему делу, социальному прогрессу, народному благоденствию или ускорению хода истории. Задача интеллигенции состояла в том, чтобы обучать и просвещать, поднимать «темные массы» России до уровня настоящих людей и критически мыслящих личностей, которые восстанут против угнетателей и таким образом, двинут историю по предначертанному пути к освобождению. В силу своего привилегированного образования интеллигент лучше понимал законы истории. Роль авангарда давала ему право вести других к свету, но и наделила его нравственной обязанностью прожить чистую жизнь, наполненную ревностным служением обществу, находящуюся в единстве с историей, — то есть обязанностью воплощать в себе качества нового человека.

Представление о новом человеке было впервые сформулировано в романе писателя и критика XIX века Николая Чернышевского «Что делать?», в котором содержалось оказавшее огромное влияние на умы изображение «новых людей» — молодых мужчин и женщин, способных вести абсолютно рациональную жизнь и всецело посвящающих себя стремлению к лучшему будущему. Каждый из этих «людей новой эпохи» был «сильной личностью»: «отважной, не колеблющейся, не отступающей, умеющей взяться за дело, и если возьмется, то уже крепко хватается за него, так что оно не выскользнет из рук». В один прекрасный день эти революционеры станут обычным типом, но пока (в 1863 году) они остаются редким явлением: «Они — теин в чаю, букет в благородном вине; от них сила и аромат [жизни]; это цвет лучших людей, это двигатели двигателей, это соль соли земли» [25].

Чернышевский создавал «Что делать?» как призыв к действию, и именно так книга и была воспринята. Множество радикально настроенных студентов в последний период существования царизма воспитывало себя по

образцу героев романа. Ленин говорил о нем как о важнейшей книге в своей жизни; даже в 1933 году глава Коминтерна Георгий Димитров, обвиненный нацистами в поджоге рейхстага, читал его, чтобы зарядиться духовной силой во время ожидания суда в берлинской тюрьме. Важно, что одной из целей Чернышевского при написании романа было определение норм собственной жизни. Чаяния и проблемы героев романа были и вопросами его жизни; и эти герои, и он сам были до конца привержены историческому прогрессу [26].

Определяющим качеством нового человека и важнейшим свойством любой критически мыслящей личности являлась сознательность. Присущая образцовым людям — писателям, критикам, идеологам — сознательность представляла собой способность видеть законы истории и понимать свои возможности как субъекта исторического действия, который будет участвовать в прокладывании дороги к светлому будущему. На этом понимании основывалось нравственное действие: оно стимулировало волю и придавало желание неустанно стремиться к достижению идеала. Законы истории были законами общественного освобождения; отсюда — принципиально общественная ориентированность сознания, которая заставляла личность мыслить и действовать во имя угнетенных масс и тем самым создавала расширенное ощущение собственного *Я*, проникнутого целью, смыслом и нравственными ценностями. Разумная ясность сознания достигалась в ходе борьбы личности с силами темноты и хаоса как в обществе, так и во внутреннем мире. Критерием такой упорядоченности и ясности было обладание «стройным общественным мировоззрением», ставившим личность на «правый и справедливый путь» и означавшим для нее начало «новой жизни». В определенном смысле сознательность была мерой самой жизни. Нельзя было жить

полноценно, не развив мировоззрение, открывавшее свет истины [27].

Именно стремясь к сознательности, Дмитрий Фурманов и завел дневник, чтобы проследить в нем воздействие истории на свою личную жизнь. В ретроспективной записи, относящейся к концу декабря 1919 года, он обобщал собственное развитие с момента начала революции и отмечал, что, несмотря на колебания, оно определенно характеризовалось ростом от стихийности к сознательности, от «детства, энтузиазма, неведения» к «мужеству, спокойствию, большей сознательности и большему знанию». В принципе, считал он, революция сделала из него развитого человека. До политического пробуждения он вел «пустую, глупую, несерьезную жизнь»: «Пелена с глаз у меня спала только во дни революции, а до того я был совершенным младенцем» [28]. Понятие сознательности способствовало мышлению о себе в биографических категориях. Переход от темноты к свету был переходом от небытия к полной человечности; он проходил через все большее самораскрытие интериоризированного, психологического Я. Как показывает случай Фурманова, сознательность, учитывая ее двойственный акцент на общественной активизации и самопреобразовании, с одной стороны, и психологическом анализе и самоконтроле, с другой, создавала чрезвычайно привлекательные биографические нарративы.

С момента ее создания Лениным большевистская партия определяла себя как концентрированное выражение революционной сознательности. Состоявшая из сплоченных между собой профессиональных подпольщиков, партия сочетала максимальную преданность революции с требованием исключительной самодисциплины каждого партийца. Обретя власть в октябре 1917 года, партия поставила себе более общую задачу: распространять свою идеологию и привлекать на сторону коммунизма все более

широкие слои населения. Стремясь сделать сознательность универсальным опытом, большевики приступили к реализации гигантского проекта изменения человеческого *Я*, принципы которого во многом совпадали с подходом к самовоспитанию, описанным в дневнике Фурманова. Задача состояла в том, чтобы побудить своих сторонников мыслить и действовать так, как подобает историческим субъектам, чья жизнь определяется революцией. Активистам коммунистического движения было важно не только изменить внешнее поведение людей; они стремились захватить их души, то есть сделать так, чтобы люди понимали миссию Коммунистической партии и добровольно поддерживали ее. Весь проект опирался на волюнтаристское предположение, согласно которому успех или неудача революции зависели от того, насколько сознательно действуют ее сторонники, насколько они признают свою жизнь исторической по своей сути и действуют на основании такого признания.

Большевики были «вербальными империалистами»; они — вслед за Марксом — считали очевидным, что «бытие определяет сознание» и что поэтому рабочему необходимо испытать воздействие революционного сценария, чтобы вполне понять свою историческую миссию.

Революционный язык в понимании коммунистов не просто обозначал предметы и явления; по словам Троцкого, «язык есть орудие мысли. Точность и правильность языка есть необходимое условие правильности и точности самой мысли». Коммунисты Советской России пытались внести сознательность в широкие массы в значительной степени языковыми средствами: посредством практик чтения, письма, а также устного и письменного самопредставления [29].

При исследовании этих практик особое внимание необходимо уделять тому месту, которое они занимали в историческом воображении большевиков. Большевистская

политика всегда обуславливалась отчетливым ощущением исторической стадильности революции. Человек в понимании советских марксистов был исторически развивающимся существом. Как выразился один психолог 1930-х годов, «человек весь, от его сознания до каждой клетки его организма, есть продукт исторического развития» [30]. Если сознание исторично по своей природе, то оно проходит исторические стадии, соответствующие определенным политическим фазам развития советской власти, реализующей историческую необходимость. Сознание не является чем-то готовым и присущим каждому; напротив, его следует развивать, прилагая к этому энергичные политические усилия. Сознание постепенно овладевает человеком, сначала воздействуя на его среду и внешнее поведение, а затем проникая в сокровенные глубины его психики. В 1923 году Лев Троцкий указывал на эту динамику перехода от внешнего к внутреннему, отмечая, какие этапы революция уже прошла и какие ей еще предстоит пройти на пути к социалистическому будущему: Человек сперва изгонял темную стихию из производства и идеологии, вытесняя варварскую рутину научной техникой и религию — наукой. Он изгнал затем бессознательное из политики, опрокинув монархию и сословность демократией, рационалистическим парламентаризмом, а затем насквозь прозрачной советской диктатурой. Наиболее тяжело засела слепая стихия в экономических отношениях, но и оттуда человек вышибает ее социалистической организацией хозяйства. Этим делается возможной коренная перестройка традиционного семейного уклада. Наконец, в наиболее глубоком и темном углу бессознательного, стихийного, подпочвенного затаилась природа самого человека. Не ясно ли, что сюда будут направлены величайшие усилия исследующей мысли и творческой инициативы? [31]

За счет акцента на овладении собой и индивидуальной воле понятие сознательности было потенциально способно раскрывать богатую культуру личности и выходить на просторы романтического ума. Троцкий описывал социалистическое будущее как время, когда «средний человеческий тип поднимется до высот Аристотеля, Гете или Маркса». Но такой сценарий самоактуализации мог быть осуществлен только после длительного исторического этапа мобилизации и дисциплинирующего насилия, заставляющего вспомнить скорее о духе Просвещения, чем о духе романтизма. В течение десятилетия после окончания Гражданской войны большевистские активисты формировали советскую власть как просвещенную диктатуру. Даже знаменитый ленинский лозунг об «электрификации всей страны» свидетельствовал, что Коммунистическая партия считала себя носителем света, миссия которой заключается в том, чтобы дать «темным» российским массам образование и технику. Однако уже с начала 1930-х годов партия стала осуществлять фундаментальный переход к романтической чувственности. Электрификация, похоже, привела к тому, что советские граждане сами стали источниками света. Сознательность уже не просто привносилась в массы отсталого населения; она начала разворачиваться изнутри, все глубже воодушевляя все большее количество советских граждан [32].

Фурманов, умерший в 1926 году, однозначно принадлежал к просвещенческому этапу развития коммунистического проекта. После вступления в партию в 1918-м он стал одним из ведущих распространителей коммунистического сознания. Став комиссаром, он был назначен в состоявшую из бывших партизан дивизию в качестве идеологического руководителя ее легендарного командира-крестьянина Василия Чапаева. Фурманов, который все эти годы вел дневник, впоследствии написал

документальный роман о своей встрече с Чапаевым. Как в дневнике, так и в романе их отношения раскрываются через бинарную оппозицию стихийности и революционной сознательности. Чапаев был энергичным, но недисциплинированным командиром. Его анархическую энергию следовало направить в правильное русло и организовать, чтобы она служила революции и была полезна истории. Это и было задачей комиссара, которого в романе зовут Федором Клычковым. Клычков всегда говорит и мыслит абсолютно рационально, и его речь «формулет» Чапаева, который физически силен, но интеллектуально податлив, «как воск». Вместе Чапаев и Клычков соединяют в себе важные для революции качества активности и сознательности, народной смекалки и интеллигентской культуры. Учитывая увлечения самого Фурманова анархизмом в 1917 году и борьбу, которую он вел в дневнике с неорганизованностью собственной психики, два главных героя романа прочитываются как изображение личного стремления автора стать сознательным субъектом революции. Фурманов писал роман «Чапаев» в традиции Чернышевского — как подсказанную собственной биографией историю об образцовых революционерах, которым следует подражать. Сразу после издания в 1923 году роман стал бестселлером и образцом для множества советских литературных произведений, варьирующих тему конфликта между стихийностью и сознательностью [33].

Описание Фурмановым Гражданской войны показывает, сколько усилий тратила молодая советская власть на риторическом поле боя. Красноармейцы, описанные в «Чапаеве», понимали, что «надо уметь войну вести не только штыком, но и умным, свежим словом, ясным умом и способностью понимать обстановку и как следует сообщать о ней другим». Фурманов участвовал в освобождении Уфы от белых в июне 1919 года. Через считанные часы после взятия города «населению было роздано множество

листочков с объяснением обстановки. На стенах домов появились стенгазеты, а со следующего дня каждое утро стала выходить дивизионная газета. На каждом углу города проводились импровизированные митинги» [34]. «Слово — наше лучшее оружие», — заявлял глава Комиссии по всеобщему военному обучению (Всевобуч) Николай Подвойский. Слова могут «разлагать психику противника, парализовать его нервы, раскалывать его на конфликтующие лагеря и классовые группировки». Но слова могли также наделять личность сознанием более общего целого, превращать ее в частичку коллектива. Что самое важное, революционная речь обладала мощной биографической привлекательностью: она ткала личные нити в общем нарративе классовой борьбы, освобождения, образования и раскрепощения и тем самым делала революционное послание значимым для тех, кому оно было адресовано. Даже белые признавали эффективность деятельности красноармейских политработников среди новобранцев; по словам одного офицера, политработники вели непрерывную агитацию, используя любую возможность и обращаясь к самым незначительным фактам, чтобы показать пользу, которую принесла людям большевистская власть [35].

Перепись, проведенная советской властью в 1920 году, показала, что 60% взрослого населения не умели читать и писать. В таких условиях возможность проповедовать силу политического языка зависела от ликвидации безграмотности. Борьба за грамотность, которую неустанно вела советская власть, была явно направлена на насаждение революционного сознания. Декрет правительства о ликвидации безграмотности, изданный в декабре 1919 года, начинался словами: «В целях предоставления всему населению Республики возможности сознательного участия в политической жизни страны СНК постановил...» Распространенный в сотнях тысяч листовок, этот декрет

обязывал всех неграмотных граждан в возрасте от 8 до 50 лет учиться. Того же требовал Ленин: «Безграмотный человек стоит вне политики, его сначала надо научить азбуке. Без этого не может быть политики, без этого есть только слухи, сплетни, сказки, предрассудки, но не политика». Борьба с неграмотностью становилась «непременным условием политики»[36]. Развитие технических навыков чтения и письма было неразрывно связано с программой создания политически грамотных граждан. Политическое просвещение состояло в том, чтобы воспитать «активных и сознательных» советских граждан, «возбудить активность» и «сформировать привычку быть активными» [37]. В ходе культурной революции времен первой пятилетки Максим Горький, к тому времени ставший пылким сторонником социалистического государства, обратился к советской общественности с призывом жертвовать деньги на образование взрослых: «Помогайте, товарищи! Каждый рубль даст карандаши и тетради людям, которые хотят учиться для того, чтобы с большей энергией, с более ясным сознанием строить новую жизнь» [38].

В рамках воспитания у граждан сознательности советские деятели культуры разработали четкие предписания относительно того, как именно надо читать и писать. Они подчеркивали, что эти процессы не должны происходить бездумно. Здесь нет места зубрежке; наоборот, чтение и письмо должны стать примерами творческой реализации *Я*. Советский педагог в 1920-е годы рекомендовал включить «сознательное чтение» в программу подготовки красноармейцев: «Первым правилом рационального чтения должна быть его полная сознательность... для сознательного читателя книга должна быть не источником готовых мыслей, а материалом для собственного мышления, лишь облегчающим серьезную, самостоятельную работу над тем или иным предметом».

Другие авторы подчеркивали значение «самостоятельного» приобретения политической грамотности: «Чтобы быть по-настоящему политически грамотным, недостаточно проработать теоретические и исторические книги по общественным наукам. Надо уметь самостоятельно применять усвоенный материал к современности. Необходимо разбираться в текущей политике». Требуя индивидуального и самостоятельного осмысления текстов, педагоги утверждали, что сознательность должна формироваться изнутри, а не навязываться извне. Аналогично в программе советских школ указывалось, что задания должны формировать у детей самостоятельность и творческие способности. Работа над заданиями должна «развивать не только интеллект учащихся, но и их волю»[39].

Большевики победили в Гражданской войне, но получили в распоряжение страну, опустошенную семью годами сражений. Советскому государству пришлось иметь дело с последствиями гибели миллионов людей, вызванной войной, болезнями и собственным насилием. Кроме того, обезлюдели городские и промышленные центры страны, являвшиеся жизненно важным ресурсом «диктатуры пролетариата»: большинство рабочих покинуло опустевшие или разрушенные предприятия и возвратилось в родные села. В понимании большевиков это свидетельствовало о тревожном снижении революционной сознательности основной опоры партии. В ситуации таких потерь власти не оставалось ничего иного, как неохотно согласиться с существованием частного сектора. Новая экономическая политика (нэп) чрезвычайно встревожила партийное руководство и рядовых партийцев, опасавшихся, что мелкобуржуазное сознание, воплощенное в миллионах ремесленников и торговцев, заразит и безнадежно развратит неокрепшее революционное сознание советского общества. Мощное возрождение сил старого мира в годы нэпа

приглушило преобразовательные устремления всех, кроме самых пламенных революционеров. Большинство большевиков рассматривало этот период идеологического компромисса как временное отступление, необходимое, чтобы накопить энергию для решающего удара по капиталистической системе [40].

Чтобы сохранить целостность в болоте нереформированной крестьянской России и яркого мира нэпмановской буржуазии, партия сомкнула ряды, воспринимая себя осажденным бастионом сознательности. Серия чисток, начавшаяся в 1921 году — именно тогда, когда советское государство объявило о переходе к нэпу, — должна была стать проверкой идейной чистоты каждого члена партии. Помимо «прямых врагов пролетариата», «агентов-provокаторов», нанятых контрреволюционными партиями, чистки коснулись «мелкобуржуазных» шкурников, вступивших в партию ради «личного благосостояния, а не ради пролетарской борьбы и революции». Бдительный коммунист мог распознать их, несмотря на поверхностную приверженность общему делу. Этим «слабым» и «беспринципным» людям не хватало силы воли, чтобы не потакать своим прихотям и выявить умыслы врагов, которые ими произвольно манипулировали. Исключая из своих рядов эти нестойкие элементы, партия уважала и ценила тех, кто выдерживал ее проверку и проявлял «сознательность, преданность, выдержанность, политическую зрелость, революционную опытность и готовность к самопожертвованию» [41], как определялась в партийной резолюции сущность коммунистической сознательности. Чистка должна была служить стимулом к тому, чтобы коммунисты могли «и здесь совершить свой “октябрь”» [42]. Они были призваны воспользоваться проверкой своей чистоты, чтобы «заглянуть в самого себя и постараться хорошей большевистской метлой изгнать из себя “мещанина” <...> Научиться понимать сейчас волю,

интересы коллектива, ими определить волю и интересы моего “я” — вот первый подход к созданию нового быта» [43].

Субъективная сущность коммуниста, сила или слабость его характера выходили на передний план в «автобиографии», которую он зачитывал товарищам по партии в самый драматичный момент процесса чистки. Нормативный жанр автобиографии сначала появился в партийной среде, но в 1920-е годы распространился на комсомол и непартийные учреждения. Каждый советский гражданин, собиравшийся поступить в вуз или на работу в государственное учреждение, должен был составить автобиографию. Более того, от советских граждан требовалось обновлять свои автобиографии через определенные промежутки времени. Поэтому наверняка можно предположить, что большинство взрослых советских граждан были знакомы не только с этим жанром саморепрезентации и правилами его составления, но и с основополагающим постулатом, в соответствии с которым биографии следовало переписывать по ходу развертывания революции и их собственной, субъективной политической сознательности.

Будучи кратким прозаическим рассказом о жизни конкретного коммуниста, автобиография содержала в себе данные о его образовании и профессиональных достижениях, однако ее ядром были сведения о формировании личности автора как развивающегося субъекта революционного сознания. Хотя темы и акценты этого акта публичной саморепрезентации следовали устоявшимся нормам, в автобиографии сохранялось и важное субъективное измерение, ведь люди должны были убедительно рассказать о своем пути к свету коммунизма. Отправной точкой этих рассказов о себе часто была бездна мрачного субъективизма: это позволяло лучше осветить как последующее обращение к советскому правому делу, так и

внушительность пройденного пути. А убедительность, с которой кандидат мог показать, что является искренним гражданином социалистического государства, определяла шансы на его прием в Коммунистическую партию[44].

Автобиография коммуниста в 1920-е годы была актом самовыражения в форме самоотречения. Идеальный коммунист (как свидетельствует случай Фурманова) был «ретранслятором» революции и больше напоминал машину, чем романтического субъекта со стремящейся к выражению душой. Действительно, деятели революции 1920-х годов часто представляли себе идеальный тип человека как человека-машину. Кинорежиссер Дзига Вертов мечтал о «совершенном электрическом человеке», сознание которого не будет подвержено воздействию хаотических психических импульсов, а станет функционировать целенаправленно и с механической точностью: «Наш путь — от ковыряющегося гражданина через поэзию машины к совершенному электрическому человеку. <...> Новый человек, освобожденный от грузности и неуклюжести, с точными и легкими движениями машины, будет благодарным объектом киносъемки»[45]. Если революционная сознательность определялась как абсолютная дисциплина и способность неустанно функционировать как часть общего целого, то машина была очевидным образцом такой сознательности.

Еще одним биографическим инструментом, активно востребованным в 1920-е годы, были воспоминания об Октябрьской революции. Если смотреть из идейно порочного нэпа, Октябрь 1917 года представал как чистое воплощение революционного духа. Новообразованная Комиссия по истории Октябрьской революции и РКП(б) (Истпарт) предложила ветеранам 1917-го писать воспоминания о том, как они участвовали в осуществлении большевистской революции. Это предложение привело к стихийному наплыву других личных воспоминаний о 1917

годе, многие из которых были неграмотными и плохо написанными. Через такие нарративы участники «присваивали» революцию почти безотносительно к своей реальной роли в ней: некоторые биографические рассказы об Октябре приходили из регионов, в которых большевистского восстания в 1917 году вообще не было. Вне зависимости от своей правдивости или вымышленности эти примеры свидетельствуют о привлекательности вписывания себя в революционный нарратив [46].

Однако привлекательность как автобиографий коммунистов, так и воспоминаний о революции была ограничена фиксацией на 1917 годе как на определяющем пороге революционного сознания. В конце 1920-х, когда советская власть под руководством Сталина начала вторую революцию и вознамерилась построить новый социалистический мир, эта ограниченность была преодолена. Теперь советские деятели провозглашали, что после Октября 1917 года революция «созрела» — и привела к выработке у ее сторонников достаточной сознательности для того, чтобы они могли сделать будущее реальностью. Советская система была сочтена достаточно прочной для того, чтобы власть приступила к окончательному разрушению прежнего классового общества и созданию бесклассового социалистического строя. Это означало, что появился вполне сознательный субъект, которому предстояло жить в бесклассовом обществе, и энергия этой вполне сформированной личности должна была подстегнуть стремление к индустриализации. Идеал сталинского государства был основан на чистой воле; в качестве основной единицы человеческого поведения оно предпочитало коллективу личность и реабилитировало личное сознание как фундамент, необходимый для реализации сознательной воли. Сталинский идеологический аппарат поощрял личные биографии, делая акцент на

формировании исключительных личностей, а не на исключительных подвигах бездушных машин.

Важную роль в создании образа нового человека сталинского режима играл Максим Горький. Писатель, определенно склонный к ницшеанству, Горький надеялся, что революция станет началом создания общественного строя, который высвободит врожденную героическую сущность человека и позволит ему начать жить новой, богатой, энергичной и прекрасной жизнью. Горький, покинувший Россию в начале 1920-х годов, нанес два широко освещавшихся визита в Советский Союз в 1928 и 1929 годах, а в 1931 году вернулся в страну навсегда. Он писал, что был изумлен изменениями в психологии советских людей, которые ему довелось наблюдать. Население было «пропитано» политическими идеями, и «политическая сознательность» становится обыденным явлением. «Все стали, в сущности, моложе». Горький намеренно противопоставляет это впечатление воспоминаниям о своих дореволюционных поездках в те же места, где он наблюдал «русскую мягкотелость и душевную скорбь» и «сугубо русскую склонность к унынию» [47].

Новый человек был продуктом истории, конкретнее говоря, «всемирно-исторической» борьбы, развернутой сталинским руководством в целях создания социалистического общества. Призывая советских граждан принять участие в коллективном строительстве нового мира, руководство обращалось к их предполагаемой предрасположенности к героизму. Эта предрасположенность стимулировала энтузиазм, оптимистическую веру в себя и творческую энергию — все основные характеристики сталинского нового человека, явно противопоставлявшегося «старому человеку» буржуазного Запада — эгоисту, индивидуалисту и противнику прогресса.

Однако, как утверждал Горький, рабочие на сталинских стройках еще не вполне осознали величие своей эпохи и последствия этого величия для каждого человека. Задача литературы состояла в том, чтобы создать «увеличительное зеркало», в котором они смогут увидеть себя активными участниками созидания героической действительности [48]. При поддержке Сталина Горький переориентировал всю деятельность советских писателей на формирование у новых людей социалистической сознательности, на «инженерию человеческих душ». Ссылаясь на традицию, восходившую к Чернышевскому, Горький и коммунистическое руководство призывали советских писателей создавать образцовые героические типы, в равной мере достойные и писательского, и читательского подражания. Однако в отличие от утопического романа прошлого столетия, сталинское искусство «социалистического реализма» было предназначено не для того, чтобы изображать героев будущего. Напротив, его задача заключалась в том, чтобы фиксировать поразительные поступки лучших из советских граждан, наделяя этих реальных героев богатым внутренним миром, который должен быть присущ им как «целостным личностям» социалистической эпохи. Литература должна была показать новым советским гражданам, что они обладают беспредельным творческим потенциалом, хотя сами еще не знают об этом.

Усилению внимания к героической личности как совершенному образцу нового человека сопутствовало увлечение биографическим подходом. Полномасштабная биография, описывающая путь человека, который «был никем», а «стал всем», служила наиболее осязаемым воплощением нового человека. Выступая на I съезде советских писателей в 1934 году, Борис Пастернак утверждал, что «самый высокий поэтический язык сам собой рождается в беседе с нашей современностью,

современностью людей, сорвавшихся с якорей собственности и свободно реющих, плавающих и носящихся в пространстве биографически мыслимого» [49]. Биография — пусть даже доведенная до пределов мыслимого — представляла собой подходящую форму для «отливки» социалистического человека; сообразно ей можно было должным образом представить и понять жизнь.

Горький активно пропагандировал советские биографии. Вернувшись в Советский Союз, он инициировал ряд биографических проектов, наиболее известным из которых стала «История фабрик и заводов», документально рассказывавшая об истории ста с лишним крупнейших предприятий страны через биографии и автобиографии их строителей. Опора этого издания на биографию как нарратив о развивающемся сознании напоминала более ранний проект коллективного воспоминания о 1917 годе, но, в отличие от этой инициативы, проект Горького был попыткой связать политическую субъективность с разворачиванием текущей истории и стимулировал каждого рабочего стать субъектом автобиографии. Возникало новое ощущение, что каждый участник сталинского строительства, связывая свою судьбу с судьбой трудового коллектива и преобразованиями всемирно-исторических масштабов, сам увеличивается до грандиозных, сверхчеловеческих горизонтов, становясь, по словам Горького, «Человеком с большой буквы» [50].

Наиболее заметные биографии сталинской эпохи принадлежали шахтерам-ударникам, дояркам и полярным летчикам; число таких произведений в 1930-е годы активно множилось. Подвиги этих людей были подтверждены идеологическим аппаратом, с готовностью выявлявшим акты личного героизма в доказательство претензий власти на то, что социалистическое общество уже стало реальностью. С точки зрения коммунистов, подобные уникальные достижения были возможны благодаря

ликвидации капиталистических структур нэпа и созданию социалистической обстановки, позволявшей советским гражданам полностью развивать свои способности и обеспечивавшей условия, по выражению Бухарина, для «все большей наполненности творчеством, материальным достатком, культурным ростом, расширением умственного горизонта, повышением общественной активности, приобщением ко все большему количеству духовных наслаждений, чувством роста своей мощи и своей личности. *Личность* впервые возникает как массовое явление, а не как часть рабовладельческой верхушки в различных ее исторических вариантах» [51].

Комментируя в дневнике необыкновенные подвиги шахтера-стахановца Ивана Гудова, перевыполнившего дневную норму выработки в 45 раз, драматург Александр Афиногенов — один из многих литераторов, занятых поиском героев сталинской эпохи, — называл его «виртуозом и талантом» и продолжал: «Гудов — прообраз того социалистического таланта, который так мощно расцветает на нашей земле. Это совершенно новое качество человека, качество, рожденное социалист[ической] структурой общества. И разве один он! Вот они — вырвавшиеся на свободу атомы человеческой энергии. Излучение их энергии — неисчерпаемо. И от этого строй, в к[отор]ом они живут, — непобедим!» [52]

Качества, приписываемые новым людям сталинской эпохи, были по самой своей сути романтическими. Речь шла о внутренне богатых личностях, которые выражали себя в фантастических подвигах и художественное творчество которых помогало придать форму новому и прекрасному социалистическому миру. Образцы таких людей вытесняли и затмевали более ранний революционный идеал человека-машины. Если в первые годы советской власти страстный сторонник тейлоризма Алексей Гастев мечтал о «лицах без экспрессии, душе, лишенной лирики, эмоции, измеряемой

не криком, не смехом, а манометром и таксометром», то стахановцы овладевали технологией металла со всем жаром своего сердца. В противоположность предшествующему поколению коммунистов, воспитывавшемуся в духе аскетизма и самопожертвования, у них имелись «чувства... и страсти»[53].

Период «высокого сталинизма» в середине 1930-х годов стал апофеозом обращения советских революционеров к собственному Я. Если раньше главным было формирование и воспитание «широких масс», то теперь в центр была поставлена значительно более яркая и сложная концепция — личное сознание. Коммунистические деятели 1930-х призывали советских граждан выражать свою богатую внутреннюю природу, внося вклад в коллективный проект строительства идеального будущего. Сталин определял героическую выразительность как основной признак советской системы. В марте 1938 года он встретился с делегацией летчиков-полярников, которые были спасены после аварийной посадки на дрейфующую льдину. В тосте, обращенном к летчикам, Сталин заявил, что в Европе и США граждан оценивают по их денежной стоимости: «Американцы говорят, что их герой стоит 100 тыс. долларов». Наоборот, советская власть ввела новый, «советский» «способ оценки людей, не в рублях и не в долларах». Она оценивает людей по их «необыкновенному таланту и возможностям», благодаря которым они совершают не знающие примера поступки. В Советском Союзе, утверждал Сталин, есть такие же самолеты и такая же современная техника, что и на Западе, но он стоит значительно выше Запада из-за тех людей, которые в нем живут. У богатого долларами Запада нет такой валюты, в которой можно было бы оценить внутренне присущий человеку героизм. Только советская власть понимает, что сам по себе человек является «огромным капиталом». Такое внимание к героизму человека и выразительным

возможностям его сознания стимулировало у советских граждан стремление работать ради советского государства, поскольку такая деятельность являлась мерой их жизни. Подобно летчикам-полярникам, попавшим в беду, советские граждане хотели «бороться и жить, бороться во всех отраслях промышленности, сельского хозяйства и культуры; они хотели не умирать, а жить; жить и сокрушать врагов, жить, чтобы победить» [54].

Сталинский тост утверждал безграничные возможности, которые проистекали из уверенности, что советские граждане под руководством Коммунистической партии способны воплотить в жизнь коммунистический проект. Это ожидание было созвучно убежденности в том, что человек может своей волей подчинить весь мир ритму своих желаний. В противоположность романтической идеологии XIX века советские коммунисты настаивали на том, что их идеология является идеологией *действия*. Более того, они знали, что их вера, в отличие от романтизма, основывается на научном анализе, а не мистике. Бухарин заявлял: «В наших условиях *романтизм*, прежде всего связанный с *героикой*, ориентирован вовсе не на метафизическое небо, а на землю, во всех ее смыслах: на победу над врагом и на победу над природой» [55].

Сталинский неоромантизм не совпадал с романтическим духом XIX века еще в одном отношении. Сила духа, приписывавшаяся героям советской эпохи, никогда не была абсолютной и не возникала сама по себе; она воспитывалась Коммунистической партией, и ее воздействующая сила приписывалась самому Сталину, говорившему о себе, что он «воспитывает каждого способного и разумного работника», как садовник «выращивает любимое плодородное дерево» [56]. Как существа, способные к самовыражению, советские граждане, в отличие от Чапаева из романа Фурманова, уже не были несознательными и мягкими, как воск, — они росли и расцветали под контролем садовода-

Сталина. Сталин лелеял плодовые деревья, он подстригал их стебли и ветви, обрезал побеги, которые ему представлялись вредными для упорядоченного целого. Хотя историческое развитие этого садоводческого проекта требовало все больших вложений в самовыражение и личностный рост, исходный акцент на просвещенном формировании и поддержании правильного направления жизни людей путем вмешательства в нее оставался неизменным.

Как и призыв к самовыражению, сталинские репрессии тоже несли индивидуализирующий импульс. В условиях развитого социалистического строя люди уже не могли ссылаться на несовершенство социальной среды как на источник различных нарушений (на этом постулате основывалось советское право в 1920-е годы). Напротив, в сталинскую эпоху правоведы утверждали, что «отклонение от норм морали в социалистическом обществе есть проявление пережитков капитализма в сознании людей». Отныне каждый человек нес полную ответственность за свои поступки и мысли. Как указывалось в популярном учебнике психологии, «человек сам участвует в выработке своего характера и сам несет за него ответственность». В соответствии с этим взглядом индивидуальность человека могла проявляться одним из двух способов: хорошим, когда личность развивалась по образу и подобию преобразованной среды, или плохим, когда она противодействовала такому преобразованию. Таким образом, личная воля оказывалась либо революционной и творческой, либо контрреволюционной и разрушительной. Приветствуя сверхчеловеческие творческие усилия стахановцев, политический язык того времени предоставлял возможности и для наводящих ужас описаний разрушительной силы воли «вредителей», действия которых также превосходили воображение. Злая воля «врагов

народа» была столь сильна, что их следовало решительно удалить из советского общества [57].

Страх, что в ряды партии затесались скрытые враги, присутствовал у партийных лидеров начиная с раннего революционного периода. Однако он значительно обострился после того, как советское руководство решило приступить к окончательному строительству социализма. С исчезновением прежних буржуазных классов пагубное воздействие среды было устранено. Отныне любая нечистота могла исходить лишь из самой личности. Нечистота, прежде выявлявшаяся по признаку классовой принадлежности, спряталась в глубины человеческой души. Нараставшая политическая паранойя 1930-х, массовое усиление подозрительности в отношении мнимых врагов народа были, кроме всего прочего, выражением кризиса, вызванного выходом из строя традиционного марксистского инструментария классового анализа при оценке личности. Поскольку нельзя было уже указать на чуждые классы, склонность к демонизации препятствий, возникавших на пути к социализму, становилась непреодолимой [58].

Вершиной реализации грандиозного проекта классификации душ по критерию чистоты была «большая чистка» 1930-х годов. Уничтожая всех лиц, признанных вредными для нового социалистического строя, террор стал оборотной стороной гуманистической сталинской программы создания общественного тела, отличающегося абсолютной чистотой духа. Подобным же образом чистка была одним из мощных приемов индивидуализации, и в этом смысле она способствовала сталинской политике субъективизации. На протяжении всего периода чисток, даже в самый ее разгар, когда ежедневно выносились тысячи приговоров, подсудимых осуждали не массово, а в индивидуальном порядке, причем государственные органы опирались на огромный массив обвинительных материалов, организованных по индивидуальным делам. Объем

ресурсов и усилий, которые вкладывало государство в этот процесс (например, обеспечение следователей НКВД секретарями, круглосуточно, документ за документом, печатавшими личные признания), не может не выглядеть гротескно, если считать все это лишь маскировкой кампании произвольного государственного террора. Однако чистка покажется менее гротескной, если рассматривать ее как широкомасштабный проект классификации, задуманный как средство получения неопровержимых истин о состоянии отдельных личностей [59]. В течение всей чистки партийное руководство неоднократно подчеркивало внимание к личности, необходимость заботы о каждом человеке в ходе следствия. Раз за разом Москва упрекала не в меру ретивых прокуроров на местах, которых она обвиняла в огульном преследовании членов партии. Подчеркивалось, что необходимо уделять больше внимания «каждому честному коммунисту». Партия, воплощенная в Сталине, брала на себя роль верховного судьи, тщательно взвешивающего на своих весах душу каждого человека [60].

ГЛАВА 2

БОЛЬШЕВИСТСКИЕ ВЗГЛЯДЫ НА ДНЕВНИК

Большевистский проект изменения человеческого *Я* несет в себе все черты «советской Реформации» [61].

Действительно, то, как большевики пытались распространить новое сознание по всей стране и превратить это сознание в предмет личного опыта, напоминает попытки деятелей церковной Реформации создать религию, сконцентрированную на индивидуе. Как Реформация XVI века, так и революция в Советской России были ориентированы на субъекта, призывая к созданию человека, рассчитывающего на самого себя. В случае Реформации этот человек должен был контролировать свое душевное

здоровье, а в советском случае — осознавать себя политическим субъектом, имеющим историческую миссию.

Реформация вела к распространению дневников как учетных книг преобразованных христианских душ. В качестве личной и общественной практики дневник приобрел особое значение в бурной религиозной атмосфере пуританской Новой Англии. Пуританские священники приняли технику ведения дневника как способ работы над собой ради спасения и как средство распространения своей веры. Их автобиографические писания раскрывали личность и в то же самое время предписывали некие нормы. Они раскрывали личность, поскольку темы паломничества и конфликта, скорби и благодати отражали опыт авторов дневников и являлись порождением их самосознания. Они предписывали нормы, поскольку жанр дневника воспринимался как парадигма, в которую вписывались и в которой формировались «основные образцы благочестивой жизни» и «в рамках которой следовало понимать [личный] опыт» [62]. Пуританские дневники велись прежде всего не как интимные документы, предназначенные исключительно для авторского самоанализа. Хотя дневник был инструментом спасения его автора и в этом смысле соответствовал представлению о своеобразии личности, пуританские святые, записывая свои исповеди, всегда имели в виду более широкую аудиторию. С точки зрения пуритан, возрождение личности и общины осуществлялось в ходе совместного паломничества к спасению. Это слияние субъективного, индивидуального *Я* с коллективом в поисках спасения весьма напоминает советскую концепцию выведения субъективного сознания личности на уровень объективной истины через включение в революцию. Но использовали ли советские коммунисты дневник как средство тотализации и индивидуализации своей идеологии?

Судя по «Книжке красноармейца» периода Гражданской войны, по крайней мере некоторые революционные активисты пытались использовать дневник в целях политического воспитания. Эта книжка выдавалась каждому красноармейцу, и в ней он должен был записывать сведения о полученном им оружии, питании и обмундировании. В конце книжки было оставлено несколько пустых страниц. На первой из них имелись заголовок «Для личных заметок» и инструкция: «Если можешь, веди дневник своей службы в Рабоче-крестьянской Красной Армии»[63]. Хотя не сохранилось ни одной книжки, которая бы свидетельствовала о том, как конкретно какой-либо красноармеец воспользовался местом, оставленным для личных заметок, предписание вести дневник вполне соответствовало общей стратегии Красной армии, направленной на ликвидацию политической неграмотности бойцов и выработку в них чувства сопричастности борьбе, имеющей всемирно-историческое значение.

В первое десятилетие после 1917 года дневник привлекал к себе внимание, особенно со стороны ученых и представителей литературного авангарда, пытавшихся связать дневниковый жанр с делом революции. Среди них были «педологи», революционно настроенные психологи и педагоги, посвятившие себя изучению ребенка. Предполагая, что у детей нет автономного сознания и что его может сформировать существующая общественная среда, педологи считали, что исследование детей позволяет непосредственно увидеть психофизические последствия революции. Психологи ценили дневники в особенности за их предполагаемую «подлинность». Поскольку дневник писался по собственной инициативе его автора, они предполагали, что он является по определению искренним и содержит прямое отражение психических процессов. «Анализ дневника позволяет изучить такие формы

поведения, которые трудно было бы вскрыть в какой-либо иной форме». Безусловно, такой подлинности можно было достичь только в «правильном» дневнике, который определялся как результат регулярного ведения записей в модусе авторефлексии [64].

Педологи публиковали юношеские дневники в доказательство определяющего влияния общественной среды на психофизическое развитие личности. Дневник немецкой девочки, первоначально опубликованный Психоаналитической ассоциацией с центром в Вене, вышел в 1925 году в русском переводе с предисловием профессора Военно-медицинской академии. Как объяснял профессор, дневник, в котором описывалось пробуждение половых проявлений у девочки предпубертатного возраста, показывает, что ее родители и воспитатели, «находясь под гнетом ложных предрассудков и лицемерной буржуазной морали», избегают «правильного» полового воспитания и оставляют детей «беспомощными» перед лицом одолевающих их половых инстинктов: «Книгу с интересом должны прочесть педологи, педагоги, врачи, социальные работники вообще и родители; многих она должна... заставить подумать над тем, как не следует воспитывать детей; с этой точки зрения содержание книги может быть полезно и в смысле пропаганды» [65].

Выход в 1926 году «Дневника Кости Рябцева» можно отчасти трактовать как советскую реакцию на появление дневника немецкой девочки. Этот вымышленный дневник, написанный Николаем Огневым (М.Г. Розановым), отличался таким жизнеподобием и привлекательностью, что со временем дважды публиковались его продолжения, а один из рецензентов задавался вопросом, не позаимствовал ли просто Огнев материал из «подлинных» дневников. Костя — непослушный и недисциплинированный подросток, и описание им таких тем, как жестокое обращение с детьми, онанизм и аборт, оказывается более

ярким и шокирующим, чем грезы немецкой девочки; тем не менее критики изображали его положительным примером для советской молодежи. Костя — пролетарий с «коммунистическими убеждениями». Здоровая рабочая среда гарантирует правильность его общественных установок. Будучи хулиганом, Костя тем не менее различает «непролетарские» и «пролетарские» сумасбродства. Ни на одну минуту у читателя его жизнеописания не возникает сомнений в том, что в конце концов он возьмет под контроль свои инстинкты, которые приводят к анархическому поведению. Дневник завершается приемом Кости в комсомол. Дневник Кости, к которому Огнев написал продолжения, выдержал несколько изданий и, безусловно, сыграл существенную роль в популяризации дневников среди советских читателей. В 1933 году 19-летний рабочий Леонид Потемкин сравнил свой дневник с дневником Кости Рябцева, и это сравнение оказалось явно не в пользу Потемкина, которому не доставало, по его собственному мнению, практического овладения жизнью: «...у меня лишь болезненные рассуждения. Нет практики, kloкочущей общественной жизни. Нужно стать практиком жизни, нужно жить» [66].

Устремления педологов не ограничивались использованием дневников для показа отрицательного или положительного влияния общественной среды. Педологи стремились создать корпус биографических текстов, которые бы одновременно свидетельствовали о социалистической направленности пролетарского государства и поддерживали такую направленность. В 1919 году директор Московского педологического музея Николай Рыбников обратился в Наркомпрос с настоятельной просьбой о создании биографического института, который бы занимался сбором и анализом дневников и других автобиографических материалов молодых советских людей. Его инициатива не была

поддержана из-за недостатка средств, но Рыбников самостоятельно приступил к сбору автобиографических свидетельств молодых советских граждан. К 1928 году он собрал 120 тысяч ответов на составленную им анкету для учеников младших классов, проживающих в провинции. Его диагноз отличался трезвостью: лишь малая доля этих учеников знала цель и историю революции, произошедшей десятью годами ранее. Кроме того, их ответы свидетельствовали о том, что большинство авторов дневников в России происходили не из эксплуатируемых классов, с представителями которых предпочитали проводить опыты педологи, а из «буржуазной интеллигенции». Тем не менее педологи выражали надежду на то, что «с ростом психологической культуры и повышением интереса к внутреннему миру [советская] дневниковая литература получит значительно большее распространение» [67].

Существуют некоторые свидетельства того, что еще в 1920-е годы ведение дневников использовалось в советских школах как педагогический инструмент — не только для совершенствования речевой выразительности, но и как средство саморазвития. Отдельным ученикам и целым классам давались задания вести дневники. Примечателен в этом отношении дневник Льва Бернштейна, подростка, впоследствии ставшего известным физиком, действительным членом АН СССР. В его дневнике 1926 года, в котором видны следы учительских исправлений красным карандашом, описывается экскурсия всем классом на плотину Волховской ГЭС — первой из ряда великих советских строек: «Рабочий поселок Волховстроя — это прекрасное достижение советского рабочего строительства. Настоящая Америка! Чистые большие улицы, по обеим сторонам — бараки, общежития для рабочих. На каждом перекрестке на столбе световое название улицы и №№ барак... Рабочий поселок Волховстроя — это образцовая

коммуна рабочих, это черновой набросок будущего коммунистического общества» [68].

Дневник Бернштейна, кроме того, показывает механизм, при помощи которого учащимся следовало усваивать и интериоризировать советские политические и социологические классификации. При посещении района Старой Ладogi неподалеку от плотины перед ними было поставлено задание ознакомиться с «разными типами крестьян, в которых мы пытаемся уловить некоторые признаки расслоения, хотя они и не активно выдвинулись в деревне». Им было необходимо научиться различать угнетаемых бедняков, середняков и богатых крестьян, зловещих угнетателей-кулаков. Интересно, что именно кулак более всего увлек учащихся рассказом о жизни при крепостном праве и наступлении революции, «когда наш брат, рабочий и крестьянин, правит матушкой-Россией». Учитель Бернштейна не снабдил восторженную характеристику этого крестьянина-угнетателя какими-либо замечаниями, и это свидетельствует о том, насколько еще идеологически «неочищенным» был период 1920-х годов, когда было можно делать заявления, которые в 1930-е годы, в обстановке исторически более развитого социализма, были бы сочтены еретическими и подрывными для коммунистической идеологии.

Важность ведения дневников подчеркивалась также «Левым фронтом искусств» (ЛЕФом), группой советских писателей-авангардистов, объединившихся в целях создания пролетарской культуры. Особой целью ЛЕФа было распространение новой литературной формы — «литературы факта». Лефовцы обосновывали свой призыв к новой литературе утверждением о том, что традиционный литературный стиль, символизируемый буржуазным романом, устарел. Роман характеризовался главным образом оторванностью от интересов и практических забот текущей жизни; он мог лишь мистифицировать читателей,

воздействуя на их воображение. Наоборот, «наш эпос — газета... О каком романе — книге, о какой “Войне и Мире” может идти речь, когда ежедневно утром, схватив газету, мы по существу перевертываем новую страницу того изумительнейшего романа, имя которому наша современность. Действующие лица этого романа, его писатели и его читатели — мы сами»[69].

ЛЕФ отстаивал документальную, или фактографическую, литературу, охватывавшую широкий круг источников, свидетельствовавших о реализации революционной программы советского государства. Речь шла прежде всего о человеческих документах: биографиях, воспоминаниях, описаниях путешествий, автобиографиях и дневниках. Объединял эти тексты «факт», который является «первой материальной ячейкой для постройки здания». В противоположность созерцательному идеализму буржуазной литературы это была «новая (слово “эстетика” пора бы и отбросить) наука об искусстве, [которая] предполагает изменение реальности путем ее перестройки... Отсюда — и упор на документ. Отсюда — и литература факта» [70]. Неявно ЛЕФ поощрял каждого пролетария ежедневно вести дневник, в котором будет документально фиксироваться процесс перестройки и самоперестройки, происходящий во всех сферах советской жизни. Календарная сетка дневника была пригодна для развертывания левовской программы ежедневного документирования строительства будущего. Но эта программа работала только в том случае, если «факты» советской жизни как на общественном, так и на личностно-психологическом уровне свидетельствовали о постоянном, непрерывном развитии.

Показательным для коммунистических концепций дневника представляется то, что самое широкое обсуждение ведения дневников в тот период происходило на строительстве московского метро. Московское метро

занимало центральное место в проекте Максима Горького «История фабрик и заводов». Как и в случае всех остальных заводов и строек, охваченных этим проектом, для собирания документов «Как мы строили метро» была создана редколлегия из профессиональных писателей, задача которой состояла в том, чтобы подтолкнуть рабочих писать воспоминания и в конечном счете опубликовать эти воспоминания в документальном многотомнике. Редакторы «Как мы строили метро» особо поощряли ведение рабочими «производственных дневников», лучшие из которых предполагалось включить в задуманные тома. Дискуссии в редколлегии проливают свет на то, какими ее члены видели формы и цели ведения дневников на стройплощадке и за ее пределами. Во-первых, дневник выступал как дисциплинирующий прием в процессе труда: он должен был поощрять автора-рабочего «упорядочить, систематизировать и осмыслить свою работу для того, чтобы усвоить и закрепить [трудовой] опыт». Один из редакторов, Леопольд Авербах, уподобил ведение дневников партийной чистке: «Анализируется в себе все — что и как. Дневник должен быть написан так, чтобы рабочий или другой человек спросил себя, что ценного он сделал сегодня» [71].

Редакторы считали ключевой характеристикой дневника его способность наводить на размышления о себе. «Дневник — способ ежедневного подведения итога своей деятельности, осмысления своей жизни». Будучи не просто отчетом о работе, дневник рабочего должен «показывать процесс развития целостной личности». В конечном счете редакторы хотели, чтобы авторы дневников связывали свою жизнь со строительством и понимали, что их индивидуальная жизнь развивается в контексте построения социализма. Этот процесс представлял собой одновременно объединение (в смысле открытия своего Я для коллектива) и самосовершенствование (в смысле проявления творческих

способностей). С одной стороны, «каждая [личная] биография должна [была] стать частью биографии метро». С другой — издание, посвященное строительству, как ожидалось, будет способствовать формированию личности каждого из авторов. Акт «коллективного творения» должен был «обогащать индивидуальность каждого творца»[72].

Обсуждая советские производственные дневники, редакторы стремились сделать их непохожими на «буржуазные» — общественно бесполезные записи, заполненные бесплодной болтовней. «Почему мы часто смотрим на дневник свысока? — спрашивал Авербах. — Потому что это понятие заставляет вспомнить гимназистку, которая садится за стол и записывает всякую чепуху». Наоборот, подчеркивал Авербах, советский производственный дневник прочно вписан в обстановку сосредоточенных коллективных усилий, придающих ему направление и полезность. «В нашем случае дневник является частью системы» [73].

Помимо включения их авторов в советский проект, ведение дневников имело и общественную цель. Дневники и воспоминания должны были обсуждаться в рабочих бригадах и публиковаться в стенгазетах, чтобы воспитывать и мобилизовывать отстающих членов коллектива. Именно поэтому редакторы настаивали, что дневники должны вести в первую очередь «ударники», рабочие, перевыполняющие производственные нормы. Их замечательные трудовые рекорды указывали на развитое политическое сознание и давали надежду, что они будут вести дневники, особенно подходящие для включения в тома, увековечивавшие строительство метро. Ударники должны были также поощрять к ведению дневников и работе над собой других, менее успешных рабочих [74]. Советский производственный дневник, по замыслу родоначальников этого жанра, должен был быть одновременно чрезвычайно личным документом, раскрывающим внутреннюю сторону

личности, и публичным, воспитательным текстом; подобно пуританскому дневнику, он сочетал в себе духовную и пропагандистскую функции. Редакторы не рассматривали производственный дневник — или жанр дневника в целом — как чисто личный документ. Скорее он понимался как средство и орудие формирования *Я*, определявшегося в категориях слияния индивидуального и коллективного, субъективного и объективного.

Предполагая, что рабочие не знакомы с дневниковым жанром и не знают, как вести «творческие дневники», редакционная коллегия разработала подробное руководство по составлению таких дневников. В нем перечислялся ряд вопросов, на которые в ходе своего анализа должны обращать внимание авторы дневников: «Партия, ее руководящая роль... роль инженера; облик комсомола; международная жизнь; классовая борьба на Метрострое; женщины и метро; культура и быт; вся Москва строит метро, весь [Советский] Союз строит метро».

Кульминацией этих предписаний был призыв к правдивому отражению действительности: «Существенное требование к дневнику — его максимальная правдивость, искренность и подлинность... Никакой псевдолитературности... Пишите правду!» Правдивости следовало добиваться за счет верного следования стилистическим и тематическим указаниям редакторов. К числу этих указаний относились правильное понимание автором дневника политической жизни и его способность занять правильную позицию по отношению к ее развитию, будь то «классовая борьба на Метрострое» или «международная жизнь». Правду можно было ощутить только как внутренний опыт, преодолевающий слой внешних видимостей, и местом, в котором это можно было сделать, являлся дневник: «Дневник отражает наше осознание мира. Следует выйти за пределы внешней видимости, за пределы того, что схватывает наш глаз. Необходимо понимать события, связывать их. Должна

существовать центральная тема. Критерий качества дневника — его правдивость». Правдивое отражение действительности, подчеркивали редакторы, не должно приводить к ее приукрашиванию. Автору дневника было не только можно, но и нужно фиксировать отрицательные жизненные проявления. Но он должен был также объяснить происхождение и природу этих недостатков [75].

Результаты описанного начинания не удовлетворили его инициаторов. Лишь часть рабочих Метростроя вняла призыву вести дневники. Многие дневники, полученные редакторами, были безграмотно написаны, изобиловали орфографическими ошибками и косноязычными выражениями. В других отсутствовала глубина понимания событий, которой стремились добиться редакторы, что подтверждало их первоначальные опасения, что дневники превратятся в простые «журналы учета» того, «сколько кубометров грунта изъято» в течение каждого дня. Повествования были «поверхностными» и «сухими», им не хватало «проникновения в глубину», они «не доходили до сути дела». Но хуже всего было то, что они оставались на уровне «бесполезного» описания или созерцания, не выдержав проверки на «правильность» и оказавшись не в состоянии способствовать повышению эффективности труда рабочих. Грандиозный проект создания коллективной биографии Метростроя не принес ожидаемых плодов [76]. В конечном счете редколлегия выпустила два тома воспоминаний и автобиографических очерков (но не дневников), посвященных строительству московского метро [77].

Редакторы были вынуждены признать, что реализация плана стимулирования создания производственных дневников, которому «придавалось очень большое значение», оказалась гораздо более длительным делом, чем можно было предположить. И все же они не потеряли веры в важность «дневникового» инструментария. Один из

редакторов замечал: «Надо ли вести дневники? Безусловно. Они могут дать значительные результаты, но эти результаты не будут получены сразу. Дневник требует времени, но материал нам нужен уже сейчас». Это итоговое замечание выдает характерные сомнения редакторов. В некоем отдаленном будущем, считали они, граждане социалистического государства с развитым социалистическим сознанием станут вести дневники требуемого типа. Однако сейчас такие дневники не могут быть созданы без полномасштабного редакторского контроля и вмешательства. Жаждавшие как можно быстрее задокументировать исторические преобразования, осуществлявшиеся советской властью, редакторы обратились к воспоминаниям рабочих, которые по сравнению с дневниками быстрее писались, легче контролировались и давали значимые биографические результаты [78].

Если советским рабочим в целом еще не хватало политической грамотности для ведения «правильных» дневников, то как обстояло с этим дело у коммунистов, вроде Дмитрия Фурманова, политическая сознательность которых не вызывала сомнений? Фурманов, как и другие представители радикальной интеллигенции, был поборником ведения дневника [79]. Но даже для него оно было противоречивым занятием. Он неоднократно выражал тревогу по поводу того, что ведение дневниковых записей приводило его к чрезмерному акцентированию разнообразных аспектов личной жизни, тем самым отрывая от революции и судьбы советских людей. Своим акцентом на личных эмоциях, на «любви, страдании, радости, воспоминаниях, ожиданиях» эти записи напоминали ему дневник Николая Второго, отрывки которого он читал в какой-то газете в 1917 году: «Покушал, прошелся по садику, полежал, светило солнышко, побранился, и т.д. и проч.» Но от последнего Романова, спешил добавить

Фурманов, его принципиально отличало то, что бóльшая часть его жизни была посвящена великому делу Революции, однако дневник не передавал этой приверженности.

Фурманов был убежден, что дневник не может передать всей сути его жизни [80]. Этот конфликт между личной лирической сферой и эпической «жизнью» не нашел отражения в дневнике литературного героя Фурманова — Федора Клычкова. Дневник Клычкова монолитен — в нем звучит голос человека с развитым интеллектом, приверженного общественной пользе и революционному действию. Таким Фурманов и представлял себе дневник идеального коммуниста.

Коммунисты продолжали высказывать предостережения по поводу дневников и в начале 1930-х годов, хотя к тому времени они уже стали активно ссылаться на «полнокровную личную жизнь» нового социалистического человека. Однако сохранялись сомнения в том, является ли дневник подходящим инструментом самообучения и индивидуализации в советских условиях. Комсомольский активист в середине 1930-х годов упрекал друга за утверждение, что «человек находит путь своего развития при помощи дневника, посредством организации и изучения собственного Я». «Нет, дорогой мой, самое ценное в жизни человека работа, а не дневник... Ибо знание своей работы и любовь к ней... слияние с многомиллионным коллективом — основа современного обучения и самообучения. А дневник — не способ самообучения, а способ самокопания. Он подходит “интеллигентам” (в дурном смысле слова), “изучающим” себя и зарывающимся вглубь своей психики: таков я, жалкий и слабовольный человек; в этом оплошность, которую я допустил» [81].

Соглашаясь со своим корреспондентом в том, что коммунист должен «организовывать» свою психическую жизнь, чтобы координировать ее с жизнью коллектива, комсомольский активист тем не менее критиковал дневник

как бесполезный и даже вредный инструмент. Будучи средством чистого самоанализа, дневник чреват отрывом мысли от действия, души от тела, а личности — от коллектива. Сам по себе акт ведения личного дневника мог ослабить главное в коммунисте — силу его воли, которой была необходима постоянная подпитка коллектива и трудовой деятельности. Таким образом, дневник обладает страшной способностью превращать коммунистов в буржуазных субъектов. Контраст между коммунистической силой и буржуазной слабостью к тому же поддерживал оппозицию между такими предположительно мужскими качествами, как твердость, рациональность, приверженность к коллективному действию, и женской истерией, нарциссизмом и общественно бесполезной болтовней. Последние характеристики иногда отождествлялись с дневником как литературной формой. Дневник, отмеченный разлагающей способностью делать коммуниста слабым, буржуазным и женственным, не относился к числу основных форм «работы над собой», пропагандировавшихся коммунистическим режимом на протяжении 1930-х годов [82].

Грань 1920-х и 1930-х годов была ознаменована переходом от периода компромисса и исторической «засоренности» сознания к стремлению вступить в завершающую историческую эпоху максимальной чистоты. Этот переход затронул как читательскую аудиторию, так и сам стиль чтения дневников. Основными читателями и аналитиками дневников в 1920-е годы были педологи, выводившие погрешности сознания, проявлявшиеся в дневниках, из социальной среды все еще несовершенной советской современности. В 1936 году, когда все классовые антагонизмы в советском обществе, как провозглашалось, были преодолены, педологию запретили. Теперь основным интерпретатором дневников стал НКВД [83].

Сотрудники НКВД анализировали дневники, изъятые во время обысков в квартирах подозреваемых в контрреволюционной деятельности, на предмет признаков субъективного уклона или оппозиции единственной исторической формации социализма, воплощенной советской властью. Служащие НКВД не получали педологической или литературной подготовки, но полностью разделяли убеждение педологов и советских писателей в том, что дневник обнаруживает правду о его авторе — либо в прямом смысле, либо при прочтении этого текста «наоборот». В последнем случае НКВД предполагал, что враги-контрреволюционеры маскируются под коммунистов и что их лояльные коммунистические дневники представляют собой часть этой сложной маскировки [84].

В двух значительных случаях дневники коммунистов, обвиненных в контрреволюционной деятельности, публично цитировались для разоблачения их нравственно-политического облика. Первый случай касался профсоюзного лидера и соратника Михаила Томского Бориса Козелева, в конце 1920-х годов заподозренного в правом уклоне. В своем дневнике Козелев саркастически комментировал то, как Сталин хитростью, одного за другим побеждал противников и укреплял политический культ собственной личности. Этот дневник был обнаружен пьяным коллегой, которого Козелев привел к себе домой и уложил в своем кабинете, чтобы тот протрезвел. Коллега нашел дневник в ящике стола Козелева и передал его в ОГПУ (советскую тайную полицию, в 1934 году вошедшую в состав НКВД), а оно направило его в Политбюро. Фрагменты из дневника появились в советской печати, осудившей автора за «антипартийные выходки». Кроме того, дневник обсуждался на XVI партконференции в июне 1930 года, на которой определилась судьба «правой оппозиции». Козелев, исключенный из партии, признал по

крайней мере некоторые из обвинений: в знак покаяния он пошел работать металлистом на завод «Серп и молот», а осенью 1930 года уехал в Магнитогорск помогать строить этот город металлургов. Он был арестован в 1936-м и расстрелян в 1937 году [85].

Еще одним дневником, интенсивно изучавшимся коммунистическим руководством и НКВД, был дневник Леонида Николаева, разочарованного коммуниста, в декабре 1934 года застрелившего Кирова, что послужило предлогом для начала кампании террора против прежних противников Сталина, включая Томского и Козелева. После ареста Николаева дневник нашли в его портфеле. Дневник, обильно цитировавшийся в отчетах о расследовании убийства, служил основным свидетельством процесса внутреннего вырождения, приведшего к тому, что коммунист убил своего товарища. В дневнике Николаев описывает свое отчаяние после получения партийного выговора в начале 1934 года и то, как оно привело его к сознательному решению совершить нападение на коллективный орган, из которого он был исключен [86].

Ни в случае Николаева, ни в случае Козелева прокуроры не вменяли им в вину сам факт ведения дневников. Вместо этого они сосредоточивались на том, что выявили эти дневники в их авторах. Хотя коммунист-наблюдатель, возможно, обнаруживал причинную связь между скрытным ведением личных дневников и состоянием субъективного вырождения, никто не утверждал прямо, что вырождение стало следствием самого ведения дневника. Это дополнительно свидетельствовало о том, какие противоречия вызывал в воображении коммунистов дневник, воспринимавшийся то как законное средство самосовершенствования, то как сугубо буржуазное занятие.

Несмотря на дух самостоятельности и активности и на стремление к индивидуации, характеризовавшие и большевистскую революцию, и пуританство XVII века, эти

движения преследовали разные цели. Пуритане придавали основное значение отношению верующего христианина к его душе. По определению душа падшего человека греховна, но признание и разоблачение своего греха путем бдительного наблюдения за собой были ключом к спасению человека в посмертной вечной жизни. Календарная сетка и повествование от первого лица придавали дневнику силу ежедневной записи суда личной совести христианина над его прегрешениями. Как форма ежедневного диалога с собой, практика ведения дневника была необходимым элементом работы, направленной на спасение; отсюда — центральное, с точки зрения пуритан, место дневника и как средства самосовершенствования, и как инструмента пропаганды. Напротив, большевистская революция была ориентирована не на посмертное существование, а на переделку *земного* мира. Поэтому советские коммунисты стремились добиться всеобщей сознательности, чтобы побудить граждан к осознанному действию. В противоположность заботе пуритан о внутреннем мире как цели в себе и для себя, советская культура наделяла высшей ценностью внешнюю сознательную деятельность. Осознанное действие предполагало познание себя и овладение собой, организованную психофизическую жизнь. В этом смысле внутренний мир был тоже важен, но лишь как ступенька на пути к акту сознательного труда.

Сознательность и действие как меры ценности личности в Советском Союзе являлись также важнейшими критериями, в соответствии с которыми определялась ценность ведения дневника. Ведение дневника было законным и ценным занятием, если автор использовал его для укрепления своей умственной приверженности труду в советском коллективе. Можно утверждать, что производственный дневник, предусматривавшийся редакторами сборников, посвященных Метрострою, был идеальным советским дневником: его цель заключалась в

том, чтобы способствовать дневниковому осмыслению трудовой среды и тем самым насыщать физический труд душевной самоотдачей. Трудовая среда и коллектив в сочетании с руководством со стороны редколлегии гарантировали безусловную направленность мыслей авторов дневников на осознанное действие. Но для этого требовалось, чтобы дневники вели политически грамотные люди, а таких на строительстве московского метро было мало. Что касается дневников, которые писались вне трудовой среды и не под бдительным оком коллектива, то в них, наоборот, заключалась опасность не укрепления, а ослабления коммунистической воли авторов. Здесь существовал риск предпочтения рефлексии действию, а поэтому такие дневники оценивались неоднозначно и с некоторой долей подозрительности. Это помогает объяснить, почему дневники не находились на магистральной линии политики субъективации, проводившейся большевистским государством.

Авторы советских дневников создавали свои личные самоотчеты, не имея четких предписаний наподобие тех, которые были характерны для пуританского дневника. У них не было уверенности в пользе дневника, и они не знали, как «правильно» его вести. Большинство из них вели дневники по собственной инициативе, а некоторые открыто жаловались на отсутствие официальных инструкций по организации эффективной работы по самосовершенствованию. Поэтому анализ подобных дневников показывает, до какой степени люди, действуя по своей воле, творчески вписывали себя в неопределенную матрицу революционной субъективации, самостоятельно вырабатывая некоторые базовые категории и механизмы самореализации в советском духе.

ГЛАВА 3

ЛАБОРАТОРИИ СОЗНАНИЯ

В 1893 году Маврикий Фабианович Шиллинг, молодой дворянин и подающий надежды дипломат, живший в Петербурге, отмечал в своем дневнике, что обошел множество магазинов в поисках толстой тетради с замком, но все такие тетради распроданы, и он смог сделать заказ только на тетрадь из следующей партии. Изысканно оформленные дневники с замком и ключом были, как правило, недоступны в Советской России. Авторам дневников сталинской эпохи приходилось иметь дело со школьными тетрадями, да и те были в дефиците. Многие авторы дневников упоминали о том, что из-за отсутствия бумаги и тетрадей они были вынуждены приостановить писание своих хроник. В статье в «Правде» с сожалением сообщалось о дефиците школьных тетрадей и их низком качестве: «Грубые, шершавые, неопределенного цвета обложки легко впитывают грязь и потому засалены и неопрятны. Клякс и замазанных слов гораздо больше, чем допустимо даже для учеников первого класса, и в этом не вина детей: в редкой тетради найдешь крохотный клочок промокательной бумаги». В отсутствие тетрадей кое-кто вел дневник в бухгалтерской книге, которую предположительно мог найти у себя на работе [87]. Пользование бухгалтерской книгой, по-видимому, подтолкнуло профсоюзного работника Александра Медведкова к своеобразной дневниковой бухгалтерии. Он фиксировал события каждого дня своей жизни в нескольких таблицах с такими подзаголовками, как «число и месяц», «дни», «наименование проделанной работы и отдыха», «содержание работы и отдыха», «личные выступления и действия», «потраченное время» и «интимность». В таблицы он заносил количество часов, ежедневно затрачиваемых на каждый вид деятельности. Другой автор вел свой дневник на разрозненных официальных бланках — как советских, так и дореволюционных [88].

Таким образом, дневники сталинской эпохи внешне резко контрастировали с дореволюционными дневниками, которые зачастую велись в толстых, иногда переплетенных в кожу томах, порой сделанных из «мраморной» бумаги. Этот контраст был еще заметнее у тех авторов дневников, которые вели их и до, и после революции и рано или поздно были вынуждены сменить солидно переплетенные тома на грубые тетради, выпущенные в условиях советской экономики [89]. Символизирующий переход авторов дневников от упорядоченной жизни к бедности и сильным потрясениям, образ двух этих книг — переплетенного в кожу тома и школьной тетради — воплощает в себе и другой переход: от ведения дневников как занятия привилегированных членов общества к демократической программе всеобщей грамотности, обучения и фиксации личностных изменений.

Дефицит бумаги, который приходилось преодолевать авторам дневников в 1930-е годы, лишь дополнительно подчеркивает силу их желания взяться за перо. Та же настоятельная потребность отражается в ряде общих тем дневников, связанных в представлении авторов с насущными вопросами, решение которых невозможно без их участия и борьбы. Многие авторы дневников верили, что живут в историческую эпоху, и стремились участвовать в событиях, составлявших ее суть. Безусловная обязанность и, у многих, желание быть вовлеченными в историческое развитие были в равной степени характерны как для верных сторонников сталинского режима, так и для некоторых из его острых критиков. Авторы дневников также знали, что для участия в политике революционных преобразований они должны сначала преобразовать себя. Они использовали дневники для отслеживания своих мыслей и действий в свете требований «общественной полезности». Для того чтобы включиться в историю, было необходимо трудиться и бороться. Хотя многие авторы не могли «слиться с

революцией» и вместо этого были поглощены «маловажными» делами — от домашнего хозяйства до любовных романов, — они все же винили себя в «мелочности» своих забот и настаивали на том, что их человеческая и гражданская ценность зависит от способности служить более широким интересам общества. Они стремились приобщиться к опыту более крупного коллектива, представлявшегося им живым организмом. Приверженность коллективу придавала их жизни смысл и энергию, выходящие за рамки простого выживания в эпоху усиленного идеологического надзора. В свою очередь, многие из тех, кто не мог или не хотел мыслить в едином порыве с идущим вперед коллективом, чувствовали себя подавленными и бесполезными, а некоторые даже сообщали о своем желании умереть. Будучи жизнотворческой силой, революция ставила перед теми, кто находился в оппозиции революционному государству, вопрос о жизни и смерти.

Революционное время

Как демонстрируют многие советские дневники 1930-х годов, их авторы остро ощущают, что живут в исключительный исторический период и должны оставить о нем свидетельство. «Когда-ж я начну писать воспоминания 30-х годов?» — спрашивает себя один из них. То, что он задавал этот вопрос в 1932 году, когда десятилетие едва началось, показывает, насколько уже к тому времени укоренилось представление о сталинской индустриализации как об отдельной эпохе, разворачивающейся на глазах ее свидетелей и участников. Не сводясь к простой фиксации событий, дневник часто решал дополнительную задачу: вписать автора в эпоху, начать диалог между *Я* и временем в исторических категориях и таким образом вывести собственное *Я* на уровень субъекта истории. Двоякая цель дневника — фиксация истории в ее становлении и фиксация становления собственного *Я* как субъекта истории —

определяла многое в дневниках коммунистов того периода, но распространялась и на авторов, критически относившихся к коммунистическому режиму. По сути дела, чем сильнее эти авторы критиковали политический строй, тем активнее они обращались к истории[90].

Александр Железняков, коммунист, проводивший коллективизацию в Вологодской области, начал вести дневник, услышав, что будет назначен председателем сельсовета в другом районе. В первой записи он прощался со своими товарищами-активистами. Уточняя результаты их «борьбы» — коллективизировано 70% крестьянских хозяйств, организовано 12 колхозов, — Железняков писал, что эта «победа должна быть отмечена в истории колхозов Лихтовского сельсовета». Железняков включал сообщение о своем новом назначении в более широкий нарратив коллективной классовой борьбы: «Классовый враг, кулак, не спал, настраивая отсталую массу бедняков, середняков против колхозов... Итак, в ожесточенной схватке с отживающими и умирающими кап. элементами родились, живут и крепнут наши колхозы. Много еще впереди борьбы, в особенности на новом месте, в Пироговском сельском совете, куда я переброшен районным комитетом партии» [91].

Та же стратегия заметна и в дневнике Маши Скотт, которая расширила идеологическую рамку своего повествования до предела — до эпоса о международной классовой борьбе. Маша, учительница крестьянского происхождения, жившая в Магнитогорске, вспоминала о встрече с Джоном Скоттом, американским инженером, приехавшим на строительство, за которого она впоследствии вышла замуж. Она описывала свое впечатление об изможденном молодом человеке в лохмотьях, засыпанном пылью от домны: Этот первый американец, которого я когда-либо видела, был похож на беспризорного мальчишку. Я увидела в нем

продукт капиталистического угнетения. Перед моим умственным взором предстало его безрадостное детство; я представила себе долгие часы бесчеловечного труда на каком-то капиталистическом предприятии, которые он был вынужден отрабатывать еще мальчиком; я вообразила позорно низкую зарплату, которую ему приходилось получать, чтобы купить немного хлеба и быть в состоянии работать на следующий день; я вообразила, как он боялся потерять даже это скудное вспомоществование и оказаться на улице без работы в случае, если не сможет выполнять свою работу к удовольствию и выгоде паразитов-хозяев [92].

Драматург Всеволод Вишневский считал своей «задачей» вести дневник, чтобы «сохранить для истории наши наблюдения, нашу сегодняшнюю точку зрения — участников». Читая об исторических «ошибках и победах» автора и его современников, будущие поколения должны были утвердиться в своей приверженности делу построения идеального коммунистического общества [93].

Даже дневник, который сам автор расценивал как ежедневную бытовую хронику, имел историческое измерение. Николай Журавлев, сотрудник архива из Калинина (Тверь), хотел создать последовательное описание «нормальных [дней] нормального человека» для будущего историка города и советского быта. Характерно, что Журавлев начал описание обычной жизни с необычного события — 800-летия со дня основания города. То, что Журавлев придавал историческое значение своему проекту, видно из описания шествий и выступлений, происходивших в тот день: «Так праздновать могут только в стране социализма! Помню я эти официальные “торжества” при царизме... А наш праздник доподлинно массовый, доподлинно народный праздник...» Он пытался документально показать, что советский быт качественно отличается от прежнего, преобразен революцией — в

соответствии со сталинским утверждением о том, что быт был революционизирован [94].

Представление о том, что дневник должен быть ориентирован на историю, чтобы стать легитимным личным документом, отражено и в упреках, которые авторы этих дневников обращали на самих себя за то, что им не удалось добиться такого акцента. Завершая первую же запись в своем дневнике, который в течение нескольких следующих лет будет посвящен в основном несчастной любви к девушке по имени Катя, московский комсомолец Анатолий Ульянов упрекал себя за «тупую» неспособность связать дневник с более значительной жизненной целью:

«Правильно ли выражение, что дневник — мещанство? Я считаю, что это и правильно, и неправильно. Если писать только о любви, о своих любовных страданиях, это, пожалуй, и будет паскудной мещанской выходкой». Осознавая, что он сам в той или иной степени заражен чем-то подобным, Ульянов клялся перестать «заниматься “болтологией”, в дневнике воспроизводить только действительность». Под нею он подразумевал «жизнь, о которой люди пишут книги», жизнь героев, создающих новый социалистический мир. Пока же в его дневнике, наоборот, «мало написано о самой сути существования» [95].

Другой автор, писатель Александр Перегудов, лишь через четверть века понял, что замысел его дневника оказался неудачным. В 1961 году он отметил, что, перечитывая свои записи, поразился, насколько «мелкими» они были: «Где же то великое, что происходило в нашей стране, что меняло ее облик, укрепляло ее могущество? Объясняю это тем, что не для этой высокой цели предназначался дневник, а для небольших “интимных и лирических” записей, которые касались чисто семейной жизни, природы и были очень интересны только для меня и Марии. Как я жалею теперь, что не вел другой, большой

дневник о больших событиях, сколько раз собирался начать и не начал» [96].

Подобно Ульянову и Перегудову, молодая учительница Вера Павлова сожалела, что ее дневник касался лишь мелких и поверхностных бытовых эпизодов и не затрагивал «крупных и значительных» жизненных вопросов. Ее дневник слишком «субъективен», заключала она, а потому «скучен и шаблонен по форме». Она наставляла себя, что надо писать «проще, создать что-то новое, и чтобы это новое открыло, ознаменовало собой какой-то поворот... новую полосу... Да, писать что-то объективное, выводить, оживлять новые образы... Сгустить события, объединить единой нитью, единой мыслью, устремленностью». Писать о жизни «субъективно», без осмысления, с позиций личного наблюдения значило писать старомодно и нетворчески. Задача состояла в том, чтобы осознать, как история преломляется в личной жизни. Записывая эти замечания в 1931—1932 годах, Павлова предвосхищала основные принципы возникавшей теории социалистического реализма, требовавшей от советских писателей изображать действительность в революционном развитии и концентрированно выражать в литературных героях классовую борьбу и продвижение к бесклассовому обществу. Павлова предъявляет к нарративу четкие требования: чтобы дневник был ценным, он должен быть посвящен ведущей идее эпохи [97].

Понимая дневники как исторические хроники, их авторы, такие как Павлова, Ульянов и Вишневский, прилагали усилия к тому, чтобы представить себя субъектами истории. Календарная сетка, предоставляемая дневником, помогала им выразить осознание времени, которое было главным условием формирования исторической субъектности [98]. Дневник Владимира Бирюкова, уральского этнографа и библиотекаря, показывает, каким образом календарные даты могли

служить временными отметками, позволявшими отличить новое время от старого и четко локализовать автора в координатах советской действительности. Бирюков, которому было тридцать с лишним лет, критиковал тщательные приготовления своей матери к Пасхе, «хотя [она] отлично знает, что мы с Ларинькой ни в какие пасхи не верим». На следующий день он заметил о горах пасхальных куличей на столе, которых хватило бы до 1 Мая: «Пусть сегодняшний праздник будет мамочкин, а потом — наш». В аналогичном духе профессор ленинградского технического вуза Василий Педани, который завел дневник в 1930 году в связи с рождением внука Славы, отмечал, что 12 апреля 1931 года, когда Славе не исполнилось еще и года, семья научила мальчика отвечать на пионерское приветствие «Будь готов!» Слава «поднимал ручонку: “Всегда готов!”» Указав, что эта забава происходила в традиционный праздник Пасхи, Педани тем самым подчеркивал коммунистическую направленность воспитания внука. Прочитав роман писателя XIX века Ивана Гончарова, Вера Павлова была потрясена тем, насколько образ жизни в дореволюционной России не соответствовал советскому образу жизни: «Кажется, будто те события происходили, по крайней мере, несколько столетий назад... Только 80 лет и в них такой большой скачок, поворот истории» [99].

Нина Луговская (р. в 1919 году) была дочерью ветерана партии социалистов-революционеров, которого преследовали коммунистические власти. Несмотря на то что семейную квартиру неоднократно обыскивала тайная полиция, отец посоветовал всем трем своим дочерям вести дневники, сказав, что на их время будет «чрезвычайно интересно» оглянуться в последующие годы. В своем дневнике Нина пыталась разоблачать «лживость» коммунистической пропаганды, описывая голод и угнетение, которые она наблюдала вокруг себя. Жалуясь на

бесхребетность и забывчивость своих товарищей, она мечтала о жизни, наполненной революционным действием (что, в духе партии эсеров, вполне могло означать террористические акты). Однажды она упомянула о намерении убить Сталина, чтобы отомстить за несправедливости, чинимые отцу[[100](#)].

Ленинградский студент-историк Аркадий Маньков тоже вел дневник, полный едких политических замечаний. Как и калининский архивист Журавлев, Маньков рассматривал свой дневник как «сырье» для истории сталинского быта, которая рано или поздно будет написана, но, в отличие от Журавлева, писал дневник с целью скомпрометировать политический режим. Современная структура советского общества, писал Маньков, «чисто капиталистическая», называть его марксистским государством кощунственно. Тем временем сам Маньков призывал к осуществлению революционных целей марксизма — уничтожению эксплуатации и достижению материального изобилия. Он особо подчеркивал прогрессивность своей критики. Он описывал себя как «революционера», который «не приемлет современную ему действительность в принципе и идет по линии ее отрицания, во имя... идеала будущего. Он знает, что будущая жизнь лучше, но что она может быть достигнута только ценой беспощадного разрушения настоящей» [[101](#)].

Знаменитый биохимик Владимир Вернадский посвятил дневник, который он вел в период «большой чистки», описанию волн арестов в своем научно-исследовательском институте и среди друзей и коллег. Лаконичные записи Вернадского четко указывали на безумие и чудовищность этой кампании. Но более всего он был озабочен пагубным влиянием чисток на саму советскую власть, в основе которой, по его мнению, действительно стояли «интересы масс, во всем их реальном значении (кроме свободы мысли и свободы религиозной)». Вернадский подозревал, что

Сталин и его окружение были охвачены коллективным психическим расстройством, ибо как иначе можно было объяснить то, что своими действиями они «могут погубить большое дело нового, вносимого в историю человечества»? «Большим делом» было строительство социалистического государства, за что, по мнению Вернадского, стоило благодарить лично Сталина. Именно этот идеал советской государственности побудил Вернадского, одного из бывших лидеров либеральной кадетской партии и рьяного защитника государственной экономики, критиковать политику большевистской власти [102].

Несмотря на возрастные и профессиональные различия, критические подходы Манькова и Вернадского к режиму поражают своей близостью. Оба они верили в законы исторического развития, предвещающие возникновение в будущем идеального общественного устройства, оба претендовали на активную роль в построении этого будущего и оба не понимали людей, которые не признавали их видения будущего, а вместо этого оглядывались на прошлое. К числу последних относился дядя Манькова, бывший купец, а ныне — «лишенец». Маньков клеймил дядю, внешне «приятного» человека, за негативистские и ретроградные настроения: «Дядя Ваня — живое воплощение скотской ненависти к Советской Власти, ко всему сущему со стороны среднекалиберного буржуа-мещанина, от которого вместе с его доходами отняли всю цель, весь смысл жизни». С такой же решительностью отвергал возможность возврата к прошлому писатель Михаил Пришвин: «Православный крест... монархия... попы... панихиды... урядники... земские начальники — невозможно!» Несмотря на то что Пришвин осуждал бесчеловечную политику советского государства, он рассматривал эпоху, в которую жил, как исторически необходимый железный век, требовавший дисциплины и

подчинения со стороны граждан. Его дневник служил для фиксации порывов «ветра истории» [103].

Каковы бы ни были их политические расхождения, авторы всех этих дневников проявляли отчетливое осознание своего времени как исторической эпохи и самих себя как субъектов истории, обязанных участвовать в создании социалистического мира. Этому корпусу дневников можно противопоставить некоторые другие, авторы которых избегали революционного смыслового горизонта. К их числу относится дневник Евдокима Николаева, московского рабочего-самоучки и бывшего члена кадетской партии, родившегося в 1872 году. Личная библиотека Николаева, насчитывавшая около 10 тысяч томов, была конфискована после его ареста в 1920 году по подозрению в контрреволюционной деятельности. После ряда последующих арестов в 1938 году Николаев был казнен. На протяжении всего советского периода Николаев строго придерживался в своем дневнике юлианского календаря, отстававшего от григорианского, введенного в 1918 году, на тринадцать дней. Он скрупулезно называл улицы и предприятия их дореволюционными наименованиями. В противоположность этнографу Бирюкову, насмевавшемуся над Пасхой со ссылкой на 1 Мая, Николаева советский праздник труда натолкнул на воспоминания о жизни при царизме: «И как весело и радостно всем тогда чувствовалось. Какое во всем было изобилие, и как все было дешево да счастливо. Как было тогда хорошо, как привольно тогда всем жилось, а главное — свободно и весело. Но все это, как сон, миновало, явилась смута, и пришли с каторги чуждые стране и русскому народу преступные люди, захватили в свои руки власть над русским народом и стали проделывать эксперимент за экспериментом». В отличие от других критиков, осуждавших тогдашний режим во имя светлого будущего, Николаев отвергал революционные начинания

как таковые, считая их «утопической, бессмысленной системой какой-то “колхозной” жизни народа, которая проводится исключительно одним только принуждением и террором» [104].

Игнат Фролов, колхозник из Московской области, тоже придерживался в своем дневнике сталинских времен юлианского календаря. Однако он не пользовался дневником в политических целях. Его записи разворачивались в соответствии с циклическим календарем природных времен года, с подробными описаниями погоды и состояния урожая картофеля. Он упоминал обо всех русских церковных праздниках. Лишь иногда поток повествования прерывался замечаниями о пагубных деяниях «безбожников-коммунистов», руководивших колхозом. В дневнике Фролова нет признаков саморефлексии или интроспекции: в нем отражен образцовый случай «домодерного» сознания — жизнь в мире, управляемом силами природы и религии [105].

Таких дневников было заметно меньше, чем шумно возвещающих об участии в революционных преобразованиях. Их незначительное число обуславливалось не только рискованностью подобного «инакомыслия» — дневники Луговской, Манькова и Пришвина были по крайней мере столь же политически взрывоопасны. Проблема заключалась скорее в автомаргинализации, к которой приводило исключение себя из революционного времени. В период политической мобилизации и общественной активности трудно было «молчать... и стоять в сторонке», как описывал свое положение автор другого дневника, уральский крестьянин Андрей Аржиловский, за которым тянулась «контрреволюционная» личная история [106]. Многие авторы советских дневников считали совершенно неприемлемой поддержку дискредитированного царского режима как альтернативу коммунистическому государству,

но именно в этом направлении толкало Евдокима Николаева полное отрицание советской власти.

Пришвин признавал существование проблемы автомаргинализации в коммунистическую эпоху. Комментируя проблему взаимоотношений между интеллигенцией и большевистской партией, которые он понимал как обмен старой культуры на политический активизм, Пришвин заключал: «Им казалось, что они хозяева, нам казалось, что, в конце концов, мы их ведем. А кто стоял в стороне, тот превращался в старую деву». Надежда Мандельштам писала, что ее брат Евгений считал, что бóльшая часть власти советского режима над интеллигенцией связана со словом «Революция», от которого «ни за что не хотели отказаться. Словом покоряли не только города, но и многомиллионные народы. Это слово обладало такой грандиозной силой, что, в сущности, непонятно, зачем властителям понадобились еще тюрьмы и казни». Мандельштам прибавляла, что очарование «Революции» оказалось неотразимым даже для «весьма достойных» современников, в том числе для ее мужа Осипа. Пришвин и Надежда Мандельштам говорили только об отношениях партии и интеллигенции, но, как свидетельствуют дневники многочисленных самоучек из низших слоев общества, привлекательность участия в революции распространялась далеко не только на эти группы [107].

Два дневника 1930-х годов показывают масштабы и ограниченность исторического сознания, стимулировавшего появление многочисленных дневниковых записей, посвященных самоосмыслению. Хотя оба они велись вернувшимися на родину эмигрантами, трудно представить себе документы, настолько отличающиеся по тону и направленности. Николай Устрялов, профессор права, служивший одно время офицером в Белой армии, а по окончании гражданской войны эмигрировавший в Китай,

уже давно завидовал «историческому оптимизму», с которым воплощался в жизнь советский революционный проект. Он вернулся в Советский Союз в 1935 году, готовый включиться в строительство нового мира. В своем дневнике Устрялов фиксировал признаки «зари новой эпохи», которые он повсеместно замечал в Москве. Вид спортивного парада на Красной площади укрепил его уверенность в том, что «наша революция» знаменует «подъем, начало, тезис нового диалектического цикла». В наблюдениях Устрялова был силен рефлексивный элемент, поскольку он полагал, что лишь благодаря способности увидеть историю в действии он может «заслужить советскую биографию». Устрялов знал, что его прошлое как белого офицера затруднит обретение им достойного места в советском обществе. К тому же вид марширующих юных спортсменов усиливал в нем ощущение собственной старости и отсталости от времени. Но он не мог представить себя просто пассивным наблюдателем того, как история движется к своему триумфальному завершению: «Нелегко чувствовать себя “лишним человеком” в наши дни, когда, казалось бы, каждому найдется вдоволь дела! Хочется уйти по горло в деятельность — только бы не быть лишним в нашу пору, в исторический час, когда решаются судьбы нашей великой страны, нашей великой революции. Хочется вполне, до конца стать своим в рядах советских людей, советских патриотов, и тягостно переносишь свою постылую изолированность, окружающие тебя взгляды холодной “бдительности” и корректного недоверия». Летом 1937 года Устрялов был арестован по обвинению в участии в антисоветском заговоре и расстрелян [108].

Еще одной возвратившейся эмигранткой была Татьяна Лещенко-Сухомлина, певица и поэтесса, которая жила в Западной Европе и Соединенных Штатах и вернулась в Москву в 1935 году после развода с мужем-американцем. Лещенко-Сухомлина не принимала дух

самопреобразования, присущий советской революции, и не отвергала его. В отличие от многих людей, приехавших в Советский Союз в 1930-е годы, среди которых были десятки немецких коммунистов, спасавшихся от нацизма, она не ссылалась на политические причины своего возвращения в Россию. Назад на родину ее привела невыносимая ностальгия. Непривычная к советской системе, она не была склонна к политическому истолкованию повседневной жизни; ее наблюдения диктовались эстетическими чувствами, отсутствовавшими во многих других дневниках того периода. Она была ошеломлена грубостью обращения людей друг с другом, «трамваем, набитым орущими и толкающимися людьми, которые ругаются и дурно пахнут». В зоопарке, куда она пришла с дочкой, на нее уставился человек, присевший рядом на скамейку. Когда она улыбнулась в ответ, он сказал: «Простите, я только что был в Третьяковке. Вы похожи на итальянскую мадонну, которую я там видел. Я никогда не видел такой женщины. От Вас нельзя отвести взгляд. Я хотел бы смотреть на Вас вечно». Женщина в трамвае тоже обратила внимание на ее внешний облик: «Ну, наконец, могу сказать, что увидела красивую женщину. Вы, очевидно, не русская. По выражению лица можно сказать, что Вы не наша»[109].

Эстетика Лещенко-Сухомлиной, где в центре находился индивидуальный стиль, резко отличалась от эстетики социалистического реализма, воспринимавшей грубое настоящее через призму идеального будущего и оценивавшей тот или иной факт лишь с позиций его общественной полезности. Как бы для вытеснения неприятных впечатлений, поглотивших ее в Москве, она включила в дневник воспоминания о своем трехлетнем пребывании в Испании: «Океан, скалы, глянцеви́тая зелень апельсиновых деревьев, розы и песок... И солнце, ослепительное и великолепное, будто весь мир лежит под ним. И оно освещает весь этот мир, растапливает в своих

лучах все уродство, все горе, все болезни. О, солнце Испании — как счастье!» В противоположность многим авторам советских дневников, Лещенко-Сухомлина находила источник счастья в прошлом, а не в светлом будущем, которое предстояло построить. Она отождествляла счастье со спокойным существованием на природе, а не с активной борьбой за ее покорение. Ее позиция была созерцательной, а не активной. Интересно, что ее ностальгический пассаж посвящен именно Испании. Испания часто фигурировала в советских дневниках того периода, но большинство авторов дневников обращались к совсем другому образу Испании — образу страны, ведущей героическую гражданскую войну с силами фашизма. Испания фигурировала в них не как фон для воспоминаний о прекрасном прошлом, а как арена ожесточенной классовой борьбы, в которой определялось будущее [110].

Мысли Лещенко-Сухомлиной об Испании получили существенное развитие на протяжении недель, последовавших за этой записью в дневнике. Прочитав в газетах о фашистских бомбардировках дорогих для нее испанских городов, она осознала противоречие между «трафаретностью» своих воспоминаний и отталкивающей реальностью войны. Она приняла предложение рассказать об Испании в Союзе скульпторов-художников и была обрадована и поражена восторженной реакцией на свое выступление. Впоследствии его напечатали в красноармейской газете «Красная звезда». Эволюция ее представлений об Испании свидетельствует о возможностях советских пропагандистских образов влиять не только на представление людей о себе, но даже на их воспоминания. В 1947 году, в ксенофобской послевоенной атмосфере, Лещенко-Сухомлина будет арестована и приговорена к восьмилетнему заключению в трудовых лагерях [111].

Работа по самопреобразованию

Чтобы «вписать» свое *Я* в историю, было необходимо трудиться и бороться. Дневники документально подтверждали этот процесс, равно как и помогали в его осуществлении. Многие дневники 1930-х годов позволяли их авторам отслеживать свое физическое и интеллектуальное развитие для того, чтобы управлять им и ускорять его. Стремясь запечатлеть на бумаге эту работу по самопреобразованию, авторы дневников неоднократно обращались к понятиям «планирование», «борьба» и «сознательность» — ключевым коммунистическим ценностям периода первых пятилеток.

Молодая учительница Вера Павлова отмечала, что разделила свою личную жизнь на пятилетки, сроки которых совпадают с официальными пятилетками, установленными советским государством. Плановые показатели, устанавливавшиеся ею для «себя», а также ее гордые заявления о том, что производственные нормы выполнены и перевыполнены («на этом фронте пятилетка выполнена в два с половиной года»), показывают, что Павлова считала: ее личная жизнь должна развиваться как неотъемлемая часть более широкого, общего плана социалистического строительства. Она неоднократно заявляла о необходимости контролировать и рационализировать свою жизнь, надеясь осветить светом рациональности свои «подсознательные ощущения». Кроме того, она доверяла дневнику свои мечты и фантазии, все свои «безумные» мысли, но прежде всего желание «систематизировать» собственные впечатления и в конце концов начать жить «плановой», «упорядоченной» жизнью [112].

Как и Павлова, московский рабочий и комсомолец-активист Ульянов ссылался на жизненный план как на структуру, которая упорядочит его жизнь и повысит эффективность работы: «Я хочу в свою повседневную жизнь ввести плановость работы, как умств.-физической, так и отдыха. Постараюсь этим облегчить мою работу.

Поменьше устраивать очередные номера (прогулки с “коварной” Како и проч. и проч.). Ульянов решил бороться со сложностями интимных отношений: «Пора, даже слишком давно пора переключить себя на настоящие рельсы, на здравый рассудок, на верную деятельность мозга, на систему». Поэтесса Вера Инбер отстаивала так называемый «“технизм души”... словом, конструктивизм» как средство борьбы с «душевым беспорядком», неоднократно фиксировавшимся ею в дневнике. Сохраняя эту «машинную» образность, в другом месте она замечала: «Человек — это комбинат. И разум — директор этого комбината». Осознанно или неосознанно, Инбер повторяла Ленина, описавшего Коммунистическую партию как предприятие, а ЦК — как его директора [113].

Для описания структуры своего *Я* и механизмов самопреобразования, в которые они были включены, авторы дневников использовали ряд связанных между собой дихотомий. Речь идет о бинарных оппозициях души и тела, «воли» и «сердца» авторов дневников, или их «идеологии» и «психологии». Шахтер Владимир Молодцов так описывал последнюю из этих оппозиций: «Интересно, как в несоответствии находятся психология и идеология. По идеологии я сам себя мобилизовал на ликвидацию прорыва и активно работаю, а психология тянет еще меня домой, в родную среду. Об этом говорят участвовавшие за последние два дня сны, в которых я вижу мать. Но идеология поднимет психологию, это должно произойти» [114]. Слово «психология» в дневниках раннесоветского периода неизменно имело отрицательный оттенок. Имелась в виду низменная, хаотичная и опасная сила, действующая в мрачных тайниках души и тела, сила, существование которой порой признавали у себя авторы дневников. Напротив, идеология приобреталась путем сознательной борьбы с психологией. На личностном уровне она представляла собой результат постижения субъектом

законов общественно-исторического развития; на институциональном уровне на постижение этих законов — и, следовательно, на формулировку идеологии — претендовала Коммунистическая партия.

Степан Подлубный, сын кулака, которого мучил «вопрос о [своей] психологии», предполагал, что унаследовал от отца врожденную кулацкую психологию и не сможет избавиться от нее. Вера Инбер, происходившая из некоммунистической интеллигенции, намекала на «мелкобуржуазную стихию» в своей душе, грозившую поглотить ее недавно приобретенное рациональное мировоззрение. Психологией можно было эффективно овладеть только совместными усилиями разума и воли. Две эти силы организовывали психофизический аппарат человека. Как только они делали психологию «прозрачной» и рациональной, она переставала быть психологией, возвышаясь до уровня чистой идеологии [115].

Из-за антисоветских коннотаций этого понятия авторы дневников охотнее признавали действие «психологии» у других, чем у себя. После разговора с другим рабочим, крестьянином по происхождению, который признался, что работа шахтера привлекла его высоким заработком, Молодцов возмущенно замечал по поводу «крестьянской психологии» этого человека: «Видит только свое и только в себя верит». Вера Павлова, прочитав в газете о самоубийстве шведского «спичечного короля» Ивара Крюгера, размышляла о «психологии современной буржуазии», свидетельствующей о «происходящем сейчас за границей кризисе, и материальном, и психологическом». В ее рассуждениях выстраивалась логическая последовательность «психология» — духовный распад — самоубийство [116].

«Психологию» авторы дневников считали также фактором, ответственным за многие антисоветские преступления, о которых они узнавали в 1930-е годы.

Зинаида Денисьевская, учительница из Центрально-Черноземной области, была озадачена, прочитав в газетах, что на территории области действовала вредительская Трудовая крестьянская партия, в работе которой участвовали некоторые ее знакомые: «Не понимаю я всего этого. Их психология мне совершенно непонятна. Кто они — дураки, сумасшедшие или негодяи?» Старый меньшевик Лев Дейч описывал новый заговор правотроцкистских сил, о котором узнал из газет, как «кошмар» и утверждал, что не способен «понять психологию этих лиц, что их побуждало, на что рассчитывали, к чему стремились». В разгар политических чисток 1937 года драматург Всеволод Вишневский заносил в дневник мысли о «врагах и их агентуре... Психология предателей... Вероятно, от неверия в силы народа, партии... Это пораженцы духа, злобные, мелкие... Капитуляторы перед лицом капитала... Читаю о Ленине, его упорстве, воле» [117]. Как свидетельствуют дневники Вишневского и Павловой, психология считалась чем-то ведущим к слабости и пораженчеству. В противоположность этому, сознательность давала людям ощущение цели и тем самым укрепляла силу их воли, благодаря которой они должны были переделывать мир в соответствии со своим сознательным замыслом. Никто не обладал большей силой воли, чем Ленин, самый сознательный из всех большевистских вождей. Изучая жизнь Ленина, Вишневский пытался позаимствовать часть ленинской железной воли и тем самым защититься от незаметного, но всепроникающего влияния контрреволюционного заговора.

Авторы дневников считали волю явлением, смежным с субъектностью человека. Она «конденсировалась» путем направления неорганизованных психофизических сил людей в соответствующее русло. Однажды активированная, она становилась самостоятельной сущностью, способной вывести *Я* на уровень субъекта истории. Дневник решал

важнейшую задачу формирования и укрепления воли его автора. Анатолий Ульянов, выявляя в дневнике отрицательные черты своей личности (к числу которых он относил неуправляемость и непоследовательность), объясняет их слабостью воли: «Сила воли... ее присутствие в человеке всегда должно обеспечить ему хорошую сознательную жизнь. Я не обладаю такой волей. Поэтому я (в порядке критики) слабоволен, неусидчив, легкомыслен и тороплив. Нервность и вспыльчивость выбивают каждый раз меня из колеи. Да, воля — это все». Ульянов стремился к идеалу «чистой, математической» жизни, к которому собирался прийти благодаря «воле и политической насыщенности». Чтобы достичь этой цели, он решил следующее: «Конкретно я поставил перед собой задачу за период с 1 января по 1 марта 1933 г. изучить, по крайней мере, 6-томник Ленина, вдуматься в него, разделить с тобой [дневником] свои мнения и все неясные вопросы, возникающие при чтении» [118].

Владимир Молодцов, шахтер, который принял появление матери во сне за доказательство отсталости своей психологии, в следующей дневниковой записи поправлял себя: «Немного неправильно записывал о противоречиях воли и “сердца”. Противоречие чувствуется только когда в голове “хлеб”, “обеда”, “вставать”, “ложиться”. Внизу, в шахте, нет противоречий, там единство, целостность — производство, уголь, выдать больше вагонов». Как только отдельный рабочий оказывался в сфере трудовой деятельности, его душа и психика подвергались двойной трансформации: они коллективизировались, соединяясь с телом и чувствами трудового коллектива в целом, и организовывались в соответствии с планами и графиками пятилетки. Молодцов воспринимал этот процесс как раскрытие возможностей своей рациональной воли. Благодаря ее триумфу он работал без напряжения, с величайшей самоотверженностью и ясностью цели: «Самое

высокое чувство, которое мог испытывать за свою короткую жизнь — это сознание того, что я являюсь частицей горняцкого коллектива» [119].

Степан Подлубный описывал силу воли в категориях нравственного идеала: «Мне давно нравятся люди сильной воли. Какой бы человек ни был, но, если он большой силы воли, значит хороший». Подлубный усердно фиксировал ситуации, когда он чувствовал, что его воля укрепилась, но, в отличие от дневника Молодцова, его дневник по большей части был летописью неудач. Подводя итог своего поведения на работе и вообще в жизни, он однажды пришел к выводу: «Не хватает силы воли владеть собой. В данный момент у меня большое, громадное, ужасное волевое бессилие. Вот причина всех бед и основной мой недостаток. Недостаток самый страшный, самый опасный, что может быть опасного в жизни. Так как от этого зависит все». Но дневник был не только историей болезни воли. Ведение дневника было и средством излечения от нее: Подлубный считал, что, заставляя себя регулярно делать записи в дневнике, он укрепляет свою волю [120].

Сила воли приобреталась в борьбе. Дневники 1930-х годов изобилуют указаниями на жизнь как непрерывную борьбу. Так, одна из записей в дневнике Молодцова гласит: «Сейчас все спят... Славные ребята!.. Им слава и честь. Как хорошо жить, борясь, и борясь, жить». Сельский партийный активист Александр Железняков описывает сенокос, которым он руководил. Чтобы воспользоваться сухой погодой, он заставил недовольных этим крестьян оставаться в поле до самого окончания работы: «Косили до 11 час. ночи, и поле было скошено. Луна сыграла большую роль и помогла мне решить эту трудную задачу. Спасибо партии. Она воспитала во мне твердость и решимость в борьбе побеждать в труднейших условиях. Радость большая!.. Я вспоминаю слова Маркса — Энгельса: “Счастье есть борьба!” А на утро опять дождь» [121].

Труд и борьба были необходимыми условиями формирования личности советского человека. Прикованный к постели и ослепший ветеран Гражданской войны Николай Островский, на основании собственной биографии написавший роман «Как закалялась сталь», объяснял врачу: «Есть странные люди, которые считают, что можно быть большевиком, ежедневно и ежечасно не работая над своей волей, над своим характером. Надо постоянно заниматься ими, чтобы не соскользнуть в болото мелкобуржуазности. Настоящий большевик все время выковывает и отшлифовывает себя». Как бы в унисон с ним Всеволод Вишневский с сожалением отмечал, что не сумел делать записи в дневнике ежедневно. Это не дало ему добиться «более систематического движения». В другом месте он осмыслял паузы в процессе самосовершенствования как моменты стагнации и даже отката назад [122].

В нескольких дневниках 1930-х подводятся итоги года, иногда именуемые «балансами», явная цель которых определить направление развития *Я* — рост или, наоборот, застой или упадок. В дневнике Подлубного содержится яркий пример такой практики, который свидетельствует о том, что автор дневника выстраивал свою деятельность по образцу механизмов, функционирующих в общественной сфере: «30.12.1933. По всему Союзу и по всем странам подводятся итоги годичной работы. По всему Союзу, во многих городах, и в Москве, созываются конференции, съезды, и т.д., для подведения той же годичной работы». Подводя итог собственному развитию, Подлубный пользуется понятиями, почти полностью идентичными риторике официальных советских рапортов. Запись в его дневнике, посвященная итогам года, и передовица «Правды», резюмирующая годовые достижения страны, основаны на одинаковом представлении о росте — личном росте Подлубного и «бурном культурном росте» советского общества. Единственное расхождение заключается в том,

что если «Правда» утверждала, что у советских граждан наблюдается «резкий скачок *сознательности*», то Подлубный жалуется, что его сознание остается недоразвитым [123].

Конструирование или реконструирование Я

Хотя понятия плана, сознательности, борьбы, психологии, идеологии и силы воли были характерны для большинства дневников того периода, эти дневники исходили из двух качественно различных представлений о Я. Дневники представителей низших слоев, преимущественно рабочих и крестьян, были направлены на формирование чувства собственного Я там, где, по убеждению их авторов, раньше ничего не было. Между тем представители образованных слоев считали, что обладают развитым, но сомнительным с точки зрения нового времени Я, для изменения которого необходимы анализ и соответствующие коррекционные меры. Только представительница образованных слоев могла писать как Вера Павлова, отец которой был управляющим фабрикой: «Мое Я последние дни было представлено детальному разбору с критикой и осуждением (моему собственному)» [124].

Каждый советский человек, безусловно, переходил от старой жизни к новой. Рабочие и крестьяне тоже высказывались о конфликте между старыми и новыми нормами мышления и поведения, но лишь изредка конкретизировали проявления привычек прошлого (пьянство, матерщину, плохое обращение с женой) в полномасштабном образе «старого человека», который должен умереть для того, чтобы возник новый человек. Подобные привычки были порождением отсталости, результатом феодально-капиталистического порабощения психики трудящихся, которое подталкивало их к грани «недочеловеческого» существования. Такой рабочий, как Анатолий Ульянов, считал свою врожденную грубость

проявлением «животного» существования, «внутреннего зверя». Крестьянин-рабочий Леонид Потемкин описывал необходимость работать над собой в категориях реального строительства: прежде чем приступить к сооружению завода, то есть заверченного Я, необходимо заложить фундамент и возвести леса. Главным для него было строительство, а не перестройка: он не предполагал, что придется разрушать старый остов или приспособлять к новым условиям уже существующие части здания [125].

Траектория нарративов Потемкина и Ульянова проходила от недочеловеческого состояния к человеческому, от нечеловека к человеку. Никто из авторов дневников не выразил это лучше, чем активист колхозного строительства Железняков. Накануне 16-й годовщины Октябрьской революции он восклицал:

Нет и не было и не будет счастливее нас поколения во всемирной истории. Мы участники созидания новой эпохи! Опомнились ли вы, враги, окружающие нас со всех сторон, что мы 20 лет тому назад были ничтожной букашкой, ползающей по господским полям, и этот ничтожный человек, которого душил капитализм, осознал себя как класс и потряс весь мир до основания седьмого ноября, 16 лет тому назад... Ничего нет выше, как быть членом, гражданином Советской страны и принадлежать к Ленинской, закаленной в боях коммунистической партии, руководимой в наши дни любимым вождем т. Сталиным, с которым мы вместе празднуем сегодня день великих побед технического прогресса. Если бы не Октябрьская революция, разве я так понимал бы жизнь, а разве мог бы променять личную жизнь на борьбу за общие цели? Нет! Тогда бы я был полуживотное, теперь я счастлив [126].

Евгения Руднева (родившаяся в 1920 году) высказывала ту же мысль в ее женском варианте. В ноябре 1937 года, когда полным ходом шла подготовка к выборам в Верховный Совет СССР, которым предстояло открыть дорогу в

политическую жизнь молодому поколению граждан, родившихся уже при советской власти, она отмечала: «Я живу полнокровной жизнью. И как мне не любить моей Родины, которая дает мне такую счастливую жизнь? Ведь чем (именно чем, а не кем) была бы я, родившись до революции? Малограмотная девочка, быть может, уже невеста, собирающая летом помидоры, а зимой пекущая хлебы»[127]. Руднева утверждала, что женщины из низших слоев общества были еще более угнетены, чем мужчины; кроме обычного угнетения, они испытывали домашнее рабство. Поэтому освобождение женщин представляло собой максимально возможный прорыв в человеческом развитии: из недочеловеческого состояния — в ничем не ограниченную человечность.

Напротив, представители образованных слоев (включая «буржуазных» интеллигентов и стойких коммунистов) вынуждены были считаться с тем, что им приходилось наполнять новым содержанием свои вызывавшие сомнения у них самих личности, сформированные дореволюционной культурой. Они понимали самопреобразование как уничтожение в себе «старого человека» и воспитание «нового». В отличие от рабочих и крестьян, которых отягощало далекое от культуры прошлое, представители интеллигенции страдали от избытка культуры, которую было необходимо очистить от несоветских качеств. По словам поэта Иоганнеса Р. Бехера, ставшего коммунистом в 1920-е годы, прежде чем вступить в «сражающуюся пролетарскую армию», ему следовало «сжечь многое из того, чем он был обязан буржуазному происхождению... Долой восхваляемую и боготворимую “личность”. Долой искусственную внутреннюю и внешнюю рисовку, ее гипертрофированность и парадоксальность, все капризные и изменчивые позы, характерные для “личности”». Уничижительно говоря о «личности», Бехер и другие имели в виду признаки, характерные для «старой» интеллигенции:

индивидуализм, нарциссизм, пассивность, мягкость и неспособность к борьбе, короче — «буржуазность» [128].

Борьба со своей буржуазной сущностью была ведущей темой дневника писателя Юрия Слезкина; по сути, именно эта борьба и подтолкнула его к ведению дневника. На первых его страницах 46-летний Слезкин подводил итоги трех десятилетий своей литературной деятельности. Последнее десятилетие было особенно «неровным и путаным»: он ничего существенного не написал и не мог напечатать из-за своего «буржуазного» происхождения. Это десятилетие было ознаменовано «болезненностью перестройки» и безуспешными попытками найти себя. В настоящем и будущем он был, однако, более уверен: «Передо мною последнее и вместе первое серьезное препятствие — совлечь с себя прошлое, осознать себя в настоящем, преодолеть инерцию своего класса. Сизифов труд, но разве то, что преодолевает сейчас наша страна, не стоит ей таких же усилий. Итак, новая моя — четвертая десятилетка... Пусть этот дневник будет моим свидетелем, моим укорителем и раскачкой в часы творческой усталости». Слезкин соединял профессиональный замысел выработки нового литературного стиля с собственным стремлением преодолеть буржуазное прошлое. Приверженный эстетике реализма, уходящей корнями в середину XIX века, он считал, что для того, чтобы написанное им было оправданно и достоверно, он сам должен оказаться в центре общественных преобразований, охвативших всю советскую страну. Одной из причин отсутствия в его прежнем литературном творчестве содержания и смысла было, по его мнению, то, что ему не удалось включиться в борьбу с «человеком прошлого» внутри себя, а потому он, в сущности, остался буржуа [129].

Еще одного писателя «буржуазного» происхождения, Юрия Олешу, к ведению дневника подтолкнуло аналогичное убеждение в способности

автобиографического повествования повлиять на реальную жизнь. Олеша обратился к дневнику отчасти для того, чтобы создавать произведения в духе «литературы факта». С долей сарказма он замечал по поводу новой литературной моды, в рамках которой объявлялось о смерти романа, а современной провозглашалась только документальная проза, такая как дневники: «Пусть пишут дневники все: служащие, рабочие, писатели, малограмотные, мужчины, женщины, дети — вот клад для будущего!» Тем не менее Олеша вел дневник всерьез, а не только для литературного эксперимента. Он надеялся на то, что поиск фактов направит его сомнительное буржуазное *Я* на исторически верный путь и поможет оказаться в обетованном будущем. Однако применительно к личной жизни Олеси приемы «фактографии» привели к несколько иному результату. К ужасу Олеси, ведение дневника не оказало на него преобразующего влияния. Не став документальным подтверждением перехода в новый мир, запись фактов, которую вел писатель, превратилась в «бесполезную» фиксацию быта и, таким образом, лишь аккумулировала, а не рассеяла бремя прежнего, непреобразованного *Я*. Деля записи в дневнике и читая их, Олеша со страхом обнаружил фундаментальную «истину»: он «мелкий буржуа, который всю жизнь мечтал стать крупным собственником» [130].

Олеша упорно фиксировал не только свои мысли, но и соматические симптомы, с тревогой анализируя их смысл: как они определяют его положение на историческом пути? Неспособность мыслить как прогрессивный советский интеллигент и привести свое субъективное *Я* в соответствие с объективными требованиями истории в конце концов вынудила его признать, что он является носителем «порочной» духовной и телесной сущности. Эта «ужасная» истина, отмечал он, имеет физиологический характер: она у него «в крови, в клетках мозга». В самом негативном варианте кризис личности Олеси вызывал страх смерти: «Я

вынужден прервать работу и принять ванну... В ванне. Жарко, страх умереть, прислушиваюсь: сердце, что-то с мозгом делается — не делается ли с мозгом — а? Очень много думаю о смерти. По почерку моему какой-то старичок определил, что я много думаю о смерти. Я слишком часто (почти постоянно) думаю о смерти болезненно!» В 1930 году, когда Олеша создавал этот насыщенный рассказ о своем упадке как индивидуума и как представителя общественного класса, ему было всего 30 лет. Но, живя в страхе смерти, он не мог с уверенностью смотреть в будущее. Вместо этого его тянуло в прошлое, из которого он не мог найти выхода. Постоянное копание в прошлом — еще одна особенность дневника Олеси — было одним из косвенных выражений исторического проекта, который, как он считал, определял его жизнь, как и жизнь всего советского коллектива[131].

Хотя социальное происхождение дочери управляющего фабрикой Веры Павловой было сходно с происхождением Олеси, нарратив самопреобразования, представленный в ее дневнике, отличался верой и решительностью, неизвестными постоянно сомневавшемуся в себе Олеше. Безусловная сторонница исторического материализма, Павлова применяла законы марксистской диалектики не только к анализу общественно-исторических явлений, но и к своему Я. Марксистская диалектика была особенно важна для ее интеллигентской индивидуальности — как концептуальное средство, позволявшее ей разделить свою жизнь на «старую» и «новую» составляющие, проследить за борьбой между ними и сохранить ценные элементы прежнего Я в диалектической спирали развивающегося сознания:

В последние дни остро встали немалые вопросы — проблемы даже. Проблема старого и нового — огромная, могущая поглотить много мыслей, много времени. Ведь эту проблему можно решать по-разному, а у меня она стоит в

той плоскости — как объединить (диалектически) то старое, что хорошо, что мне близко, понятно, что МОЕ, то, что у меня от прошлого (в крови и от воспитания), то, к чему я стремилась — старый содержательный интеллигентский дух вокруг и ВО МНЕ. Я чувствую в себе сильные ростки нового в отношении мировоззрения, отношения к различным сторонам жизни, в частности бытовой, моральной — (пример «3 буквы», сущность которых мне не чужда одной своей стороной). Но в том, что называют новым духом, подчас так много пошлого, хамского, бессодержательнейшего. Оно не может быть приемлемо, это противно и отталкивающе. Как примирить, соединить, связать крепко и прочно то, что должно быть моим из старого и из нового? Возможно ли это? Да. Продукт переходного периода — я[132].

Несмотря на то что Павлова признавалась в отвращении к части официальной советской культуры, эти оговорки не ослабляли ее решимости принять коммунистическую идею и то обещание личного спасения, которое она и только она предоставляла.

Когда Павлова делала эту запись в дневнике, за нею ухаживал старший коллега, Александр Георгиевич Полежаев, настойчиво приглашавший ее к себе домой — насладиться коллекцией бабочек. Старомодный уют его квартиры, в которой как будто мало что изменилось после революции, напомнил Павловой родительский дом и заставил ее усомниться в том, что она может поддерживать отношения с Полежаевым. В частности, она задавала себе вопрос, позволит ли ей брак с этим «старым *интеллигентом*» осуществить план вступления в Коммунистическую партию. В то же самое время Павлову привлекал другой учитель — некий Дулькейт. Сравнивая этих двух поклонников, Павлова проецировала вовне свое понимание раздвоенности собственного интеллигентского Я.

Полежаев представлялся ей «флегматичным и неподвижным, без огня, без жизненной хватки, [он] скорее отступит, чем вступит в борьбу». Хуже того, он не умел руководить учащимися и жаловался на учительские обязанности, которые считал «источником заработка — и только». Все в нем, как в личной, так и в профессиональной жизни, было глубоко реакционным. «Отношение к современности, существующему — отрицательное и сугубо отрицательное». Представляя Полежаева воплощенным старым интеллигентом, Павлова могла изолировать остатки отживших интеллигентских ценностей в самой себе, с тем чтобы впоследствии расстаться с ними. Напротив, Дулькейт воплощал в себе новую личность, стать каковой Павлова стремилась. Он представлялся ей «энергичным, горячим, вспыльчивым» и поглощенным работой. Павлова завершала свою оценку Дулькейта в испытанном марксистском стиле, переходя от его личных достоинств к их общественному смыслу: «Дулькейт новее, жизненнее и в общественно-политическом отношении... Он по сути современен, входит в жизнь, отдает силы этой жизни, интересуется ею». Сравнивая двух мужчин — их профессиональные качества, трудовую этику, условия быта и даже музыкальные способности, — Павлова отказывалась сопоставлять их физические черты, считая это не просто неважным, но пошлым. Акцент на духовных особенностях их личностей показывал, что она понимает субъективность при советском строе в первую очередь как качество сознания, внутреннюю направленность [133].

Несмотря на колебания между поклонниками, ее конечный выбор был предопределен. Она сама признала несколько месяцев спустя, что «борьба старого и нового окончилась победой нового, потому что новое — это сама жизнь». Но из ее дневника становилось ясным и то, что оба они служили материалом для диалектического проекта, не ограничивавшегося ни одним из них. Главный акцент в ее

дневниковых размышлениях делался не на этих мужчинах самих по себе, а на диалектике ее собственного плана самопреобразования. Одно из многих сопоставлений поклонников завершалось замечанием о «невольном взлете желания глубже анализировать, а значит, и писать». Выявив диалектические основания своего отношения к Полежаеву и Дулькейту, больше в дневнике она о них не упоминала. Три года спустя, в 1935 году, она вышла замуж за профессора-медика [134].

Эпизод с двумя поклонниками Павловой показывает, как она объективировала борьбу со «старым человеком» в себе, надевая этого «старого человека» материальной осязаемостью. Социологизация таких людей, как Полежаев, их превращение в символы старой интеллигенции позволяли Павловой придавать себе облик представительницы новой интеллигенции. Таким образом, ее рассуждения указывают на интересное взаимовлияние самоопределения и социального определения других. Если применить этот механизм к практике разоблачений и доносов, широко распространенной в 1920—1930-е годы, то эти разоблачения и доносы можно понять как акты конструирования собственной идентичности за счет разоблачаемых субъектов. Эта идентичность возникала ценой окончательного удаления из советского общества «тени», которую она отбрасывала, будь то образ старого интеллигента или врага-буржуя. В случае Павловой Полежаев претерпел лишь символическую смерть как представитель «отжившего» строя, да и то только на страницах дневника, но тем не менее мысли, высказывавшиеся в этом дневнике, формулировались в то время, когда разоблачения буржуазной интеллигенции были многочисленными, а их последствия — осязаемыми и зачастую смертельными.

Борьба со «старым человеком» в себе охватывала все сферы жизни, поскольку любая мысль и любое действие

интеллигента могли быть истолкованы как выражение состояния его сознания. Даже такие внешне земные дела, как питание и бытовые заботы, могли выступать вехами духовного пути. Авторы советских дневников избегали жалоб на материально-бытовые трудности, либо обходя их молчанием, либо приводя в качестве свидетельств успешного самообновления. В своем дневнике Павлова практически не упоминала об ужасных жизненных условиях начала 1930-х годов. Но показательнее всего то, что она не упомянула о голоде 1933 года, последствия которого должна была наблюдать, поскольку провела лето в деревне под Москвой. Редактируя дневник в 1980-е годы, Павлова отметила, что это было крайне трудное лето и что ей приходилось постоянно ездить в Москву за едой. Но интеллигент 1930-х годов должен был подавлять в себе стремление к такой низменной материи, как пища; артикулировать подобные желания и тем самым поставить под сомнение политику советского государства означало проявить свое староинтеллигентское *Я*.

Одно из наиболее острых критических замечаний Павловой в адрес Полежаева как раз и было связано с его отношением к еде: «[Он воплощает в себе] пассивную контрреволюцию, подделывающуюся под новое, а м.б. и злорадствующую исподтишка. [Он принадлежит к] старой интеллигенции, вздыхающей о прошлом (даже о еде), не вошедшей вплотную в новую жизнь и отдающей ей свои силы постольку-поскольку»[135].

Этот приговор можно отнести и к другому интеллигенту, Александру Перегудову, сожалевавшему, что его дневник в 1930-е годы был слишком «мелочным». Дневник Перегудова был посвящен почти исключительно материальным заботам. Итоги, которые он подводил в конце года, подчеркнуто не содержали в себе самоанализа. Вместо этого они были сосредоточены на отсутствии товаров и продуктов: «31.12.1939. Последний день старого

года. Мало радостей принес уходящий год: почти у всех нужда, почти все разуты, раздеты. Весь год стояли великие очереди за мануфактурой, обувью, мылом, а в последнее время не хватает черного хлеба». Аналогично Иван Сыч, учитель французского языка на пенсии, искренне причислявший себя к старой русской интеллигенции и не проявлявший склонности к самопреобразованию, подробно фиксировал в дневнике дефицит и дороговизну различных потребительских товаров, таких как одежда, мыло, огурцы и презервативы. Такие настроения в передовой статье «Правды» определялись как сущность «правооппортунистического» антипартийного течения: его сторонники смотрят на строительство социализма только с точки зрения снабжения, «отражая во всем этом ограниченность обывателя, лишенного исторической перспективы и правильного понимания всего того, что делается вокруг» [136].

Советскому интеллигенту можно было упоминать о материальных трудностях, только если это способствовало его самопреобразованию. Например, Вера Инбер гордо перечисляла в дневнике трудности, с которыми она столкнулась, в доказательство новообретенной силы: Да, много работы впереди. И какой трудной, какой черной. Хорошо только то, что я физически окрепла от беготни, от таскания тяжелых сумок, от езды в Переделкино, от более легкой, менее жирной пищи... Я знаю цену любой физической и умственной работе. Знаю, как сдерживать раздражение, когда стоишь в овощной лавке в трех очередях, у кассы, у выдачи, а потом еще доплаты... Ноги ноют, свертки расползаются, в клеенчатом пальто страшно жарко телу, а к лицу липнет муха и нечем ее отогнать: третьей руки не хватает [137].

Галина Штанге, жена профессора московского технического вуза, фиксировала в дневнике трудности современной жизни, чтобы подчеркнуть героические

жертвы ее поколения при строительстве социализма — и сообщить о них будущим поколениям: «1.01.1937. Просто ужас охватывает, когда подумаешь, как живут сейчас люди вообще и инженеры в частности. Мне рассказали про одного инженера, который живет с женой на 9-ти метрах. Когда приехала мать навестить их, то ему уже окончательно негде стало заниматься, так он поставил лампу на пол, а сам лег (под столом на живот) и так занимался, отложить было нельзя — работа срочная. Я записала этот случай, чтобы те, кто будут жить после нас, прочитали и почувствовали, что мы переносили». Этот фрагмент читался бы иначе, если бы в нем отсутствовало последнее предложение о будущем читателе, к которому обращалась Штанге. Ее замечания об условиях жизни свидетельствовали бы об отчаянии и политической критике. Существует риск изоляции отдельного утверждения от более общего повествовательного контекста и нарративных стратегий, в которые он интегрирован. В советский революционный период этот контекст определялся нарративами преобразования и очищения; эти нарративы задавали понимание призывов Инбер и Павловой к стойкости, они же придавали унылым заявлениям Сыча и Перегудова взрывной политической смысл.

Работая над искоренением своей прежней, буржуазной сущности, интеллигенты — авторы дневников также активно участвовали в реализации проекта переделки прежнего населения России в новых людей. Это может показаться парадоксом, ибо как мог класс со столь «нечистым» происхождением представлять себя создателем общества, очищенного от груза прошлого? В дневниках обнаруживаются два основных мотива, побудивших представителей интеллигенции принять эту программу. Благодаря багажу образования и культуры интеллигенция как никакая другая общественная группа подходила для того, чтобы претендовать на роль наставников в

большевистском государстве. Приверженность делу просвещения масс, «погрязших в темноте», возникла задолго до революции и была неотделима от профессионального и нравственного призвания русской интеллигенции. Кроме того, роль «социальных инженеров» позволяла интеллигентам экстериоризировать собственное стремление к самообновлению, распространяя этот идеал на весь СССР и тем самым добиваясь собственной легитимации и отпущения грехов.

Дух перевоспитания пропитывал дневник Павловой. Преподавая некоторое время в «темной, серой» и «отсталой» деревне близ Москвы, она утверждала, что на нее возложена непростая миссия переделки крестьянской молодежи. Юные колхозники воспринимали ее преподавательскую работу только поверхностно, «а что-то инстинктивное, глубоко внедрившееся отталкивало все новое», препятствовало ее усилиям, направленным на «перевоспитание». В одном комичном эпизоде Павлова изобразила текущее положение дел в деревне, внешне затронутой революцией, но по существу все еще погрязшей в отсталости. Ее коллега-учительница, не слишком превосходившая образованностью остальных жителей села, назвала сына в честь Октябрьской революции. Нередко Павловой приходилось слышать доносившиеся из дома этой учительницы крики: «Октябрь, слезай с горшка!» или «Куда мово Октября черти уперли?» В другом месте дневника Павлова с явной гордостью отмечала: «Я даю знания, я приучаю работать, воспитываю новые привычки, “делаю” людей!.. Очаровательно чувство владения людьми (хотя бы и младшими)... И вот сознание твоей значимости и значимости твоей работы — вот этот синтез, он обуславливает удовлетворение, увлечение». После энергичной антирелигиозной кампании на фабрике «Красный факел» в Москве, в организации которой участвовала Павлова, она писала уже более раздраженно:

«Сколько времени и работы нужно еще для того, чтобы поднять эту массу на высоту действительно граждан социалистического государства... Насколько нужна интеллигенция, чтобы вести эту работу?» Как советский учитель она не испытывала трудностей в связи со своей сомнительной, отчасти буржуазно-интеллигентской индивидуальностью, вызывавшей у нее множество тревожных сомнений в других условиях. Задача, поставленная перед советскими интеллигентами, — быть учителями и воспитателями новых людей, конструировать их — оправдывала советскую интеллигенцию, прилагавшую большие усилия, чтобы обновить саму себя.

Приватное и публичное, личное и общественное

Историки советской системы часто предполагают, что лишь заявления, сделанные в частном порядке, являются надежным показателем «реальных» убеждений людей. Поэтому они придают дневнику, понимаемому преимущественно как частная запись, уникальное значение в плане неискаженного выражения личного *Я*. Соответственно дневники, возникшие в публичной сфере, — например, бригадные дневники или записи, предназначенные для публичного прочтения, — отвергаются как неподлинные, особенно с учетом давления советского государства, заставлявшего их авторов заниматься самоцензурой.

Проблема применения бинарной оппозиции приватное/публичное к дневникам и субъективности сталинского периода заключается в том, что эта оппозиция проецирует на советские условия либеральное понимание индивидуальности. Эта бинарная оппозиция исходит из предположения, что советские граждане, подобно либеральным субъектам, стремились к личной самостоятельности и что, следовательно, их личностное самовыражение развивалось вразрез с общественными или государственными институтами. Более того, либеральная

модель основана на постулате о том, что все люди культивируют личную сферу как сферу неограниченной и подлинной личной субъективности. Однако в связи с дневниками, написанными советскими людьми, возникает вопрос об универсальности стремления к самостоятельности и о приватном как сфере проявления целостной личности. Понятия приватного и публичного остаются полезными в той мере, в которой они фигурировали как работающие понятия в советских условиях, но важно учитывать конкретно-исторические смыслы, лежавшие в их основе и определявшие их использование [138].

С точки зрения марксистов, приватное существование способствовало развитию таких антиобщественных инстинктов, как индивидуализм, партикуляризм и эгоизм. Кроме того, сфера приватности служила идеологическим инструментом сохранения капиталистической системы. Ее функция заключалась в том, чтобы обмануть угнетенного рабочего, дать ему передышку и заставить забыть о фундаментальном состоянии отчуждения. Уничтожив частную собственность, социалистическая революция должна была преодолеть отчуждение собственного Я и позволить человеческому роду восстановить свою общественную природу. При социализме любое представление о приватности станет анахронизмом. Освободившись от прежнего состояния капиталистического угнетения и собственной раздвоенности, человек вновь сделается общественным существом. Согласно Марксу, «прежде всего, следует избегать того, чтобы снова противопоставлять “общество”, как абстракцию, индивиду. Индивид есть общественное существо». Общество социалистического будущего должно было не функционировать как внешняя скрепа, а выражать подлинное внутреннее единство людей. Освобожденная от внутреннего раздвоения и классового конфликта, каждая

личность в новом мире будет отождествлять себя с обществом [139].

Как идейные марксисты, большевики стремились не только уничтожить частные структуры в социально-экономической жизни, но и очистить сознание советского населения от личных забот. Революция должна была охватить все стороны жизни людей и, в частности, те, которые считались частными и аполитичными. Как напоминала советским гражданам «Комсомольская правда», «быт — не личное дело; это важнейшая сфера классовой борьбы. Быт неотделим от политики, и люди, нечестные в быту, нравственно порочные, порочны и политически». Надежда Крупская предупреждала: «Отделение личной жизни от общественной рано или поздно приводит к предательству коммунизма. Мы должны стремиться связать свою личную жизнь с борьбой за построение коммунизма» [140].

В дневниках того периода отчетливо прослеживается советский императив, в соответствии с которым человек должен жить политической жизнью, мыслить о своем существовании в терминах общественной полезности и не позволять личным заботам подрывать устремленность к общим целям. Степан Подлубный неоднократно упоминал о своей «внутренности» или «душе». Он стремился активизировать свое *Я* и сделать его неотъемлемой частью революционную программу советского государства. В его понимании душа советского гражданина должна была быть насыщена отчетливым политическим содержанием и энтузиазмом. Его раздражало, когда он ощущал, что «вся внутренность спит» или что «настроение [у него] идиотское и “не политическое”». Но когда его охватывало чувство возвышенного приобщения к политике, он с удовольствием наблюдал за слиянием субъективных, внутренних чувств с объективной, общественной сферой. Сходным образом Анатолий Ульянов подчеркивал в дневнике связь своей

личной жизни с общественным существованием, зная, что культивирование и фиксация личных забот как таковых могут выставить напоказ его мещанство. Первую тетрадь дневника он начал программным заявлением, поклявшись всегда связывать проявления своей «личной жизни», насколько они заслуживают фиксации, с «общественной жизнью»: «Я живу только этим и все личные интересы почти все время уживаются с общественными». Однако всего лишь несколькими строками ниже Ульянов менял тему и начинал описывать свои любовные переживания. Бóльшая часть его дневника 1930-х годов была, по сути дела, посвящена романам с различными женщинами. Но вновь и вновь Ульянов упрекал себя в «мелкобуржуазности», принимая очередное решение распутать хитросплетения своего низменного личного существования и вести более высокую, рационально определенную жизнь [141].

Дело не в том, что авторы советских дневников должны были просто отрицать личную сторону своей жизни и не рассказывать о ней в дневниках. Бинарные оппозиции, устанавливавшиеся авторами дневников, не сводились к противопоставлению личного внеличностному, индивидуального социальному и приватного публичному. Наоборот, в своих записях они стремились избегать подобного бинарного противопоставления. Сопротивляясь присущей дневникам тенденции к одностороннему, сконцентрированному на собственном *Я* и потенциально индивидуалистическому повествованию, они старались подчеркивать свою политическую сознательность, активность и социализированность. Но такое подчеркивание не исключало интимного отношения к собственному *Я*. Ульянов обращался к дневнику как к личному другу и обычно заканчивал записи прощанием, эмоционально подписанным «Только». Этому комсомольскому активисту никогда не приходило в голову

упрекнуть себя в интимном, почти романтическом тоне, в котором он обращался к дневнику. Настоящей проблемой для него было злоупотребление дневником как возможностью дать выход своей слабости, пассивности и сосредоточенности на себе, и в одном месте он формально извинялся перед дневником за то, что использовал его для освобождения от «скуки, сплина и хандры» [142].

Сама по себе интимность — романтические мечтания или эпизоды из семейной жизни — не считалась идеологически предосудительной. Наоборот, гражданам давали право и по ходу 1930-х годов все более активно обязывали культивировать «личную жизнь», которая рассматривалась как свидетельство гуманности и высокоразвитости социалистической культуры [143]. Чем более выдающихся успехов достигали граждане, такие как стахановцы или герои-полярники, в своей производственной деятельности, тем более развитыми социалистическими личностями они, предположительно, являлись, тем большее право на личную жизнь имели. Очевидно, что в этих случаях личная сфера не вступала в конфликт с общественными обязанностями и стремлениями, а была лишь одним из выражений социалистической ориентации гражданина.

Это новое узаконивание личной жизни хорошо выражено в дневнике московского биолога Ариадны Чирковой. Ее сын умер в младенчестве, и после того, как ее бросил муж, она осталась с малолетней дочкой, — так что не было никого, кроме дневника, кто мог бы понять ее мысли и чувства, всю ее «внутреннюю жизнь». Чуйкова с завистью комментировала радиопередачу о группе летчиков, зимовавших на Северном полюсе. Радист, отмечала Чиркова, «все время заботится... настолько о своей семье, что даже напоминает жене разные мелочи, которые она должна не забыть сделать, прочесть ту или другую книгу, подписаться на журналы, сходить в театр и

т.д. <...> Я скептик, я не верю что-то этому... Но я плакала, слушая эту передачу и потом подробный отчет его жены о том, как семья проведет сегодняшний день». Чиркова плакала, потому что слышанное ею по радио — правдой оно было или вымыслом — напоминало о том, что у нее самой не было такой личной жизни, которую она понимала как семейную жизнь с любовью, близостью и стремлением к образованию в общих рамках героического существования.

Наоборот, размышления на личные темы, которыми изобилует дневник Чирковой, следовало подавлять, потому что они «недотягивали» до статуса полноценных свидетельств личной жизни:

Мои записи всегда и всюду могут произвести одностороннее впечатление. Это только внутренний мир. Я. Но этим миром я занята только тогда, когда пишу это, или в совсем отдельные незначительные (по степени) моменты в течение дня. Напр., дорога в лабораторию. Остальное время все уходит на работу. Общественная жизнь захватывает и вырывает целиком. Борьба всегда стоит для меня на первом месте. Эти записки — это маленький мой отдых, никому не нужный, кроме меня. Когда кормлю Ирочку сливками или апельсинами, думаю с ужасом о тысячах, десятках и сотнях тысяч детей, которые не имеют ничего подобного. И таких еще много даже у нас... [144]

Хотя Чиркова начала с подчеркивания малозначительности личной сферы в качестве темы для ее дневника по сравнению с жизнью в целом, далее она отождествила именно личную жизнь со своим Я, таким образом подразумевая, что ее профессиональная жизнь и общественные достижения являются по отношению к этому Я чем-то внешним. Похоже, что, делая эту запись, она осознала рискованность избранной терминологии, а потому поспешила добавить, что даже в самые интимные моменты, наедине с дочерью, остается преданной общему и помнит о «сотнях тысяч» несчастных детей мира, которые

голодают и лишены материнской заботы. Данная запись отчетливо свидетельствует о специфически советских моральных механизмах, не позволявших гражданам СССР чрезмерно погрузиться в личную жизнь, независимо от того, счастливой или несчастной она была.

Двойственная иерархия личного/общественного и частного/всеобщего, к которой обращалась Чиркова в своем дневнике, отражена и в определении понятия «гражданин» в официальном словаре сталинской эпохи: «сознательный член общества, человек, подчиняющий свои личные интересы общественным». Широкие общественные интересы превалируют над чисто личными и в дневнике Льва Дейча, бывшего активиста партии меньшевиков, которому во время ведения дневника было шестьдесят с лишним лет. Дейч разделил одну из записей на две части: начал с замечаний о «политической сфере», а затем перешел к «личной сфере». Акцентируя «крупнейшие события» в политической сфере, он не мог сообщить ничего утешительного о своем личном состоянии, которое описывал как «не особенно хорошее» и даже «отвратительное». Показательно также, что в первой части он употреблял собирательное местоимение «мы» («ждем от этого всевозможных благ»), а личную жизнь описывал в первом лице единственного числа [145].

Неравное положение «личной» и «государственной» сфер отчетливо заметно в дневнике ленинградской школьницы и дочери высокопоставленного местного партийного работника Нины Соболевой. В январе 1940 года комсомольская ячейка поручила Соболевой вести культпросветработу на Ленинградской фабрике игрушек. Чтобы подготовиться к выполнению этого поручения, она решила систематически изучать «Правду», а также вести дневник для записи прочитанного и размышлений о нем. В одной из первых записей в дневнике говорилось:
13.01.1940. Сегодня в газете:

Поток приветствий товарищу Сталину.
Война в Европе. Берлин. Газета *Кёльнише Цайтунг* пишет о попытках англичан и французов развязать войну на севере.

Париж...

Лондон...

Внутренние новости: «Дело клеветнической группы Напольской» (о контрреволюционной клеветнической деятельности этой группы. Все пять ее членов получили тюремные сроки. Напольская, Ивановская и Горохов — по 20 лет, Михайловский и Ионов — по 15).

Да, утром, сделав выписки из газет, я хотела написать о себе, но возникло странное чувство: неловко после хроники государственных дел писать всякого рода личный вздор. Может быть, надо завести два дневника? Один для общественной сферы, а другой — для личной [146]. Если личное нельзя было возвысить до уровня политического (а такой возможности у Соболевой, очевидно, не было), то ведение двух дневников воспрепятствовало бы осквернению политического текста мелочными личными заботами.

Как у Соболевой, так и у Ульянова замыслы ведения дневников зародились из размышлений о том, как согласовать личную жизнь с ролью общественных активистов и граждан советского государства. Однако по мере их ведения они осознали, что дневники способны завести их в расколотый, солипсический, «личный» мир, неприемлемый для советского гражданина, и отреагировали на такую возможность, указав, что личная сфера иерархически включена в их общественное существование. Но ни один из них не смог обеспечить в своем дневнике преобладание государственного языка. Всего лишь через две недели после процитированной выше записи Соболева ограничила упоминания о «Правде» только заголовком и продолжила: «Честно говоря, мне не хочется сегодня читать

газету. Лучше напишу что-нибудь о себе». С этого момента ее дневник становится все более личным, превращаясь в летопись дружб и подросткового бунта против родительского авторитета. Через год после начала ведения дневника газетные сообщения оттесняются в конец записей о событиях личной жизни: «Прежде чем закончить, хотя бы вкратце изложу вчерашние газетные сообщения» [147].

Не все авторы советских дневников испытывали противоречивые чувства, записывая в них интимные мысли и сны. Владимир Железняков, будучи председателем сельсовета, осознавал, что должен подчинять личные заботы интересам общества: «11.06.1933. Утром в 3 часа проводила меня жена Мария. Хорошо было встречаться, а прощаться хуже. Отбросив все свои личные интересы, я бодро пошагал, спеша на поезд. В голове был Пироговский с/сов». Но он не стеснялся украсить страницы дневника ярким описанием своего сна. Ему снилась гражданская война в Испании и виделось, как он втыкает штык в животы фашистов. Потом в постель пришла жена и разбудила его: «Пожалел я свои прерванные грезы. А может быть, я увидел бы героический Мадрид и славных летчиков, сбивающих вражеские самолеты... Мы с вами — геройские сыны испанского народа! Фашизм будет побежден! Ты, жена, в следующую ночь аккуратнее поворачивайся. Я буду воевать с фашизмом». Железняков мог позволить себе изложить этот сон в дневнике, потому что он полностью совпадал с общественными настроениями, а потому не угрожал целостности его Я. Этнограф Владимир Бирюков не видел снов о гражданской войне в Испании; напротив, эта война и неудачи республиканской армии вызывали у него мучительную бессонницу. Как Железняков, так и Бирюков жили очень далеко от полей испанских сражений, и тем не менее война и классовая борьба во всем мире ощутимо присутствовали в летописях их жизни [148].

Безусловно, не все авторы советских дневников стремились вести образцовую жизнь, наполненную исключительно общественными заботами, и даже у тех, кто к этому стремился, как правило, не все получалось. Тем не менее разделение на личную и общественную сферы или частные и всеобщие интересы, а также требование подчинять первые последним структурировали события, переживавшиеся большинством авторов дневников. Даже критически настроенный студент-историк Аркадий Маньков однажды записал: «23.03.1939. У человека есть две жизни: общественная и частная. До сих пор гармонически они были слиты лишь у немногих счастливицов. В подавляющем большинстве было так: если не удавалась одна, всецело отдавались другой». Несмотря на поставленный им диагноз раскола между общественным и частным существованием, Маньков все же принял нормативное представление о едином *Я*, охватывающем как общественное, так и личное. Он сожалел о неспособности советской власти вдохновить его субъективный дух и таким образом интегрировать его *Я*. Услышав об оккупации Гитлером Мемельской области, Маньков заключил, что ему придется идти на войну, не имея идейной цели, за которую стоит сражаться. Таким образом, даже такой критик власти, как Маньков, был привержен идеалу целостной личности, в которой личное возвысится до уровня общественного[149].

Некоторые другие авторы дневников, рассуждая об отношении между своими интимными мыслями и общественной сферой, проводили различие между «мажорным» и «минорным» ключами. Когда их голос в дневнике становился задумчивым, подавленным или унылым, они называли это минорным ключом. Такой тон одиночества был не похож на звучное, единогласное одобрение, которое они приписывали советскому коллективу, и к тому же вступал в противоречие с идеалами уверенности и силы, которые они стремились воплотить. По

возвращении в Москву бывший эмигрант Николай Устрялов не мог найти работу, и его не признавали полноценным советским гражданином. Его огорчение, в основном не находившее выражения в дневнике, вышло на первый план в записи, посвященной параду молодых спортсменов в Москве. Именно к этому коллективу он стремился принадлежать, ведь там было все, чего ему не доставало: «...когорты и легионы молодежи, отличное ранне-осеннее солнце, оркестровый клекот громкоговорителей — звуки все боевые, бравурные, мажорные. Песни борьбы, задора, веры, молодости». Алексей Кириллов, журналист, исключенный из партии потому, что он одно время поддерживал Троцкого, в дневнике писал об отчаянии и часто посещавших его мыслях о самоубийстве. Но он неоднократно призывал себя писать в оптимистическом, «мажорном» ключе: «Я стараюсь быть бодрым и готовлюсь драться за право быть в партии, за право быть на земле». Аналогичным образом литературный функционер Александр Аросев, когда его коммунистические качества были поставлены под сомнение, доверил свои грустные мысли дневнику, одновременно надеясь вскоре переключиться на «мажорные» ноты. Приватность во всех этих случаях означала одиночество, конфликт и уныние в противоположность шумному, энергичному и боевому хору общественной жизни [150].

С представлением о приватности было связано понятие скрытности. В 1938 году Маньков отмечал, что арестована еще одна группа студентов МГУ, но он привык к такому положению и уже не думал, что могут арестовать и его. «Впрочем, — добавлял он, — что у меня за душой? Пока только дневники». Как и Маньков, Подлубный осознавал, что тайны его дневника дорого стоили бы ему, если бы попали в те руки, но не переставал писать. В то же самое время он чувствовал себя отравленным и отягощенным

«черными мыслями» и стремился освободиться от них. У него не было положительного представления о том тайном пространстве, в котором можно было бы локализовать чувство собственного *Я* и личные ценности, расходящиеся с общественными нормами. Поэтому он не воспринимал дневник как запись событий личной жизни, которые следует запомнить. Скорее дневник служил «помойной ямой» для «выплескивания помоев, скопляющихся в... голове». Подлубный рассматривал ведение дневника как битву, из которой он в конечном счете выйдет очищенным, проникнутым общественными ценностями и освобожденным от любой альтернативной, эгоистичной и поэтому нечистой приватной сферы[151].

Просматривая бумаги в столе у отца, юная Нина Соболева обнаружила ужасный документ: протокол партсобраний, на котором отца обвинили в клевете на невинных коммунистов в 1937—1938 годах. Согласно этому документу, отец защищался, утверждая, что они на самом деле были врагами народа. Соболева не знала, чему верить. Она писала: «После непреднамеренного прочтения бумаг отца у меня (“в душе”? “в сердце”?) возникло тяжелое чувство». Обвиняя себя в одном из самых серьезных, по меркам того времени, проступков, Соболева утверждала, что знание отцовской тайны превратило ее в «двурушницу»: человека, внешне советского, но с внутренней тайной, нарушавшей нормативное требование искренности. Она решила прекратить вести записи в «оскверненном» дневнике, спрятать его в надежном месте и завести новую тетрадь. Описание дневника как хранилища недозволенных и компрометирующих мыслей показывает, что она рассматривала сферу тайного как темную оборотную сторону революционных идеалов чистоты и открытости, темный угол, возникший на фоне стремления советских людей к свету. Поступок Соболевой был недозволенным в условиях всеобщего стремления к

очищению жестом утаивания, но не был (или еще не был) источником положительной самоидентификации или гордости в связи с зарождением традиции самостоятельного мышления [152].

Понятие приватности как таковое не имеет неизменного значения. Оно приобретает положительный или отрицательный оттенок в зависимости от идейного контекста, в котором проявляется *Я* человека. Нет ничего удивительного, что в советских условиях, учитывая дух публичности и коллективизма, поощрявшийся советским государством, личные дневники велись не для того, чтобы культивировать частное существование в противоположность общественной сфере. Поэтому использование бинарной оппозиции публичное/приватное в либеральном варианте, основанном на предположении, что приватная сфера является локусом положительной идентичности, нельзя считать приближающим к пониманию советской субъективности. Это не значит, что авторы дневников не комментировали свою частную жизнь: они подробно рассказывали об интимных мечтах, фантазиях, романтических встречах или семейных проблемах и фиксировали такие повседневные вещи, как съеденные за день продукты. Но многие из них укоряли себя за обращение к такому «мелкобуржуазно-индивидуалистическому» способу повествования, который они считали неприемлемым в советской стране. Важнее всего было то, что подобные личные мысли, оторванные от общественных ценностей и интересов, грозили разрушением идеала целостной личности, а потому отвергались, когда авторы дневников начинали размышлять о качествах своего *Я*. Едва ли есть хоть один дневник, в котором пропагандировались бы идеалы независимости, самодостаточности и индивидуализма. Многие из них были личными в том смысле, что в них люди прятали от любопытных взглядов свои тайны, но эти потаенные мысли

не систематизировались и не расширялись до уровня частных идентичностей.

Авторы дневников не пользовались дихотомией частного и публичного, скорее соотнося свое личное, частное существование с социальным и общественным интересом. Эти описания указывают на наличие двух траекторий (мелочной и ограниченной субъективной жизни личности и жизни коллектива, воплощающей объективный ход истории), которые в идеале должны были слиться воедино. Вновь и вновь авторы дневников писали о том, что прилагают усилия к включению собственной жизни в «общий поток жизнедеятельности» советского коллектива [153]. Личное существование, отделенное от жизни коллектива или даже противопоставленное ему, считалось неполноценным и несовершенным. Коллектив, представлявшийся живым, «дышащим» организмом, был конечной целью самореализации. Вступая в коллектив, личность объединялась с другими личностями и за счет этого как бы вырастала над собой. Отношения личности с коллективом значительно превосходили отношения с любой другой личностью по своему значению и по способности дать человеку ощущение общности. Анатолий Ульянов в одном месте прерывает «уединенные» размышления о Кате, сердце которой он не может покорить, и о Гале, заигрывания которой оставляют его равнодушным, и заявляет, что на самом деле любит дорогую партию, которая нуждается в нем не меньше, чем он в ней. Клятва, данная им, как и подобает, в день революционного праздника, воплотилась в жизнь несколько месяцев спустя, когда Ульянов действительно вступил в Коммунистическую партию [154].

Если членство в коллективе могло «погасить» неприятности в «личной жизни» советского человека (о чем свидетельствует и дневник Чирковой), то потеря этой включенности была способна привести к полному

одинокости. Это особенно заметно в случае Юлии Пятницкой, которой пришлось наблюдать, как от нее отворачиваются бывшие знакомые, а ее сыновья теряют друзей. Она пришла к выводу, что «горе имеет какой-то запах, от меня и от Игоря одинаково пахнет, хотя я ванну принимаю каждый день, от волос и от тела». Порой Пятницкая чувствовала себя отчужденной даже от детей. Когда она призналась старшему, 16-летнему, сыну в «злых, ядовитых» подозрениях, что они оказались пленниками жестокой и деспотической государственной системы, он упрекнул ее: «Мама, ты мне противна в такие минуты, я могу убить тебя». Она также писала о том, что ее младший, 11-летний, сын говорил: «Жаль, что папу не расстреляли, раз он враг народа». Чтобы воссоединиться с революционным сообществом и преодолеть общественную изоляцию, Пятницкая должна была осудить своего мужа как «врага народа». Так посоветовал ей государственный обвинитель, к которому она обратилась за помощью. Значительную часть дневника Пятницкой занимали описания того, насколько «опустошена и измучена» она была, потому что не могла собраться с силами, чтобы возненавидеть своего мужа и тем самым вновь стать полноценной советской гражданкой и членом социалистического коллектива [155].

Рациональность, кризис, спасение

Решив «доказать, не для других, а для себя... что [она] выше, чем жена, и выше, чем мать», Пятницкая засвидетельствовала тем самым, что существовали два способа восприятия действительности: с позиций личного наблюдения и с позиций идеологически санкционированной истины. В личном плане, и особенно как жена и мать, Пятницкая верила мужу и хотела отстаивать его невиновность. Но высшее призвание советской гражданки обязывало ее преодолеть личные чувства и принять (даже поддержать) арест мужа как действие, соответствующее

интересам общества и государства. Авторы дневников сталинской эпохи прибегали к различным механизмам слияния двух этих разных измерений в единую позицию.

Описание действительности как проявления идеологической истины было главным требованием эстетической теории сталинской эпохи — социалистического реализма. По словам партийного идеолога Карла Радека, «великие творения социалистического реализма не могут... быть результатом случайных наблюдений на определенных участках действительности, они требуют от художника охвата громадного целого. Даже тогда, когда художник дает великое в маленьком, когда он хочет показать мир... в судьбах одного маленького человека, — он не может выполнить своей задачи, не имея в мозгу своего образа движения всего мира». Художник Борис Иогансон отстаивал социалистический реализм как полярную противоположность «фотографическому отображению фактов», которое проповедовал натурализм. Натурализм предпочитал «неотрефлексированное представление отдельных фактов, без их осмысления в процессе познания». Наоборот, основным отличием искусства социалистического реализма было наличие у художника «воли или целенаправленности» [156]. Авторы дневников применяли эстетику и познавательные императивы социалистического реализма к построению повествований о себе. Они регулярно вмешивались в фиксацию событий, возвышая смущающие и приводящие в замешательство бытовые наблюдения до уровня целенаправленности, разумной целостности и ориентированности на будущее. И напротив, многие авторы дневников, остававшиеся на уровне натуралистических заметок, связывали это со слабостью своей воли или, хуже, с внутренней болезнью. Тем самым они признавали влияние тайных мыслей на формирование или переделку своей внутренней природы.

Иллюстрацией подобных попыток слияния воедино противоречивых восприятий действительности может служить дневник венгерского писателя Эрвина Шинко, жившего в Советском Союзе в 1935—1937 годах. Будучи не в состоянии вместить гнетущие впечатления от современной советской действительности в санкционированную идеологическую схему, он тем не менее сумел добиться своеобразного слияния этих восприятий, мысленно переносясь в будущее. В записи, озаглавленной «Ночные размышления, или Письмо моему еще не рожденному юному другу», он писал о стремлении взглянуть на будущий социалистический строй, чтобы иметь возможность «с меньшей горечью и большим хладнокровием принять эту промежуточную остановку, этот ведущий из прошлого в будущее путь, который называется “Советским Союзом”... А поскольку я верю в Завтра, в социалистическое Завтра, в котором нынешнее состояние Советского Союза не может быть не признано этапом отсталости, бесчеловечного произвола и бюрократизма, то пытаюсь, преодолев стену времени, подать руку молодому человеку, который будет жить в то время, когда ретроспективный взгляд на нашу современность станет для более счастливого человечества лишь неприятным воспоминанием, отраженным в учебниках» [157].

Писатель Корней Чуковский с еще большей легкостью возвысил свои личные наблюдения до уровня истины социалистического реализма. Отдыхая на Кавказе, он посетил маленький городок: «Жарко, пыльно, много пыльного, много прекрасного — и чувствуется, что прекрасное надолго, что у прекрасного долгое будущее, а гнусное временно, на короткий срок. (То же чувство, которое во всем СССР). Прекрасны заводы Грознефти, которых не было еще в 1929 году, рабочий городок, река, русло которой отведено влево... А гнусны: пыль,

дороговизна, азиатчина, презрение к человеческой личности.

В пространстве нескольких строк Чуковскому удалось превратить пыльную стройплощадку в эмблему совершенного социалистического общества, расположив ее в эсхатологической временной рамке коммунистической идеологии. Определенность, заданная этой временной перспективой, позволила ему провести различие между устойчивыми достижениями советского строя (техническим прогрессом, олицетворенным заводами; социалистическим государством благополучия, выражением которого служил рабочий городок; господством человека над природой, воплощаемым в повороте рек) и эфемерными отрицательными чертами: пылью, беспорядком и «презрением к человеческой личности», которое, возможно, относилось к наблюдениям о дурном обращении с рабочими на нефтяных заводах [158].

В противоположность Чуковскому Аркадий Маньков осуждал соцреалистическую концепцию революционного времени как пропагандистскую уловку коммунистического режима. Прочитав рассказ Алексея Толстого, в котором изображалось будущее устройство индустриализованной советской страны, Маньков отмечал: «Прием тенденциозного и спекулятивного смещения времен — очередная увертка наших “социалистов”, направленная в сторону воздействия на сознание людей в целях овладения им. Таков генезис массы иллюзий, корнящихся в наши дни в головах людей». Но дневник Манькова демонстрирует и его постоянные страхи в уместности собственных сомнений в идеологической истине. Сделав критическую запись о падении уровня жизни, Маньков берет паузу: «А вдруг это все неверно, что я написал. Близоруко. Вдруг да это только внешняя сторона явлений, видимость, совершенно необходимая, так сказать, узаконенная историей, а за этой видимостью скрывается светлая и радужная сущность?!? А

я проглядел эту сущность, ибо я ничтожная, близорукая тварь, способная только замарать истину, но не вскрыть ее?.. А может и в самом деле во мне сидит дряхленький, желтый черт, классовый враг, как пишут в газетах?? А может?.. А может?» [159]

Объяснение Маньковым своей критики официальной политики как голоса затаившегося внутри него классового врага разделяли и другие авторы дневников непролетарского и, стало быть, «классово чуждого» происхождения. Вера Инбер приходила к выводу, что ее «неумение сочетать личное с общественным» (в частности, неспособность примирить материнский долг с обязанностями советского писателя) было свидетельством «интеллигентского корня», который «еще не выдернут». Вера Павлова приписывала свои сомнения по поводу того, является ли свобода осознанной необходимостью, как гласило официальное советское определение, «“гнилой” интеллигентности», все еще мешающей ее сознанию. Степан Подлубный сводил свои «реакционные» мысли к неспособности искоренить кулацкую сущность и даже выявлял аналогичные установки у ряда своих знакомых, также имевших классово чуждое происхождение. Наконец, Николай Журавлев, который был сыном помещика, связывал упорно сохранявшуюся засоренность своего сознания с тем, что им, к несчастью, «16 лет прожито при царизме, при этом под крылышком папаши-помещика. “Тяжелая наследственность”, хочется сказать на языке врачей-психиатров». Подвергая сомнению рациональность и непротиворечивость советской идеологии, эти авторы ставили под сомнение и советскую сущность своих собственных Я. Мысли, которые не могли быть включены в рациональное советское мировоззрение, обладали потенциалом обратной трансформации их авторов в кулаков или помещиков. В ходе ведения дневника авторы

превращались в социальных выразителей своих тайных настроений.

Чтобы избежать итоговых последствий такой логики, некоторые авторы дневников как бы раздваивались на различные голоса — советский и антисоветский — и утверждали, что критический голос выражает не все их *Я*, а только голос врага, сидящего у них внутри. Параллельно показательным процессам, проводившимся режимом приблизительно в то же самое время, советские граждане, таким образом, пользовались дневниками для того, чтобы подвергнуть суду самих себя и разоблачить внутреннего врага и тем самым восстановить чистоту и цельность своего советского *Я*. Мастером использования этого приема был этнограф Владимир Бирюков. Он никогда не доходил до уровня интроспекции и отчаянного самокопания, отличающего многие другие дневники, потому что изобрел другого человека, назвав его «обывателем» и вкладывая ему в уста мысли, критичные по отношению к советской политике. Затем он отвечал этому человеку, становясь на позиции сознательного советского гражданина: «Фейхтвангер пишет в своей книге “Москва 1937”, что якобы зиновьевско-каменевский процесс произвел в Европе неблагоприятное впечатление... Если бы обыватель сказал, дескать подсудимые — протестанты против установившегося режима, то выходит, что такими протестантами являются шпионы и провокаторы еще со времени николаевского режима... Ну и хороши протестанты!» Бирюков пользовался этим повествовательным приемом неоднократно, и можно лишь предположить, что позиция «обывателя» выражала мысли, которые занимали его самого, — иначе зачем бы он записывал их в дневник? Однако, отрекаясь от их авторства, Бирюков пытался избежать проблемы «смещения», которую приходилось решать другим критически настроенным авторам дневников[160].

Стратегии разделения *Я* и отрезания от него «плохих», «испорченных» частей проливают новый свет на самоцензуру в сталинский период. Исследователи часто рассматривают самоцензуру, противопоставляя ее искренности. Они интерпретируют ее как проявление столь сильной боязни раскрыть субъективную истину другим, что эта истина полностью вытесняется. Но похоже, что авторы советских дневников цензурировали себя не столько для того, чтобы скрыть опасную истину от окружающих их людей, сколько для того, чтобы сохранить дорогую им истину о себе самих. Самоцензура, таким образом, действовала и как средство самосохранения. Молчание, сообщал в своем дневнике Эрвин Шинко, было в середине и конце 1930-х годов излюбленным способом публичного общения московских коммунистических функционеров. В другом контексте он распространял это утверждение и на себя: «Я скорее отрезал бы себе язык, чем сказал хотя бы одно слово, которое можно было бы истолковать в том смысле, что я нахожусь в “оппозиции” к той цели, единственным гарантом и защитником которой выступает сейчас Советский Союз» [161]. Нина Соболева прибегает к самоцензуре, чтобы пресечь мысли, грозящие выйти за рамки идейно выдержанного советского рассуждения. Соболева работала агитатором на Ленинградской фабрике игрушек, где в ее задачи входило разъяснение газетных заголовков «Правды» пожилым и малограмотным работницам. В феврале 1940 года она размышляла о напечатанном «Правдой» без комментариев выступлении Гитлера, в котором тот оправдывал войну с Британией и Францией, сравнивая соотношения территории и населения в этих странах с соответствующим соотношением в Германии. Если территория Британской империи, согласно Гитлеру, составляла около 40 млн кв. км при населении 46 млн человек, то территория Германского рейха составляла лишь 600 тыс. кв. км при населении 80 млн человек.

Соболева признала рассуждения Гитлера разумными и добавила, что во всей Европе территории государств надо перераспределить в соответствии с демографическими нуждами. Она даже рекомендовала Советскому Союзу самому первым предложить часть своей территории Германии, учитывая колоссальный размер этой территории и общеизвестное нравственное превосходство советской власти. Ввиду недавно возникшей моды на воинствующий советский патриотизм Соболева сомневалась, что правительство СССР предпримет такой шаг, хотя прибавляла, что считает русскую традицию имперского расширения, которой обязана своими размерами советская страна, предосудительной. В этом месте Соболеву охватывали колебания: «Нет, лучше я на этом закончу, а то бог знает, куда меня эти мысли заведут. И вот ведь смешно — до тех пор, пока я газеты не читала, мне в основном все было понятно и никакие такие мысли мне в голову не приходили, а теперь с каждым днем для меня все больше непонятного обнаруживается» [162].

Источником еретических мыслей Соболевой послужило не какое-то подпольное или эмигрантское издание, а «Правда» — официальный орган ЦК ВКП(б). Критическое мнение о сталинской России не обязательно зависело от воздействия альтернативных источников информации, недоступных в тоталитарном государстве. Соболеву подтолкнуло к ереси буквальное сравнение советской политики 1940 года с революционной программой 1917-го. Еще удивительнее то, что Соболевой двигала не какая-либо собственная политическая программа или желание разоблачить режим. Наоборот, она стремилась понять коммунистическую идеологию, поверить в нее и разъяснить эту идеологию своим малограмотным слушательницам, а в ходе подготовки к выполнению этой задачи посещала курсы агитаторов, на которых ее научили вдумчиво читать «Правду» [163]. Подлинная причина ее ереси была связана с

поставленной перед ней задачей понимать советскую идеологию и всецело овладевать ею, чтобы быть способной разъяснять эту идеологию другим.

Описанное событие было не единичным: читая газету, Нина постоянно обращала внимание на несоответствия и противоречия, которые не могла для себя разрешить. За помощью она обращалась к отцу, крупному коммунистическому руководителю. Он журил ее за детские рассуждения и рассказывал об «интересах советского государства», делавших необходимыми все те политические повороты, которых она не могла понять. Не вполне убежденная, Нина приступала к чтению каждого следующего номера газеты со все большим страхом: «Каждый день, открывая свежий номер “Правды”, я с опаской изучаю заголовки». Она отказалась от попыток понять и объяснить советскую политику на страницах своего дневника. И с облегчением заметила, что работницы не требуют объяснения читаемых ею политических текстов: «В конце концов, это хорошо, что они больше не задают вопросы. Все молчаливо выслушивают, благодарят и уходят». Однако когда она предложила читать другую литературу — сказки и рассказы, — женщины были «готовы слушать часами, несмотря на то, что у всех у них есть дети и семьи» [164].

Другие дневники также показывают, что еретические мысли низвергали их авторов с высот идеологического всезнания в бездну сомнений, которые могли привести даже к психическому заболеванию. В 1939 году Ольга Берггольц описывала, как трудно ей сохранить прежнюю идеологическую стойкость после полугодового пребывания в тюрьме по подозрению в том, что она является врагом народа. До ареста ее мысли отличались «ясностью» и образовывали «стройную систему». Но ее коммунистическое *Я* в тюрьме было запачкано и поколеблено: «Вынули душу, копались в ней вонючими

пальцами, плевали в нее, гадили, потом сунули ее обратно и говорят: “живи”». Она писала о том, что чувствует себя отравленной ядом сомнений, возникших в результате испытанной в тюрьме несправедливости и бесчеловечности. Особенно беспокоило ее, как она продолжит оставаться советской писательницей, если ее коммунистические убеждения разрушены: «Как же я буду писать роман о нашем поколении, роман о субъекте эпохи, о субъекте его сознания, когда это сознание после тюрьмы потерпело такие погромы, вышло из дотюремного равновесия?» Несколько месяцев спустя Берггольц вернулась к той же теме и на сей раз заподозрила у себя психическое заболевание: «Лечиться, что ли? Ведь скоро шесть месяцев, как я на воле, а нет дня, чтобы я не думала о тюрьме... Да нет, это психоз, это, наверное, самая настоящая болезнь». Но она упоминала и о том, что, находясь в тюрьме, читала стихи о Сталине, и слушатели благодарили ее и были тронуты до слез. Оды Сталину имели тот же рационализирующий эффект, что и дневник — и то и другое использовалось для того, чтобы побороть начинающееся заболевание личности и восстановить ясность и стройность ее рационалистического мировоззрения [165].

Чрезвычайно распространены в дневниках 1930-х годов были метафоры загрязнения и отравления. Подлубный уподоблял свой дневник «помойной яме, куда [он] выплескивает помой, скопляющиеся в... голове». Маньков называл его скопищем «самых грязных и отвратительных мыслей». Пятницкая осуждала собственную веру в невиновность мужа как «ужасную», «ядовитую» и «вредную». Равно коммунисты и некоммунисты писали о своей неспособности подняться на требуемый идейный уровень как о симптоме тяжелого заболевания — «болезни воли», «паралича», «отравления». Маньков сравнивал свое навязчивое стремление критиковать сталинскую политику с

онанизмом и бранил себя за эту болезнь, способствующую лишь развитию инстинктов индивидуализма и нарциссизма, но полностью лишенную общественной полезности. Шинко сожалел, что не принадлежит к «большому сражающемуся сообществу», а стало быть, не добьется «спасения»: «Я просто не могу достичь ничего подобного... Сознание этого сковывает мои действия». Нина Луговская, делая записи в дневнике, колебалась между резким осуждением советской системы, включая замысел убийства Сталина, и приступами «пессимизма» и «безнадежности», особенно острыми в революционные праздники, когда она слушала трансляцию парадов по радио и ощущала «болезненную» отделенность от «окружающей жизни». В 14 лет она отметила, что чувствует себя «старой, потерявшей надежду и отчаявшейся... Вся моя жизнь пройдет в этом безнадежном пессимизме». Отрицательные чувства заставляли ее вспомнить персонажей Чехова — «неудачников, недовольных жизнью», но неспособных что-либо в ней изменить. Кроме того, Нина писала, что для того, чтобы жить по-настоящему, ей требуется коллектив единомышленников, испытывающих сходные эмоции. Но она не могла найти их ни среди соучеников, среди которых подозревала наличие сексотов, ни среди сестер, которые не разделяли ее увлечения политикой. Неоднократно она писала о желании наложить на себя руки — по примеру одного из чеховских персонажей, совершившего самоубийство. Ее арестовали в 1937 году и приговорили к пяти годам принудительных работ[166].

Изображая революционных субъектов в кризисном состоянии, дневники также выступали катализаторами восстановления духовного здоровья, чистоты и ясности ума у их авторов. Само представление о микробах, отравляющих веществах и грязи, оказавшихся в душах авторов дневников, предполагало возможность и даже необходимость целебного или очистительного

вмешательства. Оказавшись отвергнутой обществом, Юлия Пятницкая писала: «Никогда не забывать, и дети мои никогда не забудут, как нужно зорко следить, как нужно беречь в чистоте свои мысли и свой язык, и как коротка жизнь человечья. Каждая жизнь должна дать что-нибудь своим, ближним по духу. Каждая жизнь должна дать сколько-нибудь от того, что она возьмет от общества». Дневник Пятницкой в тот период был полон упоминаний о чистоте и очищении. В записях, как будто бы не связанных с признанием смятенного состояния своей души, она описывала уборку квартиры, стирку, глажку белых брюк сына или прием ванны. Казалось, что Пятницкую охватило навязчивое стремление к чистоте, но ни одно из перечисленных действий не могло восстановить чистоты ее сознания. Кроме того, она сообщала, что ее сын после ареста отца больше не ходит в школу. Он выходит из квартиры только после наступления темноты и целыми днями сидит дома, тоже навязчиво занимаясь стиркой и глажкой [167].

Авторы дневников надеялись, что «очищение» от грязных и нездоровых мыслей в дневнике позволит им стать чище и здоровее, освободит от сомнений, восстановит силу воли и ясность мыслей. Естественно, работа по очищению, которой предавались в дневниках их авторы, имела смысл только в условиях нечистоты. Процесс самоконституирования как идеального, абсолютно прозрачного советского человека по определению зависел от наличия загрязнений, от которых следовало избавиться, поскольку преодоление таких загрязнений, понимаемых как душевные слабости, выступало средством последовательного укрепления воли. Так авторы дневников выявляли все новые загрязнения, от которых было необходимо избавиться, и все новые признаки разложения, которое было необходимо нейтрализовать. В этом смысле дневники можно рассматривать как средство увеличения

собственной прозрачности [168]. Пятницкая описывала этот механизм, указывая в дневнике на то, что «все, что меня мучает, все мои тяжкие мысли, когда они появляются порой, потом уходят — после некоторой работы над собой». Она также жаловалась на то, что отсутствие мужа лишило ее «исповедника», к которому можно было обратиться, чтобы избавиться от душевных слабостей: «Все, все я ему говорила, хотя и огорчала порой, и размолвки у нас были, но на душе было ясно, чувствовала себя честным человеком. Перед Пятницким ничего не скрывала». Теперь же единственным средством спасения остался для нее дневник: «И захочется выбалтывать на бумаге — уже привыкла, да и Пятницкого нет» [169].

Стремясь стать абсолютно откровенными, авторы дневников подчеркивали, насколько они искренни, обнажая души и высказывая самые сокровенные мысли. Размышляя в дневнике о написанном ею автобиографическом романе, Вера Инбер замечала: «Пусть увидят, как устроен писатель. Без всяких секретов». Вишневский писал в 1939 году: «Последнее десятилетие было в огромном напряжении, трата сил неимоверная, взлеты, падения, драмы, страсти... Все это неумолимо отражается на душе, на нервах и на сердце... Не хотелось бы писать об этом, но “объективная” действительность требует». По сути дела, советские нарративы об обнажении души *зависели* от модуса искренности, как становится ясно из фрагмента, в котором Ольга Берггольц жаловалась на то, что ее дневник был опорочен государственным прокурором, который использовал его как основание для ее обвинения: «Сам комиссар Гоглидзе искал за словами о Кирове, полными скорби и любви к Родине и Кирову, обоснований для обвинения меня в терроре. О, падло, падло. А крючки, вопросы и подчеркивания в дневниках, которые сделал следователь? На самых высоких, самых горьких страницах!» Берггольц была возмущена тем, что дневник, в

котором она была совершенно искренна, мог быть использован для такого несправедливого анализа ее души. Эти переживания заставили ее дополнительно подчеркнуть собственные убеждения в дневнике и отказаться от всякой неоднозначности, чтобы избежать повторного непонимания: «И вот эти измученные, загаженные дневники лежат у меня в столе. И что бы я ни писала теперь, так и кажется мне — вот это будет подчеркнуто тем же красным карандашом, со специальной целью — очернить, очернить и законопатить — и я спешу приписать что-нибудь объяснительное — “для следователя” — или руки опускаешь и молчишь, не предашь бумаге самое наболевшее, самое неясное для себя... О, позор, позор, позор! <...> Нет! Не думать об этом! Но большей несвободы еще не было...» [170]

Хуже всего, с точки зрения Берггольц, было то, что она уже не могла высказывать свои сомнения и страхи для того, чтобы упорядочить их и включить в рациональную схему, то есть использовать дневник как средство очищения. Она боялась, что если продолжит так поступать, то НКВД вырвет эти утверждения из контекста и истолкует их как выражение всей целостности ее Я. Ее страхи имели основание: в условиях «большой чистки» выражения сомнения были равносильны опасным контрреволюционным действиям. Более того, даже выражение лояльности человека, подозреваемого в контрреволюции, вызывали недоверие: чем большей лояльностью отличались эти выражения, тем с большей вероятностью мог враг с их помощью притвориться честным советским гражданином. Изучая дневник Берггольц, где она выражает скорбь по Кирову, комиссар Гоглидзе имел перед глазами очевидный прецедент: на московском показательном процессе в январе 1937 года государственный обвинитель Андрей Вышинский разоблачал лицемерие обвиняемого Георгия Пятакова,

который еще в 1934 году прилюдно рыдал над трупом Сергея Кирова, убийство которого, по утверждению Вышинского, он сам и спровоцировал. Утверждая, что Пятаков скрывал контрреволюционную сущность под советской внешностью, Вышинский изображал его человеком, который, глядя в зеркало, восторгается своей способностью притворяться [171]. Читая дневник Берггольц в свете диагноза Вышинского, прокурор не мог не истолковать ее декларируемую любовь к Кирову как обманный прием, контрреволюционный жест самой подлой разновидности.

Не будучи в состоянии восстановить чистоту своего сознания, авторы некоторых дневников жаждали помощи от самого НКВД. Они считали сталинскую тайную полицию нравственным авторитетом, способным как понять их, так и вылечить их болезни. Подлубный предполагал, что НКВД исправит его мысли и сделает его образцовым гражданином социалистической страны. Вместо этого тайная полиция продолжала напоминать ему о кулацком происхождении и препятствовать его превращению в нового человека: «Ужасно, ужасно, что получается, вместо излечения они меня калечат». Пятницкая выражала надежду, что НКВД позаботится о ее превращении в полноценного социалистического гражданина: «Я честно прошу помощи человеческой у НКВД, я прошу суровой для меня жизни, но это все же была бы жизнь (борьба, работа и безусловный рост человеческого, а следовательно, и гражданского духа)». Она хотела высказать все свои «хорошие мысли» лично наркому внутренних дел Николаю Ежову. В конечном счете, она надеялась, что НКВД или сам Ежов примут на себя роль «исповедника», которую прежде исполнял ее муж: «Единственно, чего бы мне хотелось, — это доверия со стороны просто трудящихся, когда я начну работать, и доверие НКВД. Такое доверие, чтобы все, что меня мучает, все мои тяжкие мысли, когда они появляются

порой, потом уходят — после некоторой работы над собой, чтобы обо всем я могла говорить с кем-нибудь из НКВД. Я бы получила то, что я имела при Пятницком». Пятницкая также подчеркивала, что она никогда и не думала скрывать что-либо от НКВД: «Но я ведь от НКВД ничего и не думаю скрывать — это у меня принцип». В другом месте она отмечала, что готова решиться на откровенность «...разве только с кем-либо из НКВД. Несмотря ни на что, они ближе». Подлубный тоже приветствовал встречи с НКВД как редкие моменты полной откровенности и освобождения: «Как-то очищаешь душу от каких-то помыслов. Ве[дь] говоришь искренно, правдиво, в то время, когда вся жизнь в другом месте ложь». Для Подлубного и для других как дневники, так и НКВД играли роль агентов прозрачности[172].

Если некоторые авторы дневников пережили сталинские чистки как успешную проверку их силы воли, став после них сильнее, моложе и чище, то другим это не удалось. После неоднократных попыток очиститься от неподобающих мыслей и вновь получить пропуск в советское общество Пятницкая, похоже, постепенно осознала, что ее борьба напрасна: «Ведь были же месяцы, когда голова моя была ясной. Я умела себя держать в руках, я пыталась бороться за свою жизнь, у меня не было конфликтов с Советской властью. Но что-то новое случилось: или я больная, или меня нужно изолировать от своих граждан. В газетах я вижу много отвратительного, во двор посмотрю — тоже все переворачивает...» Если она была «больна», то все же могла надеяться на излечение, хотя теперь, когда у нее не было целителя, к которому можно было бы обратиться, — ни Пятницкого, который был ее «исповедником» до ареста, ни НКВД, который не принял эту роль на себя, — излечение становилось затруднительным. В то же самое время Пятницкая находила все больше доказательств, в том числе на страницах

собственного дневника, что она неисправимая контрреволюционерка. Это означало, что не только часть ее души, но и все *Я* заражено неизлечимым злом. Единственный выход из такого положения заключался в том, чтобы изолировать себя от остального советского общества, чтобы не заражать здоровый социальный организм. Пятницкая даже пошла к государственному обвинителю и «заявила [ему] о своем настроении и мыслях, при которых мне бы надлежало быть изолированной от общества. Я заявила ему, что я сама себя изолировала на все это время — уже 9 месяцев, но что меня целесообразно изъять вполне официально». Уже в том же 1938 году она была арестована и отправлена в Казахстан, в исправительно-трудовой лагерь, где работала экономистом. Ее сын Игорь отбывал наказание в той же системе лагерей, и в последний раз они виделись в 1939 году. Судьба Юлии окончательно определилась после того, как она отвергла сексуальные домогательства начальника лагеря. Он отправил ее на тяжелые работы на строительстве плотины. Осенью 1940 года солагерники отвернулись от нее, слишком слабой и больной для того, чтобы продолжать работать, и оставили умирать в загоне для овец. Продолжавшаяся всю ее жизнь борьба за то, чтобы включиться в трудовой коллектив и способствовать строительству светлого будущего, завершилась для Юлии Пятницкой полной изоляцией от общества и от людей [173].

Самоопределение в сталинскую эпоху — вопрос о личной идентичности, силе и слабости, душевном здоровье или безумии — было глубоко и неразрывно связано со способностью внутренне усвоить идеологию. Борясь за восстановление своих идейных убеждений, авторы дневников тем самым боролись за восстановление собственного *Я*. Во многих случаях такая борьба происходила в условиях тирании рациональности,

вынуждавшей пресекать, вытеснять или перерабатывать мысли, препятствовавшие созданию полностью рационального мировоззрения. В отличие от употребления этого термина в современной психологии, «рационализация» в то время означала не попытку неустойчивой и слабой личности закрыть глаза на неудобную правду с помощью рациональных рассуждений. Наоборот, рационализация была важна для советских граждан, которые, как предполагалось, верят в научные законы развития и в разумность своего существования. Таким образом, от советских граждан постоянно требовалось рационализировать свои ежедневные наблюдения, приводить их в соответствие с постулатами идеологии. Чем в большей степени их наблюдения отклонялись от требуемой точки зрения, тем с большей энергией они должны были бороться за то, чтобы вновь вернуть их в нормативную сетку. Таким образом, способность рационализировать то или иное явление была признаком психологической силы. Рационализация порождала силу воли и решимость, возвращала молодость. Напротив, лица, которым не удавалось рационализировать свои наблюдения, которые погружались в поток хаотических или критических мыслей, считались слабовольными, психически невыдержанными и в конечном счете обреченными.

Рациональность не только означала уровень интеллекта, но и имела ощутимые нравственные коннотации, о которых свидетельствует употребление авторами дневников в качестве синонимичных таких выражений, как «рациональность», «ясность ума» и «духовная чистота». Кроме того, идеал рациональности был тесно связан с чувствами, потому что именно благодаря рациональному, чистому сознанию люди добивались включения в коллектив, то есть приобретали полноценное чувство принадлежности. Наоборот, те, кто отторгался от

коллектива, не могли не чувствовать себя неполноценными, изолированными и неспособными к самостоятельной жизни. Как раз на это связанное с чувствами измерение советской субъективности указывал в своем выступлении 1925 года ректор Коммунистического университета им. Свердлова Мартын Лядов, описывая будущее коммунистическое общество: коммунизм восстановит единство личных и общественных устремлений, он создаст общество, в котором «каждый человек будет чувствовать боль, будет чувствовать ущемленность, если его интересы каким-либо образом вступят в противоречие с интересами коллектива. Но это будет аномалией... В коммунистическом обществе не будет никакого принуждения. У каждого из нас сама жизнь, сила коллективного творчества приведет к формированию сдерживающих центров... Я смогу чувствовать только общее удовольствие, общую удовлетворенность, безграничное удовольствие, которое воцарится вокруг меня» [174]. Десятилетие с лишним спустя Юлия Пятницкая описывала в дневнике именно такую боль, которую имел в виду Лядов, — боль, вызванную отрывом от коллектива. Но ее боль — вопреки предсказаниям Лядова — была вызвана не только действием сдерживающего центра. В случае Пятницкой, как и во множестве других случаев, сила сознания сочеталась с принуждающими силами государственного аппарата (прокурор, НКВД, следователи) и с ощутимой общественной стигматизацией (со стороны бывших коллег и соседей), приводя к возникновению чувства болезненной исключенности из общего течения советской жизни [175].

Советская субъективность в сталинском варианте функционировала не только благодаря интеллектуальной привлекательности марксизма и создаваемой им перспективе личного освобождения и преобразования, но и благодаря соблазнению и поглощению отдельной личности

«орнаментом масс», если воспользоваться относящейся к тому же времени метафорой Зигфрида Кракауэра [176]. Исследования субъективности в сталинскую эпоху остаются неполными, если в них не учитывается калечащее и анестезирующее влияние на личность факта исключения человека из воспитывающего его коллектива — наказания, к которому могла привести такая мелочь, как несколько идеосинкретичных частных мыслей. Сомневающиеся люди в период сталинизма чаще предстают не героическими либеральными деятелями, а атомизированными Я, находящимися в состоянии кризиса и страстно желающими преодолеть свое болезненное отделение от сплоченного советского коллектива. Стремление быть включенным в революционную вселенную и боязнь быть исключенным из нее проявляются в каждой из четырех жизненных историй, которые будут рассмотрены ниже.

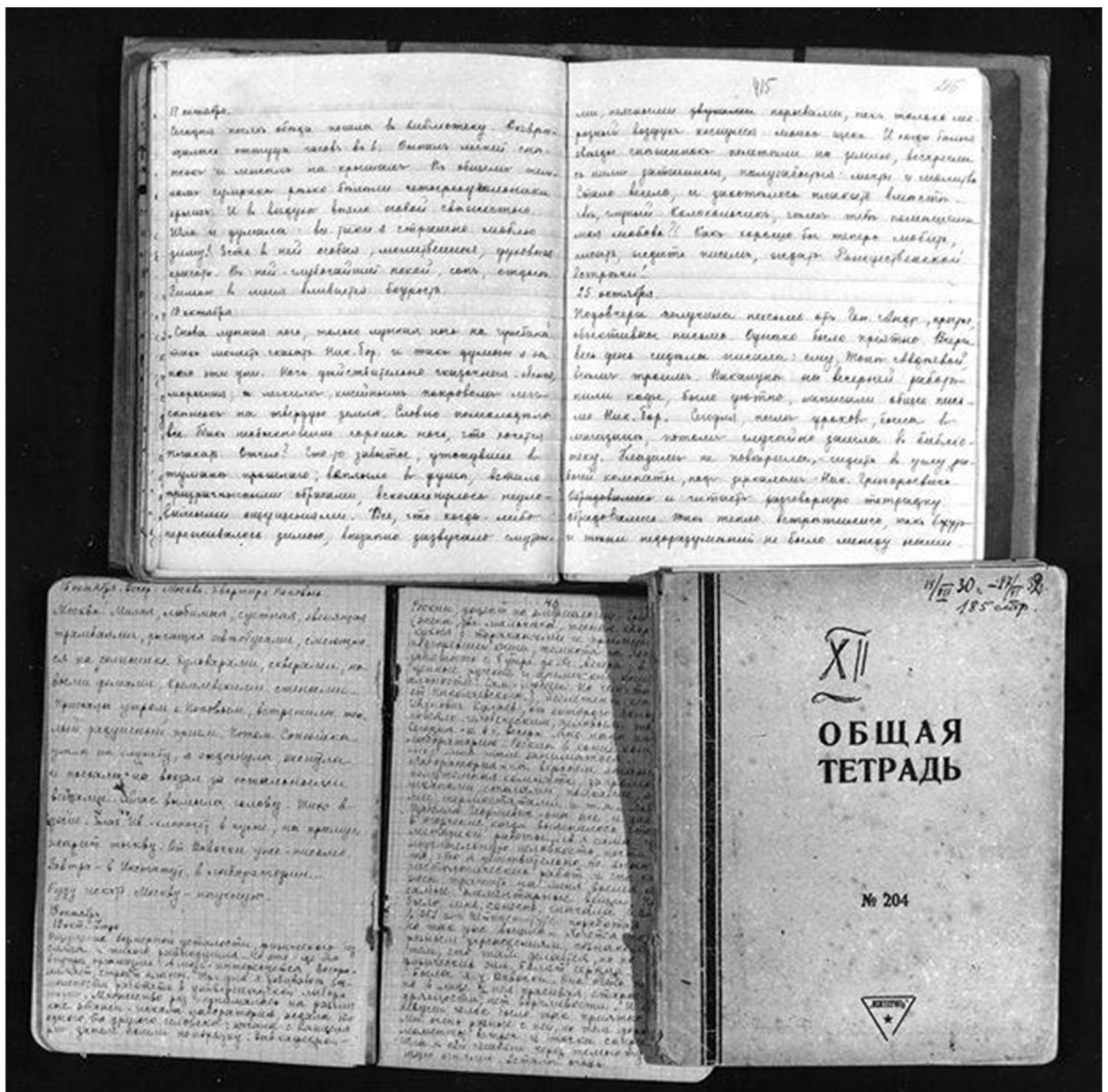
ГЛАВА 4

ИНТЕЛЛИГЕНЦИЯ ПЕРЕД СУДОМ. ЗИНАИДА ДЕНИСЬЕВСКАЯ

Когда осенью 1917 года к власти в России пришли большевики, Зинаида Денисьевская была 30-летней школьной учительницей в Воронеже, столице губернии, располагавшейся в центральном сельскохозяйственном районе страны. В ее дневнике нашлось мало добрых слов для новой власти: «Меня тревожит и пугает победа большевиков. Я им не верю. У них нет ни честности, ни ума; я не говорю об исключениях, но в массе своей они темные и злые». Однако двенадцать лет спустя Денисьевская отметила происходящую с ней перемену: «В течение всего последнего года я бессознательно становлюсь “социалисткой”, я начинаю понимать коммунизм». Еще год спустя она признавалась: «В течение 12 лет меня перевоспитывает жизнь, и только за последнее время стала

я доверять партии и власти». Прежние взгляды на жизнь казались ей теперь «странными и смешными». Клеймя свое прошлое «неведение, непонимание», Денисьевская в конце концов превратилась из учительницы, попрекавшей коммунистов «бескультурьем», в ученицу, внимательно и жадно изучающую новые формы жизни [177].

Денисьевская вела дневник с 1900 года, когда она была 13-летней школьницей, вплоть до своей безвременной смерти в 1933 году. Он уникален в смысле объема и глубины самоанализа. «Внешний срез» дневника дает возможность проследить последовательность мыслей и порой поразительных признаний, которые привели Денисьевскую от осуждения большевиков в 1917 году к безусловной их поддержке в конце 1920-х. Но даты начала и окончания ведения дневника позволяют шире взглянуть на то, как развивался ее самоанализ в течение нескольких десятилетий резких общественно-политических изменений: распада социально-политического порядка Российской империи, революционных потрясений, первых лет нового режима, стремящегося переделать человеческие отношения и создать новый мир. Самоосмысление Денисьевской предшествовало приходу советской власти; революция 1917 года произошла, когда ее представления о своей личности были уже вполне развиты и сформулированы. Именно с точки зрения этих представлений она критиковала большевиков за их темноту и безличность. И тем не менее с течением времени она променяла личную автономию на ценность, которая показалась ей бесконечно более высокой, значительной и осмысленной. Дневник Денисьевской, подробно фиксирующий ее критическое осмысление самой себя на шкале между «индивидуализмом» и «коллективизмом» в ходе политической революции и социального преобразования, заметно отличается от обычных описаний коллективистской советской системы, посягающей на автономию ее граждан.



Дневники Зинаиды Денисьевской.

Источник: Отдел рукописей Российской государственной библиотеки

На протяжении всей жизни Денисьевская сохраняла приверженность развитию своей личности, тем самым обнаруживая верность духу русской интеллигенции, группы образованных и критически мыслящих личностей, считавших своей главной целью создание идеального общественного строя, при котором будут жить гармоничные, самореализовавшиеся и целостные люди. Постоянное ведение дневника было в известной степени выражением устойчивого желания Денисьевской стать

такой идеальной личностью. Большевистский подход к осмыслению и преобразованию собственного *Я* находится в русле этой традиции, он тесно связан с работой над собой и самосовершенствованием, характерным для глубоких страт позднеимперской и революционной русской культуры.

Еще одной постоянной — и фактически господствующей — темой в дневнике Денисьевской было одиночество. На протяжении многих лет Денисьевская мечтала о длительных любовных отношениях, однако ей не удавалось их создать (хотя в конце жизни она несколько месяцев была замужем). Чувствуя себя непонятой, не имея решимости высказаться, а вместо этого постоянно выслушивая красноречивые замечания товарищей и коллег, своим главным «другом и поддержкой» она считала дневник. Еще в 13 лет она представляла себя одинокой, «слишком серьезной и тихой» и склонной к интроспекции и мечтаниям. Когда школьная подруга шутливо назвала ее «монашкой», она заметила: «Да, я монашка, отшельница. Только не по своей воле я заперлась в этот душный монастырь». Через тридцать лет, в разгар сталинской революции и в совершенно других условиях, она сохраняла прежний тон: «Испытываю глубочайшее личное одиночество». На многих, а может быть, и на большинстве из 5623 страниц дневников Денисьевской звучал ее меланхолический голос, становясь как бы фоном одиночества, на котором разворачивалось ее стремление к самосовершенствованию и включению в социальную общность[178].

В течение жизни одиночество имело для Денисьевской множество разных значений. Отчасти оно было связано с ее положением незамужней женщины, но означало также и экзистенциальное одиночество, чувство незащищенности в мире. После 1917 года она все чаще стала понимать одиночество в классовом контексте. Понятие трудового коллектива, активно пропагандировавшееся советской

властью, привлекло ее перспективой освобождения от одиночества и в конечном счете пересилило отвращение к окружающим ее грубым представителям Коммунистической партии. Без ответа остается вопрос, в какой мере одиночество являлось ее личностной характеристикой, способствовавшей тому, что в конце концов она поддержала советскую идею, а в какой мере оно было присуще представлениям интеллигенции о самой себе в эпоху выхода на историческую арену больших человеческих масс.

Интеллигент, женщина, человек

Зинаида Денисьевская родилась в 1887 году в семье, принадлежащей к воронежской образованной среде. Она, судя по всему, была старшей из четырех детей. Ее отец был учителем естествознания, а какое-то время — директором женской гимназии, в которой училась и сама Зинаида. В 1907 году Зинаида записалась на Московские высшие женские курсы, учебное заведение университетского уровня, основанное в начале 1870-х годов и дававшее высшее естественно-научное и гуманитарное образование. Она специализировалась на естественных науках. Закончив учебу в 1912 году, Зинаида вернулась в Воронеж, где работала сначала учительницей в местной гимназии и начальных школах, а потом библиотекарем в городской библиотеке. В 1920 году она ушла из библиотеки и поступила работать на опытную станцию Воронежского сельскохозяйственного института. Она продолжала работать на опытной станции до конца жизни, входя в группу агрономов, которая занималась разработкой новаторских методов ведения сельского хозяйства и распространением этих методов среди местного крестьянства [179].

Вести дневник Денисьевская начала в 1900 году, когда ей было 13 лет. Дневниковые записи до 1919 года содержатся в пяти толстых переплетенных томах объемом около 700 страниц каждый. Их вид резко контрастирует с

видом тонких, ломких тетрадей, в которых Денисьевская записывала свою жизнь в советский период — с 1919 по 1933 год. Большую часть жизни Денисьевская делала записи чаще всего ежедневно и лишь изредка с промежутками не больше недели. Многие из ее записей посвящены постоянным темам, причем содержание их отличается неизменной тоской и обреченностью. Жизнь семьи она описывала как полную ссор и несчастливую. Если отца Зинаида представляла нежным и любящим, то мать — холодной, грубой и несправедливой. Но в дневнике отмечены и переходы поведения матери от истерик к молчаливому страданию в связи с неверностью мужа.

В ранних записях Зинаида нигде не определяет себя в четких общественных категориях, но судя по положению семьи, а также по образовательным и профессиональным устремлениям, она принадлежала к интеллигенции, если понимать интеллигенцию как часть общества, отличающуюся всепоглощающим желанием служить социальным нуждам. Именно так она описывала своего отца: «Он весь проникнут своей идеей — приносить пользу обществу, и весь отдался ей». Дочь и сама стремилась стать учительницей, разделяя в этом смысле цели большинства русских девушек, посещавших частные курсы в начале 1900-х годов. Они, как правило, выбирали профессию сельской учительницы, чтобы просвещать «темный народ», тогда как мальчики из образованных слоев хотели стать врачами или учеными. Как и все большее количество ее ровесниц, Зинаида была нацелена на получение высшего образования. Подобно другим представительницам своего поколения, она считала университетское образование необходимым, «чтобы стать всесторонне развитой личностью, вести сознательную жизнь, принимать участие в жизни общества». Как писала либеральная общественная деятельница Ариадна Тыркова-Вильямс, вспоминая о своей молодости и нравственном воспитании в 1880-е годы,

принадлежать к числу интеллигентов значило «быть критически мыслящей личностью, воспитать в себе рациональное мировоззрение» [180]. При таком определении понятие «личность» соответствовало не индивидуальной эмпирической жизни, а более абстрактным и общим представлениям. Работая над собой, представители интеллигенции ориентировались на идеализированный образ человечества [181].

Приверженность к выработке в себе нравственной личности с цельным мировоззрением хорошо видна в случае Денисьевской. В 1904 году, когда все более широкие круги образованного российского общества стали призывать царя и правительство к конституционным уступкам, ей было 17 лет. Девушке, которая с сочувствием наблюдала за развитием протестов и забастовок 1905 года, политика обещала переход от одинокой и печальной личной жизни к радостному единению с согражданами. Она не только следила за «подъемом общества», но и надеялась включиться в «важную работу целого поколения... Для этого надо читать, развиваться». Революция служила для нее стимулом развития собственного мировоззрения: «Мне надо выяснить себе свои политические и общественные воззрения, составить их, если нет». «Главное нужно выработать свое мировоззрение. И никак не вырабатывается оно, а стоять на одном месте — тоска и отчаяние». Пять лет спустя она по-прежнему жаловалась: «У меня нет цельного мировоззрения, потому что я не могу объяснить себе ясно и логично всю жизнь» [182].

И все же, хотя революция дала ей новое чувство общности («стоя с 10-тысячной толпой у Народного дома, я впервые сознала себя человеком, членом общества»), она комфортнее чувствовала себя на обочине революционного движения, наблюдая со смесью зависти и обиды за достижениями своих политически активных товарищей. Прежде всего, она винила свое плохое здоровье в том, что

ей приходится сидеть взаперти дома с больным сердцем, тогда как на улицах Воронежа «жизнь кипит ключом и бьется». Но важно было и то, что большинство политически активных молодых людей были социалистами и отстаивали радикальные позиции, которые она не могла заставить себя поддержать. По складу всего своего «характера и натуры, по воспитанию» она принадлежала к партии «культурников и постепенцев». «И [я] ненавижу себя за это. Завидно им, молодежи, идущей на риск и жертвы и живущей всеми силами своего молодого тела. И досадно на себя». В то же самое время она отрицала «фанатизм и нетерпимость» политических партий и осуждала их за «экспроприации и убийства». В частности, она отвергала коммунистическую идеологию, «полностью подавляющую и затаптывающую индивидуальность». Что касалось собственных политических убеждений, то «впереди всего [она] ставила образование, гуманность. Мало быть сознательным пролетарием — надо быть, прежде всего, человеком» [183].

Замечания Денисьевской о политической жизни пересекались с другой сферой, в которой она начинала думать о себе как о «человеке», — со сферой сексуальности. Эта тема впервые проявилась в записи за февраль 1907 года. Завершая пылкое описание первой увиденной ею оперы — «Кармен», Денисьевская отмечала, что с нею «творится что-то новое». У нее «пробудилось кокетство... С тех пор, как [она] узнала, что Соколову 29 лет, он перестал быть для [нее] отвлеченным существом. Я почувствовала в нем физического человека». «Я вижу в себе опять то, что стараюсь убить, что мне противно, — чувственность. Я докатилась в душе до самых скрытых смутных еще мыслей, желаний, и вижу, что мне хочется ласки мимоходом от него» [184].

После событий 1905 года во всем русском читающем мире проявилось новое увлечение инстинктами и половой жизнью, которое лишь отчасти можно было объяснить

реформой печати и последовавшим за нею расцветом бульварной прессы. Дело было не столько в увлечении сексуальностью как таковой, сколько в стремлении к самореализации, которое с ней связывалось. В центре дискуссии, на несколько лет поляризовавшей мнение образованного общества, оказался эротический роман Михаила Арцыбашева «Санин», напечатанный в 1907 году: распутный герой, именем которого назван этот роман, уверял соблазняемых им женщин, что половое влечение возвышает, а не унижает их. Другой роман, «Ключи счастья» Анастасии Вербицкой, адресованный специально читательницам-женщинам, по степени влияния уступал только «Санину». Героиня романа Маня стремится к новому образу жизни, в котором сочетаются личная самостоятельность, профессиональный успех, любовь и сексуальность. Она узнает от мужчины, что женщины могут и должны позволять себе физическое наслаждение, не становясь рабынями любви, что личная самостоятельность и сексуальное удовлетворение без эмоциональной вовлеченности и составляют «ключи счастья» [185].

Тогдашние критики оценивали появление этих романов как тектонический сдвиг в культуре. Этос революционной борьбы и самопожертвования во имя общества, пропагандировавшийся радикальной интеллигенцией по крайней мере с 1860-х годов, представлялся теперь дискредитированным вследствие неудачи революции 1905 года. Увлечение общественно-политическими вопросами среди молодых людей, потенциальных наследников интеллигенции предшествующего века, сходило на нет. Сила коллектива и нравственные нормы революционного движения уступали место «низменным» индивидуалистическим влечениям. Санин был антигероем *par excellence*, противоположностью жертвующему собой борцу-подпольщику, вдохновлявшему интеллигенцию в прошлом. Он был крайним

индивидуалистом, жившим ради удовлетворения своих «естественных» потребностей и презиравшим общественную нравственность и политику. Больше всего поражало не отстаивание Саниным представления о свободной любви (в конце концов, Чернышевский тоже выступал за *ménage à trois* еще в 1860-х годах), а исключение вопросов пола из программы общественного освобождения и его провозглашение высшей ценностью и самоцелью. И «Ключи счастья», и «Санин» были не чем иным, как символическим выражением тенденции к индивидуализму и субъективизму, присущей русской и европейской культуре 1900—1910-х годов. Эта тенденция сложилась под влиянием ницшеанских идей (которое признавал и сам Арцыбашев) и неокантианской философии, но также и реформаторской политики самодержавного правительства, особенно деятельности премьер-министра Столыпина с его ставкой на «крепкого крестьянина» и стремлением разрушить крестьянскую общину.

Денисьевская воспользовалась языком нового литературного индивидуализма для самоанализа. Размышляя в дневнике об отношениях с друзьями-мужчинами, девушка спрашивала себя, достаточно ли она «проявила свою личность в жизни. Была ли я самостоятельна и индивидуальна в своей личной жизни?» Была ли она равноправным и самостоятельным партнером этих мужчин или «была всегда рабой того, кто мне нравился?» Даже если внешне она «подчинялась», приходила к выводу Денисьевская, то внутренне ей следовало сохранять верность себе: «оставаться той же! Я насилия над своей душой не могу допустить». Уехав из Воронежа учиться в Москву, она увлеклась молодым человеком, которого в дневнике называет просто «студентом». Его описание в дневнике связывалось с наиболее жгучим вопросом о студенческом движении: остается ли оно прогрессивной силой или безнадежно

заражено новым индивидуализмом? Диагноз, поставленный Денисьевской, отрезвлял. Конечно, некоторые стороны переживаемого ей нравились. «Мне приятно, когда он проводит рукой по плечам и груди, когда он кладет голову на грудь, когда целует руки. Мне приятно. Так меня никто не ласкал. Меня любили, уважали, меня ставили на пьедестал, ласкали мою душу, но тела не ласкали. Даже девочку мать не ласкала. И мне хорошо, когда ласкает он». Но девушку обуревали нравственные сомнения: не унижает ли ее как личность миссия «студента» — воспитание ее чувств? Определенной частью своей души она хотела отбросить эти сомнения. В конце концов, идеалом женщины для нее была не гетевская Гретхен и не тургеневская Лиза (из «Дворянского гнезда») — пассивные, добродетельные женщины, покорные жертвы мужчин, а современная, самоутверждающаяся, общественно активная и идейная личность вроде Веры Павловны из «Что делать?» Чернышевского или Елены из «Накануне» того же Тургенева. «Все они жили, любили, знали мужчин и от этого ни на одну из них не падает тени, наоборот, новые сложные переживания возвышают личность каждой, развивают ее». Вместе с этими литературными героинями, служившими образцами личного и общественного поведения для поколений молодых русских женщин, Денисьевская настаивала на личном праве выражать свои сексуальные влечения и связывала это самоутверждение с прогрессивными ценностями времени — «индивидуализмом» и «личной свободой для всех» [186].

Остается, однако, ответить на вопрос, совместимо ли было такое индивидуалистическое и материалистическое представление о Я с интеллигентским происхождением Зинаиды и с ее приверженностью нравственному пониманию «личности». Героини романов Чернышевского и Тургенева, должна была признать она, не являлись приемлемыми образцами для подражания в нравственно

подавленной атмосфере, сложившейся в студенческом движении после 1905 года. Свободная любовь, отстаивавшаяся Верой Павловной как прогрессивный общественный идеал, логически выродилась в слепые биологические порывы, как только лишилась общественной цели. Такой обнаженный индивидуализм не освобождал, а унижал. Денисьевская описывала, как в ходе экспериментов — подражаниях Санину ее нравственное *Я* оказалось в плену у тела. Моральный гуманизм, лежавший в основе определения ею себя как человека и как личности, не давал Денисьевской возможности вполне согласиться с идеей, что инстинкты являются выражением ее человеческой «природы», потому что это низвело бы ее на уровень «животного». В конце концов она перестала чувствовать что-либо кроме злости к студенту, который «с апломбом объявил себя “учителем жизни”», но разбудил в ней лишь «инстинкт женщины», а потом бросил ее и «равнодушно ушел в прежнюю семейную обстановку». Слово «женщина» в словаре Денисьевской имело отчетливо негативное звучание, относясь к телесным инстинктам, иррациональности и искусству низких интриг: «Я стала опытной, я научилась лгать, скрывать и быть сдержанной. Перестала быть искренней девочкой, поняла свою силу и роль как женщины». Быть «женщиной» значило чувствовать и действовать сексуально, а не в соответствии с сознательной и нравственной «человеческой» волей. В некотором отношении понимание Денисьевской «женщины» было сходно с ее представлением о политической сфере: и здесь и там, в отличие от более высоких и коллективных сфер «человечества» и «общества», ключевую роль играли страсти и эгоистические интересы[187].

Возможность соединения своего понимания «женщины» и «человека» Денисьевская обнаружила благодаря статье российской феминистки Александры Коллонтай «Новая

женщина». В этой статье 1913 года Коллонтай провозгласила возникновение нового типа женщины как общественного типа: молодой работницы фабрики или конторской служащей — типа, порожденного новой экономической реальностью и широко распространяющегося в России и за границей. Такая женщина была материально самостоятельна и напориста, не состояла в официальном браке, была психологически независима и свободна. Она противостояла «женщине прошлого», жалкому дополнению к своему мужу. Современная женщина боролась против традиционного положения, сводящего ее к телу и делающего из нее рабу супруга. Дерзкое мировоззрение обрекало «новую женщину» на одиночество — она не могла ожидать, что мужчины будут по-настоящему любить ее. Все, что мужчины могли предложить ей, — это физиологическое удовлетворение; реализовывала же себя новая женщина на работе и в общественной жизни. Она знала, однако, что в будущем появятся мужчины с другим устройством души. Они будут способны на истинную товарищескую любовь, не сводящую женщину к объекту [188].

Денисьевская писала, что, читая эту статью, она поняла себя как «новую женщину». Она может вести общественно и нравственно осмысленную жизнь, не испытывая необходимости подавлять свои инстинктивные влечения. Такая модель была привлекательна не только тем, что соединяла физиологию с нравственностью и представлялась новой и прогрессивной, но и тем, что объясняла участь самой Денисьевской, молодой одинокой женщины. Одна из литературных героинь, упоминавшихся Коллонтай, вела дневник, в котором звучала тема одиночества, знакомая Денисьевской по собственному опыту: «Я привыкла жить одна, но сегодня я себя чувствую такой одинокой... Разве я не самостоятельная, не свободная?.. И... ужасно одинокая». Комментируя эту запись, Коллонтай уверенно предлагала

способ избавления героини от мучений: «Не слышим ли мы в этой жалобе [голос] женщины прошлого, привыкшей слышать вокруг себя знакомые, любимые голоса, ощущать чью-то привычную ласку?» [189] Новая женщина Коллонтай решительно противостоит этим традиционным порывам: «И ушла, тихо улыбнувшись ему на прощанье, ушла искать своего задуманного счастья — мечту, унося с собою думу свою, будто одна она на земле и будто все надобно ей одной устроить по-новому» [190]. Одиночество здесь не столько проклятие, сколько достижение, первый шаг к самореализации в качестве современной женщины.

Но совет Коллонтай, похоже, всерьез не изменил жизнь Зинаиды Денисьевской. Окончив Московские высшие женские курсы, она вернулась в Воронеж и жила в доме родителей, как это было традиционно принято для незамужней молодой женщины. Она продолжала сожалеть об отсутствии в своей жизни любви. Важнее всего, видимо, то, что язык «новых женщин» в последующие годы исчез из ее дневника — примечательное явление, учитывая то, что это были годы революции, когда идеал «новой женщины» получил наибольшее распространение.

Старая интеллигенция

После начала Первой мировой войны Денисьевская «внимательно» следила «за войной и за общественной жизнью России» и сожалела, что не может принять участие в «возрождении русского общества», о котором она читала в газетах. Она приветствовала революцию как кульминационное событие, впервые позволившее «русскому обществу» осуществлять власть во благо народа. Как учительница она могла претендовать на скромную, но существенную роль в общегосударственной кампании гражданского просвещения, поскольку «объясняла ученикам значение наиболее употребительных теперь выражений: конституция, монархия, республика, верховная власть и т.п.». Денисьевская неоднократно подчеркивала

свой интерес к событиям общественной жизни и, извиняясь, отмечала, что ее дневник, как и прежде, посвященный в основном личным мечтаниям и одиночеству, лишь отчасти отражает эти ее интересы и устремления [191].

В условиях нараставшей общественно-политической поляризации Гражданской войны идеализированное представление Денисьевской об органически едином российском обществе исчезло. Оно перестало упоминаться в ее описаниях осенью 1917 года. Денисьевская наблюдала за фрагментацией политического ландшафта, занимая воображаемую центристскую позицию. Она резко критически отнеслась к советской власти — режиму развращенных, властолюбивых и необразованных элементов, не имевших ничего общего с возвышенными социалистическими идеалами братства и справедливости. Но по меньшей мере столь же критично она относилась и к «так называемой интеллигенции» — образованным членам общества, отпускавшим «озлобленные, раздраженные и злорадные» замечания по поводу просчетов большевистского режима, но при этом забывшим о своем долге — работать для народа. Даже угроза случайно попасть «под колесо общей машины» не являлась основанием для пренебрежения этим долгом, потому что законы истории продолжали действовать. Современность являлась, с точки зрения Денисьевской, «переходным временем», отмеченным «переходом народа из детства в стадию юношества». Осуждая социально безответственную «близорукость и эгоистичность» интеллигенции, она считала, что роль настоящего интеллигента — это роль двигателя прогресса и повивальной бабки будущего, которое должно настать для русского народа.



Сотрудники воронежской городской библиотеки, 1919 г.

Зинаида Денисьевская, с темной шляпой, стоит на верху лестницы.

Источник: Отдел рукописей Российской государственной библиотеки

Даже в то время хаоса и крайнего насилия Денисьевская стремилась найти жизнеупорядочивающий принцип, идеологию, на основании которой можно было бы сформировать личное мировоззрение. Такая идеология могла быть обоснованной только при условии соответствия закономерностям исторического развития и общим интересам, которые в революционных условиях означали интересы «народа». Это объясняет то, почему она никогда не поддерживала белых и по духу была ближе к красным, хотя и спрашивала, может ли в жестокости последних выражаться социалистический «принцип братства и равенства».

Гражданская война очень сильно затронула Воронеж. Удерживавшийся белыми на начальном этапе конфликта, город осенью 1919 года был взят Красной армией. Дневник Денисьевской заполнен описаниями (как правило, основанными не на личных впечатлениях, а на разговорах и слухах) обысков, реквизиций, арестов и актов пьяного насилия, в том числе бессудных убийств. Причисленные красными к имущему классу, Денисьевская и ее родители по крайней мере однажды подверглись принудительному налогу (контрибуции). Это заставило ее задать себе вопрос, как можно учителей — представителей «пролетарской интеллигенции» — считать «буржуями». В конечном счете она призналась, что чувствует себя слишком усталой и слабой, чтобы полностью «принять» революцию: «Я растерялась под напором революции, перед этой вечной угрозой смерти, грабежа, испуга, потери близких людей». Зинаида с головой ушла в работу в городской библиотеке, «далекую от политики, от партийных вопросов, от общей жизни России... Я не хочу разбираться в подробностях текущей жизни, искать, кто прав, кто виноват, кто совершает подвиги, а кто ошибается» [192].

Параллельно с отходом от политической жизни Денисьевская все активнее искала спасения в религии, в надежде на загробную жизнь. Верующей она была всю жизнь, хотя часто подчеркивала современный и научный характер своей веры. Бог для нее существовал как «сущность», как «особого рода энергия», вроде электричества, которая проявляется, когда люди воодушевляются любовью и совершают добрые дела, и эта божественная энергия передается людям в соответствии с дарвиновскими эволюционными законами. На первых этапах революции Денисьевская рассматривала социализм как явление более высокое, чем религия, потому что он представлял собой не только воплощение основных принципов христианства, но и прогрессивную силу,

основанную на законах науки. Но в условиях массовых убийств и насилия христианская вера в ней возродилась. Страдая хроническим сердечным заболеванием и острой желтой лихорадкой, она не надеялась, что переживет эти апокалиптические времена [193].

Тем не менее Гражданская война лишь укрепила Зинаиду, дала ей новое чувство цели. В 1920 году она ушла из библиотеки и покинула родительский дом, чтобы работать исследователем на загородной опытной станции. По собственным словам, она перешла от работы «в области отвлеченных идей, в какой-то умственной сфере» к работе «в области фактов». Сотрудничество с агрономами из Воронежа и из Москвы, приезжавшими на станцию, обещало ей спасение от одиночества. Но этот шаг, кроме того, был попыткой покинуть «книжную», «умственную» сферу, характерную для традиционной интеллигенции, как она карикатурно изображалась радикальными социалистами, и реализовать принцип совместной практической работы на благо трудящихся. В записях того времени отразился все более критический взгляд Денисьевской на социальные и моральные идеалы ее прошлого — вплоть до того, что она стала отождествлять дух интеллигенции, основным проявлением которого ранее считала служение народу, с буржуазным индивидуализмом. В то же время отказ от прежних привязанностей сочетался в дневнике с описаниями работы для народа, заставлявшими вспомнить о традиционном этосе интеллигенции. Описывая трудности проведения агрономических исследований в условиях ужасающей отсталости, Денисьевская представляла себя светочем образования и нравственности, ориентиром как для заблуждающихся коммунистов, так и для простых малокультурных людей. Ее претензия на культурно-педагогическое превосходство резко контрастировала с программной установкой на самоотречение и подчинение трудящимся [194].

После нескольких лет новой работы энтузиазм Денисьевской пошел на спад. Опытная станция, представлявшаяся ей ранее «счастливым островком», оказалась изолированным очагом культуры среди бескрайнего «болота». Она почувствовала это после того, как хозяйство посетил новый заведующий агрономическими станциями губернии Павел Писцов: «Я испытываю странное и неприятное чувство зависти к этому плотному невысокому голубоглазому человеку. Он много жил в Китае и Японии, много видел, знает и понимает. Он — культурный европеец, вернее даже не европеец, а интернационалист. Я ощущала в нем человека высшей степени культуры и остро завидовала ему... Он — русский, но я так же чужда ему, как мне Дуня или Мариша. Он одет в культурное платье, а я — в валенках и старомодной кофте. Он видел и знает мир, он говорит о научных работах всех стран и народов как о близких ему вещах — а я ничего не знаю, сижу с утра до вечера над механической работой, состарилась, опустилась, одичала».

Писцов, судя по всему, соответствовал идеализированному представлению Денисьевской об интеллигенции: он был высокообразованным, изысканно одетым человеком с прекрасной речью, находившимся на передовом рубеже мировой науки. Это лишь дополнительно подчеркивало ее собственную материальную необеспеченность и культурную ограниченность. Самым же неприятным и болезненным для нее было то, что она чувствовала, что выглядит старой и опустившейся по сравнению с заведующим, хотя ей было всего лишь 39 лет — ровно столько же, сколько и Писцову [195].

Вторая половина 1920-х годов была для Денисьевской временем личного кризиса; тон ее дневников перестал быть созерцательно-примиренческим. Она писала об утрате собственного *Я*, вызванной крушением убеждений и отсутствием серьезной жизненной миссии. Она

чувствовала, что плывет по течению, неспособная управлять своим больным телом и нервами: «Все какое-то неустойчивое, запутанное, неожиданное. Отовсюду дышат на тебя несчастья, болезни, страдания и смерти... Я потеряла свою философию и выпустила из рук свои нервы, стала, как трава морская, колеблемая прибоем». В материальном отношении у нее имелись основные удобства («у меня есть — теплая комната, мягкая постель, возможность жить, есть, пить, работать»), но духовно она ощущала себя совершенно опустошенной. Больше всего Зинаиде не доставало любви. И потому ей «стало не о чем писать... Все получается одно и то же — одиночество и колебания настроения: раз — вверх, два — вниз, раз — вверх, два — вниз, взлет и падение, взлет и падение. Причем провалы глубже, пространнее, чем вершины» [196].

Вопросы о жизни и общественной миссии, которые Денисьевская ставила применительно к себе в дневнике, были темой споров и в самом центре советской власти. Предметом обсуждения являлись подобные Денисьевской «буржуазные специалисты» — профессионалы, получившие образование и сформировавшиеся до революции, а теперь отдававшие свои знания режиму, не поддерживая при этом само дело строительства коммунизма. Активисты компартии пренебрежительно противопоставляли таких «старых» «буржуазных» специалистов новой советской интеллигенции, которую еще только предстояло сформировать и которая должна была быть предана политической власти душой и телом. В свою очередь, представители подвергавшейся нападкам общественной группы пытались сохранить некоторую независимость, в то же самое время подчеркивая принципиальную лояльность советскому строю. Известный литературовед, участвовавший в публичном диспуте, проходившем в Москве в 1925 году, защищал культурный авторитет интеллигенции, символом которой он называл «героический

тип сельской учительницы». В условиях политических трудностей, материальной необеспеченности, нищенского быта и отдаленности от всех центров цивилизации этот «светоч интеллигентности» в отсталой деревне с поразительной энергией совершал свой «скромный, но великий подвиг» [197].

Такой призыв к политической независимости натолкнулся на резкую отповедь главного идеолога большевистской партии — Николая Бухарина. Политику и культуру нельзя рассматривать как отдельные сферы деятельности, настаивал Бухарин: «Вы строите здание так, что культурный ряд оказывается независимым от политического. Но такого не бывает». Отношение интеллигенции к революции, по Бухарину, было по-прежнему искажено ее традиционным малодушием. Эта черта была связана с закоренелым индивидуализмом, который мешал буржуазным специалистам по достоинству оценить коллективную силу и историческую мощь рабочего класса. Бухарин подвергал критике нравственные сомнения интеллигенции в отношении политики советской власти, которые он объяснял боязнью испачкать руки. В условиях напряженной классовой борьбы революционная политика не может обойтись без насилия, и в этой ситуации те, кто призывал «не идти по трупам», были фактически скрытыми реакционерами. Но основной упрек Бухарина заключался в том, что, несмотря на клятвы в народолюбии, интеллигенция на самом деле не была привержена освобождению народа, не желая поступиться монополией на его просвещение. Она предпочитала проповедовать и говорить от имени народа, а не позволить ему высказываться от собственного имени. В заключение Бухарин предлагал интеллигенции объединить усилия с властью в «решении грандиозных задач» и воспитании новой интеллигенции: «Мы будем производить образованных людей в огромных количествах, мы станем

выпускать их, как на фабрике... Если мы ставим себе задачу продвижения к коммунизму, то должны внушить всем представление о важности этой задачи» [198].

В последующие годы Денисьевская применила к себе предложенный Бухариным сценарий с потрясающей буквальностью. Она выступила против черт «старой интеллигенции» (как внутри себя, так и в своем окружении), отрицала обвинения в малодушии и заняла «партийную» позицию в отношении политики и строительства социалистического общества. Это был ошеломительный поворот. Как же он произошел?

Неустанная пропаганда советской власти, направленная против «старой» «буржуазной» интеллигенции, несомненно, сыграла важную роль в оформлении выбора и предпочтений Денисьевской. Это преимущественно вербальное насилие к концу 1920-х годов стало шире и последовательнее, достигнув своей кульминации в грубом запугивании, арестах, показательных процессах и казнях, часть из которых затронули ближайшее окружение Денисьевской. Однако это массовое насилие впервые нашло отражение в дневнике Денисьевской лишь в 1930 году, гораздо позже, чем началось ее обращение в «советскую» веру. Решающим моментом здесь было то, что советское видение, очерченное Бухариным, было чрезвычайно привлекательно для Денисьевской. Государство предложило ей способ достижения ее важнейших жизненных целей — поиска непротиворечивого мировоззрения и осмысленной жизненной миссии, соответствующей историческим закономерностям, создания совершенной личности и совершенного общества. Помимо интеллектуального содержания, эти идеи манили своими «объединяющими» возможностями. Именно ради включения в коллектив Денисьевская дистанцировалась от «старой» интеллигенции, которую определяла как проникнутую индивидуализмом и негативизмом,

эгоистичную и маргинальную, при этом она сама стала поддерживать универсализм, проповедовавшийся советской властью. Денисьевская построила для себя новое жилище в здании социалистической субъективности.

Социалистическая субъективность означала разное для разных людей; Денисьевскую она привлекала обещанием жизни в большом сообществе, наполненном теплом, любовью и чувством принадлежности, облегчавшим ее личное одиночество.

Алеша

Силу этих новых идей можно ощутить в меняющихся характеристиках людей, с которыми Денисьевская тесно общалась в середине 1920-х — начале 1930-х годов. Речь идет о Фердинандовых — Василии Владимировиче (в дневнике — «В.В.»), начальнике Денисьевской на опытной ферме, и его жене Юлиане Васильевне («Ю.В.»).

Денисьевская жила с ними в одном доме (а возможно, и в одной коммунальной квартире) и описывала их семью как форпост культуры в бескрайней степи. Когда в конце 1926 года Фердинандовы переезжали в Воронеж, где В.В. получил должность в незадолго до того созданном Ветеринарном институте, Денисьевская с ужасом думала о «тысячах удобств и удовольствий», которых она вскоре лишится, в том числе о пении Ю.В. под аккомпанемент фортепиано и любимых ею вечерних дискуссиях на культурные и политические темы. Новое назначение В.В., замечала она, было очередным свидетельством «сплошной бестолковщины» советской власти. Занятия должны были начаться через неделю, хотя институт существовал только на бумаге и у него не было ни помещения, ни преподавательского персонала, ни денег. «Очень скучно и противно жить сейчас в России!» — заключала Денисьевская. Вполне вероятно, что эти слова были отзвуком возмущения самого В.В. и, таким образом, передают атмосферу их бесед с Фердинандовыми [199].

Но всего лишь через несколько месяцев, когда Денисьевская посетила супругов в городе (на «бывшее Рождество», как она замечала), в ее описании возникли нотки отчужденности, которой в последующие месяцы и годы предстояло лишь усиливаться: «Ю.В. — картинка из модного журнала, В.В. — городской и чужой». Отныне за ее посещениями Фердинандовых следовали критические замечания об их «интеллигентской среде». Она воздерживалась от сарказма и насмешек, с которыми эти интеллигенты комментировали как поведение друг друга, так и общественно-политические события. В то же самое время она, похоже, опасалась высказывать собственные взгляды: «Я устаю от молчания, от вечной невысказанности и от несоответствия своих мыслей с мыслями окружающих. Меня изумляет узко-личная точка зрения, с которой смотрит большинство на жизнь. Нет белого хлеба, нет белой материи — значит жизнь плоха. А то, что она стала для других людей во многих отношениях лучше, это не учитывается. И над всем злорадствуют, над всем иронизируют. Становится очень скучно от этой постоянной вражды ко всему» [200].

По мере того как Фердинандовы становились в глазах Денисьевской представителями старого, отжившего мира, ее симпатии все больше склонялись к молодому поколению коммунистов и специалистов, в котором она видела основную опору советского строя. К такому изменению перспективы ее подтолкнули новые профессиональные обязанности: в 1928 году она стала преподавателем на птицеводческом отделении того же Ветеринарного института, в котором работал В.В. Она не оставила работы на опытной ферме, но была вынуждена чаще бывать в городе и в институте. Именно здесь ее охватило восторженное отношение к молодежи (впрочем, сначала безоговорочное)[201]. Встречаясь с новыми сотрудниками, она автоматически разделяла их на

представителей «старого» и «нового» поколений, заявляя о своем тяготении к новому: «Сердце мое летало к новому». Зинаиде сразу понравилась выделенная ей в помощь стажерка Антонина Татарских, отличавшаяся быстрым умом, практичностью, непоколебимым оптимизмом и веселостью. Практически так же характеризовала в дневнике Денисьевская другого своего молодого коллегу — Ивана Сергеевича Смычникова, 29-летнего специалиста из Ленинграда, откомандированного в Воронеж. Зинаида «внимательно, внимательно» изучала молодежь, усматривая в ней прообразы новых коммунистических людей. «Новый тип, жизненный», заметила она о Смычникове, а Татарских описала так: «Новая она какая-то женщина. Новая искренно, по существу, без фраз». Будучи родом из провинции — Тамбовской губернии и из «глухих пермских лесов», эти люди не отличались такими изысканными манерами, как Ю.В. и ее круг, но были неизмеримо выше их в силу активного участия в общественной и политической жизни и приверженности строительству будущего: «Они преемники того, что я ценила и любила в русской интеллигенции» [202].

В разгар размышлений о молодых и новых людях Зинаида Денисьевская влюбилась в одного из них. Его звали Алексей Степанович Данков; Зинаида называла его Алешей. Они были знакомы уже несколько лет, но лишь после возникновения симпатии к молодому поколению Денисьевская увлеклась им всерьез. Об их отношениях известно много, потому что письма, которые Зинаида посылала Алексею, она аккуратно переписывала в специальную тетрадь. История этих отношений, закончившихся в 1932 году, позволяет нам проследить изменение взглядов Зинаиды на себя и на своего партнера, которого она превратила в икону нового поколения. Описания Денисьевской своих отношений с Алешей были сугубо личными, чрезвычайно эмоциональными, но они

дают возможность изучить социально-политические взаимоотношения между старой, буржуазной и новой, советской интеллигенцией. Семантика личной любви и идейная ориентация были у Денисьевской так тесно переплетены, что вопрос, могут ли они с Алешей понять друг друга и стать любящей парой, был одновременно вопросом о том, может ли она как представительница старого строя обустроиться в новой советской системе.

Алеша был шестнадцатью годами младше Денисьевской; судя по всему, они были знакомы с начала 1920-х годов, когда он пришел стажером на опытную ферму. Тогда ему было около 20 лет, а ей — около 35 [203]. В 1925 году он покинул ферму и уехал учиться в Москву. Подробности их ранних отношений неизвестны, но он писал ей из Москвы, что по-прежнему любит ее и «она для него — все». В доказательство этого он добавлял — на тогдашнем коммунистическом любовном языке, — что «не может перестать заниматься онанизмом». Денисьевская чувствовала к нему жалость. В дневнике она писала, что он неправильно истолковал ее нежность, материнскую привязанность, переводя ее в план сексуальных отношений: «Он не сумел овладеть инстинктом, и дал ему покорить себя». Ее отношение к нему было покровительственным. Она сообщала, что пыталась просветить его относительно различия между простым физиологическим влечением и сложной психологией любви, но в конечном счете отступила: «Он не понимает ничего, когда я пытаюсь растолковать ему себя». Подруге она признавалась, что Алеша утомил ее: когда он приехал из Москвы, то не мог рассказать ничего интересного о столице, потому что все свое время там он посвящал учебе [204].

Алеша исчез из дневника на три года, до сентября 1929-го, когда он приехал в Воронеж на две недели — и сделал Денисьевской предложение. Она отказала ему. В откровенной записи в дневнике Зинаида объясняла: «Ах,

если бы в нем немного переделать — какие-то черточки в манерах и характере... может быть, во мне умерло бы то отчуждение, которое не дает вспыхнуть во мне ответной нежности. Его манера кивать головой при прощании, его неуклюжая фигура, его манера говорить... Мне хочется плакать от боли за него и за себя». Она оценивала Алешу исключительно с точки зрения развитой интеллигентки, стесняясь его простоватого поведения: «Хорошо чувствовать себя в его ласковых сильных руках — наедине, но неприятно видеть его неумелым, без культурных навыков, нескладным, неуклюжим, вызывающим невольно покровительственное отношение к себе со стороны Юлианы Васильевны». Сознательно она уже не хотела считаться с мнениями старой интеллигенции, но не могла не относиться к Алеше так же, как Ю.В., и испытывала в связи с этим отвращение и к своему старому другу, и к себе самой [205].

Общение с Алешей пробудило в ней сельскую учительницу. В письмах, адресованных Алеше в Москву после его возвращения, она обращалась к нему снисходительно, как к старательному, но умственно ограниченному ученику, со смесью поощрения и упрека. Она объясняла, что им было «абсолютно невозможно» добиться взаимопонимания, потому что они «люди разных миров, разных поколений... Последняя встреча что-то перевернула во мне вверх дном, и мне порою хочется плакать оттого, что ты не такой, каким я хотела бы тебя видеть». Она признавала, что он вырос за прошедшие годы в личностном отношении, и хвалила его за «искренность» и «чистоту» чувств, но спрашивала, насколько «тоньше» и «глубже» стала его внутренняя жизнь. Насквозь дидактичное письмо заканчивалось увещеваниями: «Хоть раз в жизни — напиши, пожалуйста, толковое, подробное, искреннее письмо. Исключительно от этого зависит, в какую форму выльются наши отношения в дальнейшем. Не торопись, пиши его лучше несколько дней. Всего доброго».

Кроме того, она замечала, что если она «легко вдруг» обратилась к нему неформально — *ты*, то он должен всегда обращаться к ней формально-уважительно, потому что «“Вы” у тебя значит больше, чем “ты”». Ты всем говоришь “ты”». В единственном сохранившемся письме он действительно называл ее Зинаидой Антоновной. Она же, напротив, неизменно называла его Алешей [206].

Это может показаться неожиданным, но их отношения развивались. В конце октября, за несколько дней до того, как Алеша должен был приехать снова, Зинаида записывала в дневнике, что согласна выйти за него замуж, но лишь «неофициально» и физически, иными словами, не «духовно». В этот приезд она стала смотреть на него по-новому, узнав о его приверженности Коммунистической партии и оценив его общественно-политическое развитие. Денисьевская не могла не анализировать своего молодого супруга: он был одним из новых людей, которых она «читала внимательно и пристально, как новые книги». Особенности Алеши, которые она прежде отвергала или игнорировала (вроде «живости и активности», за которые его хвалил В.В.), или признанные ею искренность, чистота и сила стали находить отклик в ее душе, превращая Данкова в образцового нового человека. Это была решительная переоценка человека, которого еще недавно она считала неуклюжим и невоспитанным мальчишкой [207].

Переоценка Алеши была обусловлена новым взглядом Денисьевской на политику. Политическая сознательность встала на место культуры как мера «развития личности», а в этом отношении Алеша был «в 100 раз развитее» ее. Денисьевская теперь провозглашала, что ей стала ближе политика и особенно политика партии, к которой она прежде испытывала отвращение вследствие ее эгоистичности, жестокости и несправедливости: «Даже классовость — то, что мне всегда как одиночке-интеллекту было менее всего понятно — я начинаю

понимать». В связи с углублением близости с Алешей, писала она, ее политические взгляды изменились: «Мне стала ближе общая жизнь России, стало все в ней понятнее, и хотя я не верю так пламенно и беззаветно, как Алеша, в осуществление всех планов и мечтаний партии, но ощущаю правильность пути ее, внутреннюю правду и справедливость в ее целях». Слово «понимать», которым Денисьевская неоднократно пользовалась в этом контексте, многое объясняет: эта бывшая учительница, долго пытавшаяся давать Алеше уроки культуры и хорошего тона, теперь сама считала его своего рода политическим учителем. Ее взгляд был очень близок к представлению тогдашних партийных лидеров об отношениях пролетариата и интеллигенции. Пролетариат должен действовать как «класс-воспитатель», прививая тем буржуазным специалистам, которые не выступают против советского проекта, идейную твердость и силу воли [208].

В целом изменение ориентации, зафиксированное Денисьевской, соответствовало требованиям, предъявлявшимся Бухариным к интеллигенции: она должна была отказаться от своих культурных прерогатив, пренебречь кастовостью и подчиниться твердому руководству большевистской партии. Зинаида реализовала эту программу буквально, выйдя замуж за молодого коммуниста. Стоит, однако, отметить, что новое описание Денисьевской Алеши и себя самой развивало, а не опровергало ее прежние оценки и в этом смысле было поразительно органично. Она не была «старым интеллигентом», капитулировавшим под давлением и отказавшимся от прежних взглядов. Напротив, ее постоянно обновлявшаяся позиция сохраняла в себе ряд традиционных черт, постепенно включая в себя и новые. Как и прежде, Алеша оставался объектом воспитания («мальчик», «сын»), но вместе с тем он все отчетливее представал перед нею как развитая личность («человек»), как идейный партнер

(«брат») и как потенциально родственная душа («муж») [209].

Замужество Денисьевской привело к ряду конфликтов, стычек и недоразумений. Одно дело изучать молодое поколение коммунистов со страстью этнографа, а совсем другое — вступить в связь с убежденным коммунистом. В одном из первых писем к нему после замужества она спрашивала, как им «совместить, согласить и примирить» противоположные ожидания. Ибо она была старше, «требовательнее в любви, чем ты. Мне хочется более сложных ощущений, более глубоких радостей, большей пропитанности друг другом, чем у нас с тобой получается... А тебе от меня хочется более крепкого здоровья, большей проникнутости твоими интересами, умения спорить и доказывать, большей политической и общественной развитости... Ведь правда?» Денисьевская настойчиво пыталась развить психологическую сторону их любви. Почти все время Алеша находился вдалеке от нее, а потому она выражала свой взгляд на их общее будущее в адресованных ему письмах. Алеша отвечал редко, а когда отвечал, ограничивался краткими записками: «17.12.1929. Вчера получила от Алеши открытку. Опять то же, что обычно: страшно занят, писать некогда и не умеет, не может; со мной кое в чем согласен, кое в чем — нет. Многие мои вопросы ему странны — ему кажется, что все ясно, что все само собой разумеется. И... ни одного теплого слова, самого пустого шутливо-ласкового слова... Не умеет любить».

Большие ожидания возлагала Зинаида на следующий приезд Алеши в Воронеж в феврале 1930 года. Алеша провел с ней всего два дня, но этого было достаточно, чтобы разрушить эти ожидания. Дневнику она доверила мысль о том, что впервые хотела увидеть его совершенно нагим, чтобы испытать его чувство к ней целиком и полностью, но то, что она увидела, заставило ее

распрощаться с любыми надеждами на тайну: это было мужское тело, которым управляли исключительно физиологические влечения. Этот опыт показал Зинаиде, что между ними нет «настоящей любви, которая наполняла бы все существо»: «Это — не “любовь”, а “связь”. Мы все-таки так различны по натуре, что нет у нас настоящей душевной близости, и нет страсти, которая пьянила бы и зажигала огнем тело. Что же есть? У него — удовлетворение “потребности”, а у меня — “игра воображения”». Алеша, в свою очередь, свысока смотрел на «старомодные понятия [Зинаиды] о любви, о выражении ее». Он упрекал Зинаиду в недостатке политической сознательности, а также винил в производственных проблемах опытного хозяйства. В то же время он отказывался обсуждать с нею свою деятельность в партии, тем самым проявляя недоверие к «классово чуждой» беспартийной. По крайней мере однажды она почувствовала себя как на настоящем допросе, когда он спросил ее о местопребывании одного из коллег и она была вынуждена солгать. Так или иначе, союз с коммунистом, преданность которого партии определяла все стороны его жизни, стал вызывать у Зинаиды все большие сомнения [210].

Но интереснее всего то, как Денисьевская интерпретировала неувязки в их отношениях. Неспособность Алеши к «личной жизни» или к «любви», по ее мнению, не только свидетельствовала о его личных недостатках, но и была чертой всего поколения — поколения формировавшихся «новых людей». Это поколение было «обречено», поскольку законы истории требовали, чтобы оно жертвовало личной жизнью ради строительства коммунизма. Его психическое развитие не могло не быть искажено вследствие напряжения, вызванного активным участием в делах государства. В силу исторической необходимости «молодое поколение» переходного периода, юноши и девушки, занятые

строительством нового общества, но еще не могущие в нем жить, были людьми, жертвующими собой, ведущими «какую-то ненастоящую» жизнь, потому что у них отсутствовала развитая индивидуальность. Как писала Зинаида Алеше, «вы “обреченные” историей на спешную очередную работу. За это нельзя упрекать. Но от сознания такой твоей “обреченности” мне грустно» [211].

Такая интерпретация убедила Денисьевскую в том, что она ошибалась, желая сформировать глубокие «психологические» отношения с Алешей. Надежда на их духовную и душевную общность была исторически неосуществима. Алеша был «человеком современного стиля», без развитой души, для которого любовь — в понимании Зинаиды — не имела смысла. Требования исторической рациональности заставляли Денисьевскую ограничить ее психологические потребности и даже отказаться от них: «От Алеши писем нет. Иногда я очень скучаю по нему, иногда, после того как прочтешь вечером газету, понимаю его молчание». Чтение газеты как свидетельства необратимого хода истории напоминало ей об исторической миссии Алеши и обуздывало несвоевременные желания. В свете этого исторического истолкования Зинаиде становилось ясно, что она бóльшую часть времени неправильно понимала Алешу. Теперь она поняла, что партийный стиль, казавшийся ей набором клише и препятствием для личностного самовыражения, на самом деле был его индивидуальным языком, трезвым и основанным на фактах языком современности [212].

История объясняла Денисьевской не только Алешу и молодое поколение, но и ее саму. Она тоже была историческим типом, «зависшим» между старым и новым: «Старому поколению я всегда была чужда по своим взглядам, поступкам и жизни. А на темпы жизни нового поколения у меня нет сил и здоровья». Исторические условия объясняли Зинаиде и ее одиночество: идейную

отстраненность от старого поколения и близость к новому, при биологической (связанной с возрастом, здоровьем, силами) неспособности двигаться вперед вместе с молодежью. Но все же ей было приятно чувствовать себя попутчицей нового поколения. Всю жизнь она трудилась для этого молодого поколения — и это, добавляла Денисьевская, объясняло и то, почему ее чувства к Алеше содержали оттенок материнства [213].

Не только Денисьевская размышляла о молодом поколении в подобных категориях. В романах, медицинских изданиях и во время публичных диспутов того периода обсуждались чрезвычайное напряжение и многообразные срывы, к которым приводила реализация революционного проекта разрушения старых форм жизни и создания нового строя. Поколение молодых, готовых к самопожертвованию коммунистов жило в промежутке, когда старый мир уже отошел в прошлое, а новый еще не был построен. Представление этого поколения в литературе резко отличалось от изображения гармоничных, эмоционально и физически цельных героев, характерного для позднейшей прозы социалистического реализма. В соответствии с их диалектической ролью в прогрессивном историческом развитии герои 1920-х годов были односторонне аскетичными и самоотверженными борцами. Они были покрыты ранами, часто больны и не способны к поддержанию нормальных межличностных отношений. Они являлись не «новыми людьми» социалистического общества, а как бы их предшественниками, прародителями или воспитателями [214]. Денисьевская тоже считала, что законы исторического развития ответственны за возникновение этого неуравновешенного поколения. Отчасти ее характеристика Алеши повторяла содержание сочинений Александры Коллонтай, говорившей о «новой женщине» как «переходном типе», живущей неполноценной жизнью, которую, однако, оправдывало ее

самоотверженное участие в строительстве совершенного и полноценного будущего [215]. Несмотря на то что Денисьевская признавала, что желание добиться настоящей любви от такого «исторически обреченного» человека, как Алеша, является анахронизмом, сам акцент на интимности как критерии личных отношений свидетельствовал о наличии у нее некоторых еще не преодоленных «буржуазно-индивидуалистических» представлений о себе.

В конечном счете союз с Алешей, породивший много надежд и вызвавший не меньше размышлений и борьбы, оказался всего лишь короткой «осенней сказкой», как тоскливо замечала Денисьевская, имея в виду осень 1929 года и, возможно, осень своей жизни. В окончании их отношений была заключена незаметная ей ирония. Если в течение долгого времени она отвергала ухаживания Алеши, опасаясь, что его *культурная* неразвитость будет стеснять ее, то теперь пришла к выводу, что они *политически* несовместимы: люди станут подозревать «какую-то корыстную эгоистическую подкладку» в ее отношениях с «молодым партийным работником с, возможно, блестящим будущим... Мне вспомнились и разные твои слова по поводу заискивания обыкновенных людей перед партийными. И я почувствовала эту твою партийность и молодость твою как непреодолимую стену между нами, созданную условиями жизни, и отступаю перед нею». После разрыва Денисьевская вновь впала в одиночество и отчаяние, но месячное пребывание в санатории позволило ей осознать и положительные моменты их отношений. Во-первых, Алеша преподавал Зинаиде несколько уроков сексуального самовыражения, позволив ей принять как должное прежде подавлявшиеся «физиологические потребности». Но еще важнее было то, что она начала осознавать малозначительность личной любви (и в физиологическом, и в психологическом смысле) и огромность пространства, открывавшегося «по ту ее

сторону», — пространства сублимированной любви к коллективу: «И оказалось, что половое влечение — крошечный кусочек жизни; что любовь — второстепенное чувство; что одиночество уничтожается коллективом... [Я] открыла для себя новый мир в марксизме. Читаю с глубоким интересом» [216].



Портрет Зинаиды Денисьевской.

Источник: Отдел рукописей Российской государственной библиотеки

Денисьевская стремилась найти мужчину своей жизни, но благодаря этому нашла коллектив. Неспособная установить глубокую личную связь, она осознала перспективу товарищеской, коллективистской любви. А учителем, который помог ей перенаправить свою любовь, был ее собственный ученик, тот самый Алеша. Он ушел, но перед уходом увлек ее советской идеей, взглядом на себя, согласно которому личную жизнь следует подчинить жизни

коллектива, и именно коллектив является главным критерием личного счастья и самореализации.

Старое Я под судом

Роман этой неожиданной пары разворачивался на фоне коллективизации, провозглашенной Сталиным в конце 1929 года и приведшей к вспышке насилия в последующий период. «Коллективизацией» эвфемистически определялась последовательная ликвидация традиционного крестьянства и его принудительное превращение в класс индустриализированных сельскохозяйственных рабочих. Кампания была широкомасштабной и решительной и не пощадила ни одного сельскохозяйственного региона страны, но особой свирепостью она отличалась в Черноземье, сельскохозяйственном сердце России, в котором расположен и Воронеж. Мишенью коллективизации был не только традиционный образ жизни, но и значительное число профессиональных агрономов, к числу которых принадлежала Денисьевская. Расцвет советской агрономии пришелся на 1920-е годы. Работавшие на базе опытных хозяйств ученые и инженеры тесно сотрудничали с отдельными крестьянами над внедрением новаторских сельскохозяйственных приемов и орудий и поощряли крестьянство присоединяться к кооперативному движению. Ведущие агрономы, особенно Александр Чаянов и Николай Кондратьев, публично отстаивали представление о том, что социализма в сельском хозяйстве можно добиться путем постепенной и добровольной коллективизации самих крестьян в гармоничной увязке этого процесса с промышленным развитием страны. Но в конце 1920-х годов эти представления и их авторы подверглись ожесточенным нападкам. В открытом письме, опубликованном вскоре после объявления Сталиным полномасштабной коллективизации, Чаянов признал свои ошибки и заявил, что теперь стал понимать «генеральную линию» партии. Тем не менее на Всесоюзной конференции

аграрников-марксистов, открывшейся через несколько дней после этого, его осудили как скрытого проводника капиталистического влияния в сельском хозяйстве. Сталин, выступая на конференции, особо остановился на «антинаучной» и вредной теории Чаянова о том, что капиталистическое по сути крестьянство может мирно «врасти» в социализм. Критика Сталина была в конечном счете, направлена против его бывшего союзника, а теперь превратившегося в политического оппонента Николая Бухарина, поддерживавшего эволюционный путь к социализму и предпочитавшего убеждение физическому насилию. На той же конференции Сталин подал сигнал к раскулачиванию — уничтожению крепких крестьянских хозяйств, необходимых для экономической концепции Бухарина и для опытной работы советских агрономов [217].

До этого момента дискуссия о развитии российского сельского хозяйства не получала особого отражения в дневнике Денисьевской, но показательно, что еще до начала коллективизации она встала на сторону возникавшего колхозного движения, отчасти потому, что в нем участвовало много молодых людей, которыми она так восторгалась. После того как зимой 1930 года развернулась кампания насильственной коллективизации, она ни разу не поставила ее под сомнение, хотя близость к «полю битвы» могла бы заставить ее засомневаться. Хотя она заявляла, что знает о перехлестах и злоупотреблениях («Знаю, что в разных местах разное делается, есть и плохое»), все это, с ее точки зрения, было второстепенно и не должно было отвлекать от «основного фона жизни — серьезного, делового творчества нового быта». И она завершала на оптимистической ноте: «Я страшно счастлива сознанием, что человечество стало на правильный путь. Иная будет жизнь, иные люди».

Денисьевская утверждала это отчасти в ответ на скепсис и отчаяние «старого» поколения, окружавшего ее на работе

и в личной жизни. Но, кроме того, она стремилась сдерживать внутренний голос протеста, который, если дать ему проявиться, мог обнаружить в ней старое Я. Ей надо было преуменьшать жестокость действий властей, чтобы не усомниться в своем обращении в новую веру. Иначе возникавшая неуверенность грозила вернуть ее в стан «старых», «критиканствующих» и «эгоистичных» людей, от которого она изо всех сил пыталась отдалиться. Как бы то ни было, коллективизация прояснила ее позицию решительной защитницы нового строя («нашей власти — власти рабочих и крестьян»), «глубоко разочарованной в теперешней интеллигенции». Говоря о коллективизации, Денисьевская почти всегда поднимала вопрос о старой интеллигенции и новых людях, представляя себя «зависшей» между умирающим старым и возникающим новым строем; ее одобрителные рассказы о колхозном движении неизменно сопровождались резкими замечаниями о критиках власти. Рассказы Денисьевской о коллективизации носили, таким образом, глубоко концептуальный характер, поскольку в них ставились вопросы об универсальном и частном, собственном Я и обществе. Эти вопросы, особенно вопрос о собственной личности, определяли ее восприятие окружающих событий[218].

Впервые Денисьевская увидела колхоз в августе 1930 года. Она отправилась читать лекции о птицеводстве в колхозы Козловского округа, в котором коллективизация проводилась с особой жестокостью. Организатор колхоза в одном из сел округа сказал ей: «Нужно две трети села уничтожить, а потом уж и строить новую жизнь». Вновь приехав туда же несколько месяцев спустя, Зинаида была поражена: «Уехала в Козлов 4-го, вернулась 9-го. Только 5 дней, а кажется, что заглянула в новый для меня мир — вне времени и счета дней». Особенно впечатлили ее близость со студенческой бригадой, которой она руководила, и

«любовь» колхозников к своим коммунаам. Оба эти обстоятельства убеждали Денисьевскую в правильности недавно открытого ею понимания сублимированной любви к коллективу[219].

Новые убеждения Денисьевской подверглись суровому испытанию, когда на нее и на весь отдел птицеводства с катастрофической силой обрушились события второй половины 1930-х годов. Сначала поступили сообщения об обысках на квартирах и арестах ряда воронежских агрономов. Потом 22 сентября в «Правде» был помещен обширный отчет о процессе «вредителей», высокопоставленных чиновников пищеснаба, которые, в сговоре с иностранными государствами, пытались вызвать в стране голод и ослабить советскую власть. Один из подсудимых назвал идейным главарем организации Александра Чаянова. Через три дня газета сообщила, что 48 членов вредительской организации были приговорены к смертной казни и расстреляны. Денисьевскую в этих отчетах «потрясла» не столько казнь, сколько деяния, в которых обвиняли подсудимых: «Очень потрясла раскрытая недавно вредительская организация. Как можно, как можно было профессорам продавать за деньги душу, совесть, честь!.. Понимаю *открытую* вражду, но *подлую, лживую*... о, какая гадость! Какая низость...» [220] Аресты воронежских агрономов как в Сельскохозяйственном институте, так и на областной опытной станции продолжались на протяжении сентября и октября и затронули некоторых из близких коллег Денисьевской. «Весь этот кошмар вредительств, арестов, расстрелов» вызывал у нее отвращение, но она настаивала, что коллеги, с которыми она совместно работала много лет, не могут быть сознательными вредителями [221].

История арестованных агрономов получила сенсационное развитие в начале ноября, когда воронежские партийные руководители объявили о раскрытии

деятельности Трудовой крестьянской партии — подпольной организации, действовавшей на всей территории СССР. Одним из центров этой партии, утверждалось в «Правде», был Воронежский сельскохозяйственный институт. Партия, являвшаяся научным подразделением правой оппозиции в ВКП(б), была глубоко буржуазной: она была против коллективизации и провозглашала курс «кулацко-капиталистической реставрации». В конечном счете она надеялась превратить Советскую Россию в колонию империалистических держав. Одним из руководителей воронежской организации партии (все они были сотрудниками Сельскохозяйственного института) газета называла Павла Писцова.

Дневниковые записи Денисьевской за осень и зиму 1930 года свидетельствуют о том, как сильно аресты поколебали ее моральный дух. Работая бок о бок с В.В., ей было «страшно мучительно» наблюдать, как он в ожидании ареста почти потерял рассудок. Кроме того, администрация института, обескровленная арестами, похоже, не могла противодействовать посягательствам конкурирующих учреждений, стремившихся захватить некоторые его здания. Клеймо «правого уклона» было подобно трупному запаху, который привлекает стервятников. Наконец, Денисьевская написала о том, что больна, что в результате болезни и недоедания ее жизненная ситуация стала отчаянной и что она устала от такой жизни [222].

Как это ни парадоксально, но Денисьевской удалось восстановить свою преданность советской власти, узнав о еще одном предполагаемом контрреволюционном заговоре. В ноябре 1930 года советская печать сообщила о разоблачении Промышленной партии — антисоветского объединения инженеров. Обвинения против ее мнимых членов были такими же сфабрикованными и вопиющими, как и в отношении ТКП, но в данном случае Денисьевская лично не знала обвиняемых, а потому у нее не возникало

противоречий с официальными обвинениями. Кроме того, члены Промышленной партии предстали перед открытым судом. Читая подробные признания подсудимых, Зинаида была «охвачена глубочайшим негодованием и начала чувствовать, что готова идти на всякие жертвы для защиты нашей родины — Страны Советов». Напротив, отсутствие прозрачности в деле ТКП привело к тому, что подозрения по поводу этого дела у нее сохранились[223].

Показательный процесс, о котором рассказывалось в газетах и на лекциях, устраивавшихся партийной ячейкой института, оказал значительное воспитательное влияние на Денисьевскую. К тому времени благодаря Алеше она уже воспринимала свои личные эмоции, особенно стремление к установлению близких любовных отношений, как индивидуалистические импульсы, которые следует отвергнуть, чтобы создать условия для более перспективной товарищеской любви. Процессы позволили ей догадаться и о другом: ее профессиональная жизнь перспективна только в том случае, если она согласуется с общественно-политическими требованиями момента. Наука «скучна и бессмысленна», если она лишь удовлетворяет «собственное личное любопытство»; она «по существу не может быть аполитичной». Вооруженная этим новым представлением, Денисьевская оглядывалась на десятилетнюю работу на опытной станции и поражалась своему неведению и оторванности от жизни. Она завершала запись размышлениями о вредительстве, которое, вероятно, объясняет плохие производственные показатели ее самой и ее коллег: «Все-таки вредительство сказывалось — помню посещение Писцовым фермы. Нашими работами он мало интересовался. И денег никогда у нас не было». Речь шла о том же Писцове, о котором четыре года назад Денисьевская отзывалась как о прогрессивном и культурном европейце, но теперь она видела его в совершенно ином свете — как

бездушного и настроенного против прогресса сознательного вредителя[224].

В ряде частных сюжетов на страницах своего дневника Денисьевская осуждала собственное старое *Я*: она критически описывала профессоров-вредителей, пыталась дистанцироваться от прежних друзей и знакомых и боролась с пережитками прошлого в себе. Этот продолжительный процесс требовал от Денисьевской постоянной работы и бдительности. Ей нелегко давались ответы и решения в связи с чудовищными историями о вредительстве, корыстолюбии и предательстве ее коллег. Только «сознательность», находившая каждому событию надлежащее место в общей картине классовой борьбы и исторической необходимости, могла переработать восприятие невероятных преступлений в нерушимый образец коммунистической веры. Эта «вера», как свидетельствует случай Денисьевской, была не просто наивным или отчаянным бегством от реальности человека, не желавшего соглашаться с «мрачной правдой о сталинизме». На самом деле она являлась сложным и трудным процессом, непрерывной попыткой сохранить непротиворечивое мировоззрение вопреки отдельным наблюдениям, зачастую противоречившим идеологическим требованиям. Денисьевская в определенной мере признавала это и сама, когда в разгар процесса ТКП писала: «В основных своих идеях партия сейчас права, и я заставляю себя проходить мимо мелочей. Нельзя частности смешивать с общим. Это очень трудно — иметь все время широкий горизонт, особенно непартийному человеку». Многообразные заявления Денисьевской о ее вере в советское дело нельзя понимать буквально: они делались как раз для того, чтобы генерировать веру, наличие которой они констатировали. О напряженности и затруднительности этого процесса свидетельствует частое употребление Денисьевской уступительных конструкций: «несмотря на»

то что думают другие, или «вопреки» культурной отсталости режима, она не отступит. При этом важно было проходить мимо «мелочей», «частностей», потому что в противном случае Денисьевская рисковала быть разоблачена как часть проклятого старого мира — как мещанка, лишенная понимания неотвратимого хода истории и необходимости жертв ради построения будущего [225].

Вхождение в советский дом

Размышления Денисьевской свидетельствовали о намерении двигаться вперед и не останавливаться под влиянием видимостей, противоречивших недавно открытой ею сути дела, потому что эти видимости могли не позволить ей идти в ногу с «движением», с воображаемым советским коллективом, который под руководством Коммунистической партии создавал новую жизнь. При этом почти не имело значения, насколько ужасен был заговор, о котором она читала в газетах, или кто из ее коллег был арестован за контрреволюционную деятельность. Любое подобное происшествие являлось помехой ее мировоззрению и нуждалось в объяснении, а если оно окончательно не прояснялось в свете идеологического разума, то его необъяснимый остаток следовало выбросить и вытеснить из памяти. Эта динамика определялась не столько особенностями каждой конкретной «помехи», сколько характером идейности Денисьевской, требовавшей от нее движения вперед. Поэтому полезно переключиться с хронологии сопутствующих событий — культурной революции, коллективизации, процесса ТКП — на попытки Денисьевской понять себя и на то, как эта работа над собой влияла на события и людей, с которыми она сталкивалась. В этой перспективе события, представлявшиеся ей первостепенными, приобретают прогностическую силу. Денисьевская реагировала на них в соответствии с определенной установкой, в соответствии с определенным подходом к видению и пониманию себя, что объясняет

выборочное внимание, уделявшееся в дневнике конкретным темам, понятиям и проблемам. Она смотрела на себя главным образом сквозь призму одиночества.

Одиночество было основополагающим мотивом ее дневника. Она писала о том, что чувствует себя одинокой во всех сферах жизни: в семье, где ей приходилось противостоять родительским ссорам и равнодушию матери; в общественной жизни, где хронически нездоровое тело препятствовало ее стремлению к большей активности; в неудачных связях с мужчинами; во взаимоотношениях с ровесниками и коллегами. Денисьевская всегда считала, что ее одиночество было не просто личным затруднением. Она истолковывала его в историко-социологических категориях как составляющую своего интеллигентского Я. До революции одиночество вызывало у нее даже некоторую гордость — как выражение развитой личности. Ей как новой, передовой женщине было приятно считать, что рано или поздно все люди — особенно мужчины — станут психологически более зрелыми и смогут создать мир подлинно товарищеской дружбы и любви. После 1917 года культура индивидуализма и традиционной интеллигенции приобрела дурную славу, и то, чем она прежде гордилась, превратилось в обузу, удвоив ее одиночество. Развитая «индивидуальность» Денисьевской представлялась теперь признаком ее приверженности отжившему буржуазному строю, тогда как настоящее и будущее принадлежало коллективу. Еще в феврале 1928 года Зинаида жаловалась глубоко верующей подруге на свою «индивидуальность», обрекавшую ее на изоляцию, и выражала надежду, что хотя бы после смерти эта изоляция будет преодолена [226].

Ее «индивидуальность» была исторически обусловленным недугом: Денисьевская была родом из буржуазного прошлого, и это налагало непреодолимые ограничения на попытки освоиться в новой коллективистской эпохе. Именно «с точки зрения

“одиночки-интеллигента”» [227], с позиций сочувствующего наблюдателя она следила за реализацией советского проекта и за созданием в его рамках коллективных форм жизни, в том числе колхозной системы. С сочувствием высказывалась Денисьевская и о предпринимавшихся в СССР попытках упразднения семьи и создания общественных форм ухода за детьми и воспитания, обещавших по крайней мере символическое освобождение от угнетения, которое она испытывала в собственной семье. Но более всего ее привлекали такие коллективные формы, как советские демонстрации и праздничные парады. В автобиографическом повествовании Денисьевской содержатся яркие описания марширующего коллектива и глубокие объяснения ритуальной мощи советских праздников и их способности к перековке личного понимания собственного Я. Парады непосредственно затрагивали центральную жизненную тему Денисьевской. Они представляли в ее дневнике концентрированным символическим выражением коллективизма и как таковые содержали в себе ответ на личное одиночество, которое она истолковывала как исторически predetermined состояние русской интеллигенции. Самый важный вопрос, скрывавшийся за ее описаниями демонстрантов, был вопросом о том, сможет ли она сама присоединиться к маршу [228].

Осенью 1928 года Зинаида сообщила, что посетила демонстрацию в Воронеже, посвященную 11-й годовщине Октябрьской революции, первую подобную демонстрацию, на которой она присутствовала в советское время: Увидела лик того народа, который держит в руках красное знамя. Многообразен лик этот, сер в массе, но верен действительности. Интеллигенция в нем — лишь штрихи. Это не умаляет ее роли, но ставит ее на то место, которого она заслуживает в действительности. Мне давно хотелось посмотреть эту действительность, да не удавалось. А в этом

году вот болезнь привела в город. Судьба... я ничего не идеализирую, не осуждаю, просто смотрю и понимаю, что такое Россия, Революция, «Советская власть» и т.п., что такое бедность, голод, мещанство, что такое непонимание друг другом людей разного развития и разной степени богатства. И вся сложная человеческая жизнь тысячами голосов кричала о себе, и я слушала ее, встречая и провожая колонны демонстрантов. Не умею выразить словами всего того, что услышала[229].

Двусмысленность этого описания поражает. Денисьевская пыталась постичь смысл нового общественного строя, но у нее еще отсутствовало чувство эмоциональной сопричастности с ним. Она признавала маргинальное положение интеллигенции, переставшей быть движущей силой истории, но продолжала смотреть на «серую» массу сквозь призму индивидуализма, заставлявшего ее выделять в общей картине немногочисленных интеллигентов.

Отмечая, что ей все это любопытно, Зинаида подчеркивала, что самого по себе такого любопытства недостаточно для того, чтобы стать активной участницей событий: ведь и в городе она оказалась лишь потому, что ей предстояла операция. Недавно у нее обнаружили рак груди.

Пятнадцать месяцев назад, в разгар романа с Алешей, она рассуждала о коллективе с совершенно иных позиций. Теперь она чувствовала себя единой с массами. Слишком слабая, чтобы выйти на улицу, она могла ощутить эту сопричастность только благодаря радио и газете:

«Починили радио, и я опять наслаждаюсь ощущением общей жизни. Сегодня — 12-я годовщина создания Красной Армии. И вчера, и сегодня — невольно вместе со всеми я праздную, горжусь, надеюсь и верю». Починка радио была крайне важна для нее, потому что радиорепортажи исцеляли ее растревоженную душу. Всего за три дня до этого Денисьевская жаловалась на то, что «испытывает глубочайшее личное одиночество» на ферме, где все

сотрудники буквально вцепились друг в друга. Праздник Красной армии позволил ей освободиться от удушающей атмосферы и обстановки скандала. С восторгом она «слушала гул тысяч голосов, ощущала свое единство с ними. Было радостно»[230].

Но все же пока она занимала лишь промежуточное положение между старым и новым мирами. Сам факт того, что она продолжала испытывать приступы личного одиночества, свидетельствовал об отделенности Денисьевской от мира коммунистов, по идее свободного от каких бы то ни было собственнических, эгоцентрических чувств. Она завидовала преданным активистам, восприимчивым к «партийному духу», который наполняет их «ощущением братства, товарищества» и в конечном счете разрешает извечную проблему «человеческого одиночества». Главным обстоятельством, препятствовавшим ее включению в коллектив советских активистов, была телесная слабость: «У меня нет физических сил войти в их ряды. Я обречена на одиночество до смерти»[231].

В последний период жизни Денисьевская избавилась от остатков индивидуализма и стала коммунисткой, пусть и не формально, но душой и телом. Этот завершающий шаг облегчался тем, что в январе 1931 года она стала работать в Воронежском сельскохозяйственном институте, где читала лекции и руководила аспирантами по таким темам, как «диалектика птичьего яйца» [232]. Ежедневное общение с молодежью и перегруженность работой утвердили ее в ощущении собственной вовлеченности и исторической миссии. 1 мая 1931 года она отмечала праздник солидарности трудящихся вместе со студентами и преподавателями всего города. Впервые в жизни она участвовала в демонстрации, наслаждаясь долгожданным единством с коллективом:

Вчера — вечернее заседание, — митинг в бараке; сегодня — демонстрация. Усталость мешает чувству радости. Но зато — ощущение органического слияния со всеми празднующими этот день. Вот все мы, наш Вуз, все СХИ (сельскохозяйственные институты. — *Й.Х.*), все Вузы, рабфаки и школы, все рабочие, все красноармейцы — все мы — одно. У нас всех наши общие, именно наши, знамена, флаги, плакаты, лозунги. Мы все идем вместе — одни и те же песни, мысли... На этот раз я не видела «лика народного», потому что я сама была клеточкой его, была каплей в потоке, я делала «1-е мая», а не смотрела на него со стороны. Это ощущение полного слияния с такой многотысячной организованной массой — дает незабываемые воспоминания. Это «первое мая» — первое в моей жизни... Я очень устала. Часа три ждали, быстро шли. Мне стало почти дурно... С трудом добралась домой, но я не жалею. Может быть, первое и последнее мое участие в демонстрации, но я счастлива, что оно было.

Говоря о себе как о «капле в потоке», Денисьевская гордилась именно бескрайним морем, а не ничтожной каплей. В ее замечаниях о растворении личности в огромном целом нет ни следа печали. Как и в других местах, она называла главным обстоятельством, не дающим ей слиться с марширующим коллективом, свое немощее тело. Действительно, плохое здоровье заставляло ее до предела напрягать свои физические силы в трудной обстановке советской жизни. Но главной особенностью собственного тела Денисьевская считала не его болезненность, а то, что оно способствовало эгоизму и обособлению. Она неизменно противопоставляла инстинктивные телесные влечения голосу своего социализированного сознания: чем слабее становились первые, тем отчетливее и определеннее звучал второй. Ее развивающееся сознание обладало способностью смягчать болезненные ощущения тела и увлекать его за собой. Но

соотношение могло быть и противоположным. Когда в связи с арестами агрономов Денисьевская поведала дневнику свои сомнения в правильности партийной линии, ее больное тело привлекло внимание к себе, действуя в согласии с «раненым» мировоззрением. В этой обстановке тело вновь получает первое и последнее слово: «Очень болит сердце. Это мешает правильно мыслить и чувствовать. Сейчас положение нашего отдела катастрофическое — ни хозяина, ни денег, ни людей. С фермы нас гонят, жить нам негде, работать негде и некому... Я стараюсь убедить себя в неизбежности перетерпеть этот переходный момент, похоронить старое, помочь рождению нового. Но боли в сердце отнимают всякую бодрость».

Отметив, что В.В. жил в предчувствии ареста и был «до такой степени болен нервно, что это уже переходит в психоз», Денисьевская добавила, что она и сама страдает от страшных головных болей, но поклялась не поддаваться «депрессии»[233].

Денисьевская не могла вообразить себе, что уступит низменным телесным силам. Ее тело постоянно намекало на свою автономию, но это была нежелательная и буржуазная автономия, она поддерживалась людьми, в которых говорило презренное влечение тела, а не сознание. Признания в собственном отчаянии сопровождались в дневнике Денисьевской призывами возобновить борьбу за «правильное» мировоззрение. Если такие призывы и не следовали прямо за признаниями, то они наверняка появлялись в следующей дневниковой записи. 6 ноября 1930 года, впервые узнав о ТКП, Денисьевская призналась, что эта новость кажется ей абсурдной и непонятной. На следующий день отмечалась годовщина революции, и ритуалы этого праздника — демонстрация и музыка, передававшаяся по радио, — позволили ей вернуться к «генеральной линии»: «Целый день касаюсь праздника

через радио, через ферму; целый день ощущаю себя не одинокой... Как много изменилось за эти 13 лет — и во мне, и вокруг меня! Переродилась жизнь! И я переродилась!» [234]

Денисьевская писала, что ею руководит физическое и эмоциональное стремление «ощутить человеческое общество как индивидуум, многоклеточный, сложный, но вполне определенный». Социалистическое общество давало ей чувство общности, приют, новый дом. Благодаря радиотрансляции первомайских демонстраций она могла оказаться «в гостях у всей России... Только накануне тосковала, что не к кому пойти [отметить праздник], а в этот день была в какой-то своей семье — на Красной площади в Москве, у Дворца труда в Воронеже, в Баку, в Киеве и др. местах». Коллектив советских людей был ее новой семьей, территория Советского Союза — новым домом, места проведения парадов — «коридорами» этого дома, а цели советского проекта — сущностью ее «подлинной», вновь открытой личности [235].

В марте 1933 года, вскоре после открытия своего нового дома, Денисьевская умерла. Точные обстоятельства ее смерти неясны, но дневник свидетельствует о том, сколь неприятны они, скорее всего, были. Она жаловалась на постоянную «сосущую боль в желудке», опасаясь рака. В конце 1932 года ей значительно понизили зарплату, и ходили слухи, что институт вообще закроют. Денисьевская кратко записывала: «Очень трудно сейчас жить, продуктов на базаре мало, и все очень дорого. А от плохого питания нет здоровья, нет сил, и падает бодрость духа» [236]. Осенью и зимой 1932—1933 годов наступил великий голод, рукотворное бедствие, вызванное непреклонным стремлением большевиков изъять как можно больше зерна из сельского хозяйства, находящегося в плачевном состоянии. Болезненнее всего голод ударил по зернопроизводящим районам Советского Союза, в том

числе по Центрально-Черноземной области. Хотя привилегированные поставки хлеба в города продолжались, нормы потребления с каждым днем становились все ниже. С точки зрения Денисьевской, эти печальные факты были «минусами» жизни, угрожавшими ей окончательным подрывом здоровья и изоляцией от коллектива. Но сколь бы велико ни было напряжение, она не отступала: «Голод, холод и болезни кругом... И совершенно непонятная политика партии... Как же жить? Текущим моментом? Творчеством очередных мелких дел, как жила я раньше, до того момента, когда поверила в смысл и величие гигантской стройки нашей страны? Этого мне мало теперь» [237].

Последняя запись в дневнике Денисьевской датирована 19 февраля 1933 года. В ней сообщается, что институт вскоре будет ликвидирован, а сотрудники уволены без продуктовых карточек и трудоустройства, что в условиях голода угрожало почти верной смертью. Эта краткая запись завершалась словами: «Упрекать некого и не за что... Нездоровится. Болит голова и горло... Хорошо, что еще жив отец. Все-таки есть хоть моральная поддержка. Как-нибудь проживем... до смерти». Судя по всему, Денисьевская умерла 16 марта 1933 года в возрасте 45 лет. Даже в контексте массовой гибели и страданий ее судьба выделяется своим трагизмом, потому что она была убита безжалостными действиями партии, в которой, как она полагала, нашла свое новое прибежище. Трагедия усугублялась ее согласием быть «смятой» политическими событиями, если они воплощают в себе неотвратимое историческое развитие, — именно таким пониманием законов истории в конечном счете обосновывалось понимание жизни, к которому она пришла [238].

Через сорок четыре года после смерти Зинаиды Денисьевской пакет с ее дневником очутился в Отделе рукописей Ленинской библиотеки в Москве. Его отправила туда Вероника Хризонович, двоюродная сестра Зинаиды,

одно время работавшая вместе с нею на опытной ферме. Представившись в сопроводительном письме «коммунисткой с 1947 года», Хризонович представляла дневник вниманию архива как описание трудного, но в конце концов увенчавшегося победой пути к сознательности, овладению собой и самосовершенствованию. В тексте Хризонович не было и следа реально произошедшей трагедии; он представлял предсмертное прозрение двоюродной сестры как определяющий момент в ее жизни: «Когда читаешь последние тетради дневников З. Денисьевской, сердце наполняется радостью — видя, как ярко разгорелось гражданское лицо этого человека, советского человека, горячо увлеченного процессом образования и воспитания раскрепощенного народа, строящего новую жизнь. Она сама росла вместе с ним и строила новую жизнь». Письмо датировано 13 июня 1977 года. Из пометки архивиста становится ясно, что Вероника Хризонович умерла 24 ноября 1977 года. Похоже, что в последние дни своей жизни Хризонович и сама пыталась приобщиться к светлому, чистому и цельному видению социализма, обрести которое стремилась ее двоюродная сестра [239].

Перевоспитавшаяся интеллигенция

В одной из самых ярких сцен дневника, описании демонстрации воронежских педагогов и учащихся 1 мая 1931 года, Денисьевская представляла свое слияние с коллективом как момент торжества самореализации. На демонстрации, а также на митинге в бараках днем ранее она могла ощутить на себе действие принципа коллективизма, к осуществлению которого стремилась в последние годы жизни, работая с людьми и для людей, ощущая себя в согласии с их мыслями и песнями, участвуя вместе с ними в победоносном марше истории. В этот период барачной жизни и коллективизации ей не приходило в голову отстаивать независимость своей личности, защищать свое

хрупкое тело или отдавать предпочтение личной точке зрения. Если бы она так действовала, то это не только противоречило бы ее жизненным целям, но и дискредитировало бы ее в социальном и нравственном отношении, показывая устаревшей и эгоистичной, одним словом — буржуазной. Тем не менее личная автономия не была чем-то ей незнакомым, ведь в молодые годы она объявляла себя «индивидуалисткой». Она поддерживала идеал советского коллективизма не из-за отсутствия интеллектуальных альтернатив.

Солидаризация с советской системой обещала Денисьевской прежде всего передышку в пожизненном одиночестве. В ее дневнике стремление к совершенству и общности неизменно проявлялось на фоне меланхолии. Но затрагивая соответствующие темы, Зинаида имела в виду не только собственное положение и утверждала, что одиночество укоренено в интеллигентском представлении о себе в эпоху усиления роли масс и коллективов. Она всячески старалась подчеркнуть историческую значимость своего одинокого существования. До революции она называла себя новой женщиной, опередившей свое время, а потому одинокой. Это одиночество усилилось вследствие большевистской классовой политики, клеймившей ее наряду с другими представителями «буржуазной» интеллигенции как классово чуждый, маргинальный и «эгоистичный» элемент, обреченный на уничтожение. В то же самое время большевистская система предлагала заманчивую перспективу разрушения кастовых перегородок и присоединения к возглавляемому партией движению при условии признания его исторической правоты.

Соотнесение записей в дневнике Денисьевской с резкими общественно-политическими поворотами первых трех десятилетий XX века в России дает редкую возможность осознать преемственность нравственной позиции представителя интеллигенции, сначала

осуждавшего, а потом поддержавшего советскую власть. В течение всей жизни Денисьевская развивала свою «личность», определяющими свойствами которой считала целостное, универсальное «мировоззрение» и приверженность работе во имя исторического прогресса. В конце концов она стала считать советскую власть единственной законной носительницей этих ключевых интеллигентских ценностей. В ее дневнике большевистский проект создания нового человека предстает одним из вариантов заботы о совершенствовании личности, отличавшей русскую интеллигенцию в целом. Дневник Денисьевской показывает, что эта общая программа создавала условия для серьезного творческого взаимодействия между большевистским государством и представительницей «старой» интеллигенции.

Эта общность, однако, не должна скрывать того, что установление советской власти означало для Денисьевской серьезный разрыв в представлении о себе как о личности и гражданке. Активистский импульс большевистского проекта выкинул ее из привычного состояния пассивного томления и заставил работать над собой, причем не только на страницах дневника. Когда до революции Денисьевская представляла себя «новой женщиной», то это практически сводилось к позе, игре «воображения». В позднейшие годы она начала коренным образом переделывать себя в личном, профессиональном и общественном отношении, пытаясь вести (а не только воображать) коллективное существование. В понимании большевиков личность была насквозь политизированной сферой. Денисьевская, напротив, обычно проводила различие между политическим действием и внеполитической сферой «личной жизни», но впоследствии уже не смогла сохранять такое различие. К началу 1930-х годов все стороны ее жизни, даже вопросы любви и пола, стали зависеть от политики.

Эта глобальная трансформация проявляется в ее отношении к дневнику. В политически накаленной обстановке после революции 1905 года она оправдывалась тем, что недостаточное освещение в дневнике политических событий вызвано не безразличием к ним, а боязнью, что дневник будет конфискован полицией. Описание личной жизни представлялось ей более безопасным: «Душа моя, сердце, чувства полиции не нужны, ей интересны мысли относительно общественной жизни». Еще в 1925 году Денисьевская считала свой дневник политически неинтересным. Кому было интересно «отражение живой женской души», особенно в 1920-е годы, когда от психологии в массовом порядке отказывались, заменяя ее физиологией? Пять лет спустя Денисьевская уже не прибегала к таким оценкам. Как и прежде, ее дневник оставался фиксацией наиболее глубоких чувств, надежд, тревог и сомнений, но теперь она осознавала их политическое значение. В политической системе, оценивавшей людей в соответствии с цельностью и искренностью их «веры в общее дело», жизнь отдельной «души» переставала быть лишь личным приложением к общественно-политической позиции, а становилась центром политизированного Я. В последних размышлениях Денисьевской об одиночестве и любви, прошлом и будущем различие между политическим и неполитическим исчезало, как исчезала и граница между личностью и обществом. Мир ее личной жизни расширялся «по крайней мере, до пределов СССР»; в своих мыслях и чувствах она «стала жить общими с СССР — интересами, надеждами, мечтами» [240].

ГЛАВА 5

СЕКРЕТЫ КЛАССОВОГО ВРАГА. СТЕПАН ПОДЛУБНЫЙ

Сталинская кампания индустриализации привела к перемещению миллионов человек из деревень и сел обширной советской страны в растущие города и на расширяющиеся стройки первой пятилетки. Для реализации проекта превращения России в социалистическое государство был необходим приток рабочей силы. Помогая созданию нового мира, эти крестьяне-рабочие должны были переделывать и самих себя. Сталинские плановики рассматривали создававшуюся промышленность как огромное предприятие по переработке человеческих душ. Крестьяне поступали на это предприятие как «старый человеческий материал», отягощенный традициями, предрассудками и «узко смотрящим на мир» эгоизмом. Под совместным влиянием коллективного труда и сопутствующего политического воспитания они должны были трансформироваться в граждан социалистического общества. Руководители заводов и фабрик охотно принимали на работу крестьян, стремившихся к лучшему будущему или просто покидавших деревни, классовая борьба в которых делала их жизнь невыносимой [241]. Однако партийные функционеры были встревожены. Они подозревали, что в неконтролируемый поток, устремившийся из сел в города, могло затесаться множество кулаков — представителей эксплуататорской сельской буржуазии. Они опасались, что, прикинувшись сознательными рабочими, чтобы обмануть власти, эти кулаки на самом деле сопротивлялись духу социалистического перевоспитания и замыслили свержение советской власти. Кулаки были, выражаясь языком того времени, «волками в овечьей шкуре». Единственно эффективный подход к ним заключался в срывании ложных масок и обнажении их истинной сущности. Одним из способов разоблачения затаившегося врага была проверка у рабочих документов. Но документы могли оказаться поддельными. В конечном счете лишь большевистская

бдительность, постоянное зондирование дел и мыслей отдельных людей могли сказать, кто прошел испытание на соответствие требованиям бесклассового социалистического общества, а кто не прошел его [242].

Одним из таких «волков» был Степан Подлубный. Кулацкий сын, он покинул украинское село во время коллективизации и поселился в Москве, выдавая себя за человека с пролетарским происхождением. Подлубный вел дневник с 1931 по 1939 год, а затем с 1941 года до конца жизни. В нем зафиксированы напряженные попытки «раствориться» в новой среде в условиях охоты на ведьм и непрерывного разоблачения классовых врагов. Но дневник Подлубного свидетельствует и о том, что автор рассматривал свою новую жизнь не только как притворство, но и как возможность добиться полной перестройки своей личности с целью стать полноценным членом социалистического общества. Будучи жертвой большевистских репрессий, он превращал себя в субъекта революционной переделки собственного *Я*. Главной проблемой, стоявшей перед Степаном, было противоречие между силами старого и нового, борющимися в нем. Подлубный надеялся на то, что в его случае сработает нацеленность большевистской идеологии на признание членом социалистического общества любого, кто искренне и всем сердцем участвует в его строительстве. В то же самое время он видел, с какой яростью режим преследует противников, и понимал опасность того, что его могут объявить врагом. Определяющими в его жизни в 1930-е годы были два противоположных вопроса: можно ли успешно скрыть свою классовую враждебную сущность и избежать подозрений советской власти и может ли со временем человек из кулацкой семьи действительно превратиться в сознательного советского гражданина? [243]

Подлубный родился в 1914 году в крестьянской семье в нынешней Винницкой области Украины. Единственный

ребенок, он рос в семье, которая на протяжении многих поколений обеспечивала себя за счет сельского хозяйства и ремесла и накопила значительное богатство. После смерти деда Степана, Евдокима, каждый из его сыновей унаследовал по пятнадцать десятин земли, большей части которой они лишились во время революции. Отец Степана, Филипп Евдокимович, призванный в 1914 году на военную службу, вскоре оказался в плену у австрийцев, а по возвращении домой в его распоряжении остались лишь четыре десятины земли. Тем не менее в советском селе 1920-х годов Подлубных считали представителями эксплуататоров крестьян — кулаков. Дома Степан говорил по-украински и ходил в украинскую семилетку, в которой русский язык изучался как иностранный. В учебе он сталкивался с трудностями, потому что отец каждую весну забирал его из школы работать в поле. Ежегодно во время летних каникул семья нанимала учителя, который проходил со Степаном пропущенные части школьной программы [244].

После запуска ускоренной индустриализации в конце 1920-х годов официальная политика в отношении кулаков становилась все более враждебной. Весной 1929 года правительство ввело принцип «самообложения», передав местным советам право определять количество зерна, сдаваемого каждым местным хозяйством в счет налога. Сельсоветы собирали большую часть зернового налога в кулацких хозяйствах, что вело к их разорению. Хозяйства, не выполнявшие заданий, безжалостно штрафовались. В большинстве случаев выходом из этого порочного круга оказывалась конфискация всего хозяйства. Так произошло и с семьей Подлубного. В свидетельстве, выданном Березовским сельсоветом в октябре 1929 года, указывалось, что имущество Филиппа Подлубного состояло из дома, амбара и четырех десятин пахотной земли. Далее в свидетельстве отмечалось, что Подлубный не владел

никакими сельскохозяйственными орудиями и передал предыдущей весной весь свой инвентарь в сельсовет в счет обязательств по поставкам зерна [245].

Зимой 1929/1930 года собственность Подлубных была полностью экспроприирована. Из-за невыполнения обязательств перед государством Филиппа Подлубного арестовали и подвергли трехлетней административной высылке в Архангельск. Для жены Филиппа, Ефросинии Даниловны, и Степана пока все обошлось, но им пришлось покинуть дом, переданный семье «крестьян-пролетариев», и поселиться в брошенной лачуге на краю села. В опубликованной массовым тиражом статье Сталин повторил, что целью коммунистического государства является «ликвидация кулачества как класса» и избавление советского общества от «самых грубых, жестоких и безжалостных эксплуататоров», «пауков», «упырей» и «кровососов», обогащавшихся за счет трудящихся [246].

Весной 1930 года мать Степана уехала из Березовки и прибыла к мужу в Архангельск, воспользовавшись документами своей двоюродной сестры, которая была ее тезкой, но не была причислена к кулакам. Степан оставался в Березовке, чтобы закончить выпускной класс в школе. Как сын кулака, он мог быть законно исключен, но директор школы разрешил ему доучиться. Директор тайно выдал ему табель, но потребовал, чтобы он как можно скорее покинул село. И в самом деле, как узнал Степан несколько лет спустя, сельские комсомольцы готовились арестовать его. С помощью друзей Степан достал билет на поезд до Архангельска. В поезде милиция отобрала у него все документы, и казалось, что поездка окончена. Но благодаря удачному стечению обстоятельств он в конце концов добрался до Архангельска и отыскал родителей [247].

Следующей зимой (1930/1931) Степан с матерью покинул Архангельск, собираясь вернуться в родное село. К тому времени Степан уже изготовил себе документы,

свидетельствующие о его пролетарском происхождении. На Киевском вокзале в Москве они встретили украинских крестьян, которые рассказали им об арестах членов кулацких семей и предостерегли от дальнейшей поездки. Мать с сыном остались в Москве и начали искать работу. Через несколько месяцев оба трудоустроились на постоянной основе: мать Степана стала дворником, а сам Степан — учеником школы фабрично-заводского ученичества (ФЗУ) при типографии «Правды». Они поселились в центре Москвы в сыром подвале дома, двор которого убирала Ефросиния Даниловна. По иронии судьбы дом, в котором проживали эти «замаскированные классово чуждые элементы», располагался на Краснопролетарской улице.

Вести дневник Подлубный начал перед самым поступлением в школу «Правды». Первые его страницы были заполнены письменными упражнениями — текстами русских народных песен, которые, как отметил Подлубный, в апреле 1931 года продиктовал ему знакомый. За надиктованными песнями следовали еще несколько песенных текстов, сочиненных самим Подлубным. Песни входили в репертуар традиционной русской народной культуры и обычно были посвящены приключениям и любовным романам молодых людей. Подлубный, вероятно, сочинял песенные тексты, чтобы добиться беглого знания русского языка, который тогда еще оставался для него иностранным. Как свидетельствуют многочисленные грамматические ошибки и украинизмы в ранних дневниковых записях, русский язык давался ему не без труда.

Собственно дневник начинался в конце тетради и был озаглавлен «Дневник по Работе Бригады им. 9-го Съезда В.Л.К.С.М и Ежедневные записи Бригадира и ученика Ф.З.У. Ст.[епана] Фил.[ипповича] Подлубного». Первая запись датирована 31 мая 1931 года. В этот день Подлубный

был назначен руководителем бригады, состоявшей из десяти рабочих. В записях за следующие дни и недели отмечались его личные достижения — вступление в комсомол, назначение редактором стенгазеты, — а также оценивалась деятельность бригады. В частности, Степан обращал внимание на тех, чьи производственные показатели были неудовлетворительными. Одна сотрудница по фамилии Бородако упоминалась в дневнике почти ежедневно: то она опаздывала на работу, то пела и танцевала в типографской столовой, а то слишком много времени мылась в душевой. В стенгазете появилась статья с осуждением поступков Бородако под заголовком «Пой, Бородако, пой...». Подписанная «В.», она, вероятно, была написана лично Подлубным. В дневнике зафиксирована реакция на статью самой Бородако: «Если б я знала, кто это будет “В.”, я б ему морду побила». Стремясь исправить поведение Бородако, Подлубный направил к ней домой двух девушек из своей бригады. Они доложили, что мать у Бородако «очень добрая», но с дочерью, которая «ходит гулять» по ночам и «ведет себя на улице очень плохо», справиться не сумели. На общественном суде, устроенном комсомолом, Бородако был публично вынесен выговор; ее поведение на несколько дней улучшилось, но потом все вернулось на круги своя [248].

С самого начала новой московской жизни Подлубный активно включился в реализацию политики, проводившейся советской властью. Он превозносил нормы дисциплины, социалистическое соревнование и его достижения, призывая сотрудников не только соблюдать нормы на работе, но и принять их во всех сферах жизни. Случай с Бородако не мог не заставить Степана осознать значение собственных производственных показателей для его общественного положения. Если бы его работа не была образцовой, его могли бы подвергнуть такой же проверке, что и Бородако, а она, не исключено, выявила бы

происхождение Подлубного. Его новая жизнь проходила на тщательно контролируемой общественной сцене[249].

Начиная с 1932 года характер дневника Степана изменился: много места в нем стало уделяться личным надеждам, стремлениям и опасениям. Прежде, объяснял Подлубный в одной из ретроспективных записей, его дневник был «объективен» и касался только «внутрипроизводственной жизни». Теперь же Степан поставил перед собой задачу вести полноценный дневник, «для общего развития». Это изменение отчасти произошло под влиянием литературного кружка, в который Степан записался вскоре после поступления в типографию «Правды». Упоминая о кружке, Подлубный призывал себя писать лучше, свободнее и литературнее, и это свидетельствовало о том, что в дневнике он стал оттачивать также и писательское мастерство. В годы первой пятилетки литературные кружки возникали массово. Как деятели Компартии, так и беспартийные писатели призывали к использованию литературы в кампании индустриализации, чтобы она служила целям мобилизации и преобразования. На предприятиях создавались кружки; в них опытные писатели прививали навыки литературного мастерства рабочим, которым предстояло сделаться летописцами как строительства социализма, так и собственного преобразования в ходе индустриализации [250].

Мечтая стать писателем, Подлубный видел свою задачу в создании личных «воспоминаний», которые станут также летописью «30-х годов». Степан хотел, чтобы в этих воспоминаниях, которым он собирался придать форму романа, был отражен конкретный опыт сына кулака в советской системе. У него даже имелось название для этого замысла: «Жизнь отживающего класса, его перерождение и применение к новым условиям». Подлубный упоминал и об образцах, которые помогут ему написать воспоминания, —

произведениях Александра Герцена, Льва Толстого и Максима Горького, родоначальников традиции автобиографии в русской литературе, высоко ценивших в СССР писателей, «прогрессивных в общественном отношении». В воспоминаниях он хотел «вспомнить жизнь не только в узком смысле семейственности, но и вспомнить политический ход дел, сравнить их с тем, что будет тогда, с настоящим, а сейчас конечно для меня мечтательная будущность» [251].

Чем дольше Подлубный вел дневник, тем больше он ценил еще одно его достоинство: дневник стал «единственным другом» Степана. Только дневнику он мог доверить тайны своего прошлого, а также опасения и сомнения, сопровождавшие его попытку вписаться в новое общество. Он надеялся освободиться от своих переживаний, выплеснув их на бумагу. Дневник служил ему «помойной ямой», в которую Степан «выплескивал помои, скопляющиеся в [его] душе». В другом месте он описывал дневник как «зеркало души» или как средство показа «изнанки человека». Тайна Подлубного и ее фиксация в дневниковых записях препятствовали задуманному использованию дневника в качестве средства совершенствования писательского мастерства. Другие члены кружка показывали свои дневники и читали их вслух. Подлубный же вел дневник тайно и даже скрывал его существование, прекрасно осознавая, что может случиться, если записи попадут в чужие руки [252].

Используемый с разными целями — как «помойная яма» для бесполезных мыслей, как средство развития сознания, как инструмент эмоциональной разрядки, как лучший друг, — дневник служил Подлубному и для решения более общей задачи. Он был лабораторией его личности. Стремление стать чище, освободившись от «черных» мыслей, сочеталось с желанием написать менее мрачные воспоминания. Оба замысла являлись свидетельствами того,

что он хотел стать полноценным членом советского общества, и были связаны с его личной борьбой за нравственное самосовершенствование. В конечном счете в стремлении Степана, этого «классово чуждого элемента», достичь политической интеграции, общественного признания и самоуважения общественные и личные цели сливались воедино.

Проблема кулацкого прошлого

Двусмысленное общественное положение Подлубного было результатом неразрешенного противоречия в отношении большевиков к потомкам кулаков и другим классово чуждым элементам. На протяжении всего периода нэпа советское государство, пусть неохотно, но признавало существование классового общества, в том числе пережитков «старых», «феодално-капиталистических» отношений. Однако политически кулаки, как и бывшие священники, полицейские и помещики, были лишены избирательных прав [253]. Когда режим развернул кампанию индустриализации, было официально решено «ликвидировать кулачество как класс». Это оправдывалось тем, что в бесклассовом социалистическом обществе не будет места капиталистам-эксплуататорам. Начиная с зимы 1929/1930 года имущество крестьянских хозяйств, признанных «кулацкими», последовательно экспроприировалось, а несколько миллионов кулаков подверглись административной высылке. Крестьяне-кулаки были разделены на три категории в соответствии со степенью опасности, которую они предположительно представляли для советской власти. Членов первой группы, «контрреволюционный кулацкий актив», сочли неисправимыми, закоренелыми врагами советской системы, и тысячи из них казнили. Кулаки второй и третьей категорий считались менее политически активными и, стало быть, менее опасными; их высылали в более или менее

отдаленные места в зависимости от степени выраженности у них антисоветских настроений [254].

Советские законы начала 1930-х годов предполагали, что кулаки последних двух категорий могут быть реабилитированы, если они честно проработают на благо советского государства по крайней мере пять лет. Таким образом, режим в принципе не возражал против включения кулаков и особенно их детей в общество, если они продемонстрируют, что избавились от своей классово чуждой сущности. Эти законы исходили из убеждения, что люди могут самостоятельно переделать себя, и отражали претензию большевистской идеологии на универсализм. Это объясняет, почему советские чиновники не были склонны определять классовую сущность генеалогически и навсегда объявлять кулаками кулацких детей. Принадлежность к общественному классу определялась в первую очередь личной волей, независимой от социального происхождения. Подлубный, как и многие другие классово чуждые элементы, рассчитывал именно на такое «волюнтаристское» истолкование класса, когда шел на работу в типографию. Он надеялся, что, поработав в пролетарском окружении, «выварившись в рабочем котле», сможет отбросить свою кулацкую сущность, очиститься и усвоить подлинно пролетарскую идеологию[255].

Однако этой интегративной ориентации большевистской идеологии противостояло множество дискриминационных практик, направленных против классово чуждых элементов. До середины 1930-х годов они не могли получать высшее образование и постоянно рисковали быть уволенными с работы. Такое отношение к ним было связано с подозрением, что классово чуждым элементам внутренне присуща враждебность к советской власти и что полностью переделать себя в лояльных граждан они не могут. Власть проводила неистовые кампании по повышению бдительности и стремилась разоблачать классово чуждые

элементы, которые, как считалось, затаились на предприятиях, в вузах и в органах государственного управления [256].

Дневник Подлубного показывает, что на неоднозначные сигналы, подававшиеся государством, он реагировал не менее сложным образом. Он знал, что должен скрывать свое прошлое, а значит, прибегать к внешнему притворству того или иного рода и что необходимость в этом особенно остра в случаях усиления репрессивных мер режима. В то же самое время он с радостью отмечал любые свидетельства того, что классово чуждые элементы могут искупить свои грехи, если искренне работают на благо социалистического государства. Однако, стремясь включиться в строящееся общество, он сталкивался с серьезной проблемой: утаивание им своего происхождения не могло не быть истолковано властями как разрушительное и контрреволюционное деяние [257]. Хуже того: сочетание стратегии утаивания и стратегии трансформации подрывали веру Подлубного в собственную искренность. О двусмысленном отношении Степана к своей новой идентичности говорит и название романа о классово чуждом элементе, который он собирался написать, — «Перерождение и применение к новым условиям». Если первое понятие указывало на подлинное внутреннее преобразование, то второе предполагало приспособление к качественно изменившейся действительности и ставило вопрос об изначальной ценности стремления к преобразованию.

Находясь в Москве, Подлубный все время, за исключением краткого затишья в середине 1930-х годов, жил в обстановке «охоты на ведьм», направленной против скрытых классово чуждых элементов и контрреволюционеров. Как такая «большевистская бдительность» проявлялась в быту, можно судить по дневнику шахтера Владимира Молодцова. Отношение к

нему другого рабочего — крестьянина по происхождению — побудило рьяного комсомольца Молодцова разоблачить того как кулака: «Зашел разговор с Суворовым о производстве, и он заявил: “Я приехал сюда подработать и экипироваться”. Вот она, крестьянская психология! Видит только свое и только в себя верит. Правда, не все крестьянство такое... Теперешние колхозы воспитают новых людей. У меня сейчас мелькнула мысль: не подкулачник ли он, Суворов, не для разложения ли рабочих он сюда послан? Все может быть». Через несколько дней Молодцов отметил, что не может подтвердить свои подозрения в отношении Суворова. Затем он обратил гнев против другого рабочего-крестьянина, получившего из села посылку с салом (безусловное свидетельство кулацкого происхождения). Этот товарищ угостил Молодцова салом, а потом попросил взамен немного табаку. Молодцов был разгневан: «Вся эта история мне ясно представила картину, как кулак подкупает крестьян... Только нас не подкупишь, мы теперь насквозь кулацкую душу видим» [258].

Подлубный в своем дневнике затрагивал ту же тему, но смотрел на нее с противоположной стороны. Он на собственном примере описал опасения человека, подозревающего, что он окружен врагами, жаждущими разоблачить его вновь обретенную идентичность как притворную. Когда комсомольская ячейка Подлубного организовала летний лагерь в колхозе в ближнем Подмосковье, он как секретарь ячейки предложил, чтобы все вставали перед рассветом, работали до 11 часов, а потом прерывались до предзакатного времени во избежание палящего солнца. Другие, желавшие попозже вставать утром, возражали, но в конце концов его позиция возобладала. В дневнике Подлубный упрекнул себя за эту инициативу. Окружающие могли заподозрить, что он родом из села, и приступить к расследованию его происхождения.

В следующие дни Степан решил работать небрежнее, чтобы не обнаружилось, что он опытный крестьянин [259].

Его дневник полон напоминаний о том, что не следует уступать желанию доверять товарищам свои личные проблемы и заботы. Это «излишнее» и опасное побуждение, поскольку оно позволяет другим узнать о его противоречивой внутренней жизни. Еще более опасны встречи с людьми, которые были знакомы с Подлубным в прежней жизни. Однажды Степан и его мать столкнулись на улице с «Вовой и Иттой», своими бывшими соседями, сбежавшими в Москву от голода, свирепствовавшего на Украине. Подлубные помогли им найти кров в столице. Степан сообщал, что хотя он был счастлив увидеть людей с родины, но одновременно ощущал опасность подобных контактов: «Если в своей губе не удержишь слов вредных для тебя, то в чужой морде тем более не удержать. Придется годить, ладить на все лады. Связанность, связанность по рукам и ногам. Нехорошо, нехорошо, очень нехорошо». В то же самое время Подлубный жаждал знать, о чем говорят и думают окружающие, чтобы чувствовать потенциальную опасность и как можно быстрее реагировать на нее. Напоминая себе о том, что всегда надо быть «профессионально осторожным и наблюдательным», он погружался в ту же герменевтику подозрения, что и Молодцов, с тем отличием, что его целью была защита от большевистской бдительности [260].

Еще одним способом избежать коварных ловушек новой общественной среды было подражание поведению людей, выглядевших сильными и популярными. Подлубный считал, что, добившись такого же «авторитета», он станет менее уязвимым. В первой части дневника ролевой моделью для Подлубного служил комсомольский секретарь: «Я точно копирую его поступки и нравы». В последующие годы секретаря заменил директор ФЗУ, которого Степан

называл «зеркалом, в которое [он] ежедневно жадно заглядывает» [261].

Техники приспособления Подлубного оказались очень эффективными. Как в училище, так и на производстве он вскоре зарекомендовал себя образцовым учеником. Его успехи проявлялись в высоких оценках в ФЗУ, стремительной карьере в комсомоле и собственной удовлетворенности тем, что он приобрел авторитет среди товарищей. Осенью 1931 года, через несколько месяцев после поступления в типографию «Правды», его фото появилось в многотиражке, и это стало признанием достижений Степана как бригадира и ударника. Другие фото свидетельствуют о поразительных внешних переменах, происшедших с Подлубным после приезда в Москву. Крестьянский мальчишка, который в 1929 году на фотографии, сделанной по окончании начальной школы, выглядит младше и меньше одноклассников, к зиме 1932 года превратился в модно одетого городского юношу. На фотографии 1932 года Подлубный запечатлен вместе с двумя другими рабочими типографии «Правды». Его товарищ слева (на фото — справа) обут в крестьянские валенки; у второго ученика помят воротничок. Подлубный, стоящий между ними, одет лучше всех и выглядит самоувереннее. У всех троих похожие кепки, надетые, чтобы сойти за современных молодых горожан. На сделанной в 1934 году фотографии Подлубного вместе с соучениками по «Краснознаменной 5-ой гр[уппе] школы “Правды”» Степан — единственный человек в костюме и галстук. На пиджаках у него и у еще одного учащегося — значки; очевидно, это награды за спортивные достижения или за ударный труд.



Степан Подлубный (в центре) и другие ученики-наборщики. 1932 г.

Источник: семейный архив Марины Гавриловой, Москва



Степан Подлубный (слева, в галстукe) с группой учеников средней школы «Правды». 1934 г.

Источник: семейный архив Марины Гавриловой, Москва
Но фотографии говорят далеко не все о жизни Подлубного. Из дневника становится ясно, что трудовые успехи почти не развеивали его тревог. Внешнее согласие с новой средой требовалось Степану, чтобы выжить, но такого согласия было недостаточно для облегчения его сомнительного положения классово чуждого элемента. Более фундаментальной задачей было измениться внутри, привести свои внутренние установки в соответствие с внешним обликом гражданина социалистического государства. Изменение собственного *Я* требовало чего-то большего, чем облачение в новую одежду.

Подлубный сформулировал проблему своих внутренних установок в дневниковой записи, посвященной его производственным показателям в типографии.

Предположив, что для настоящего пролетария в социалистическом государстве трудовая самореализация естественна, а потому не требует особых усилий, он спрашивал себя, почему работа вызывает у него такое напряжение:

Не веселят мои успехи в производственной работе. Мысль, которая не покидает меня никогда, которая высасывает из меня крови, как из березы сок, это о моей психологии.

Неужели я буду отличаться от других? От этого вопроса у меня волосы становятся дыбом, и тело прерывается мелкой дрожью. Я сейчас средний человек, не принадлежащий ни к одному, ни к другому, и который легко может скатиться в ту или иную сторону. Но уже больше есть шансов на положительное, с примесью отрицательного. Как эта примесь [отрицательного] мучает чертовски[262].

Проблемы Подлубного коренились в «психологии», в силе, выявленной Молодцовым у другого шахтера, которого он заподозрил в утаивании кулацкого происхождения. Слово «психология» означало неорганизованные психофизические силы, действующие внутри индивида; «психология»

отличала одних индивидов от других еще до начала их сознательной самоорганизации. В случае Подлубного «психология» означала определяющее влияние его кулацкого происхождения, проникнутость сельской культурой. Этой «старой болячкой происхождения и воспоминания», на взгляд Степана, было обусловлено все плохое, отсталое, реакционное в нем[263]. Подлубный считал, что эта отрицательная сторона индивидуальности является внутренним врагом, угрожающим завладеть им. Но в нем была и положительная сторона, представленная силами сознания, которые могли оказать формирующее и преобразующее воздействие на психологию. Укрепление сознательности было способом обретения пролетарской идентичности и, следовательно, превращения в нового человека. Подлубный находился «посередине» между отвергнутой прежней и предполагаемой будущей идентичностями.

Одним из путей развития сознания было чтение и усвоение основополагающих советских текстов: «Спрашивал у руководителя политкружком, что лучше начинать раньше читать, Маркса или Ленина. Говорит, что попутно с одним надо читать другое. Очень многозначительно. Советует работать с карандашом. В Марксе, в его философии, столько, говорит, темного, труднопонимаемого, такие глубины, что читаешь третий раз, и все-таки открывается многозначительность нового» [264]. Однако через несколько недель, чувствуя бессмысленность предприятия, Подлубный удалил Маркса из своей программы. Упорнее он читал романы и посещал музеи и театры — в надежде, что это поможет ему правильно мыслить и действовать. Особенно разочаровало его прочтение трех томов «Жизни Клим Самгина» Максима Горького. Подлубный восхищался Горьким как ведущим советским писателем и сторонником идеи о том, что классово чуждые элементы можно перевоспитать

трудом. Но роман он счел «скучным, монотонным, туманным» и выразил сожаление по поводу того, что на протяжении всей книги Самгин остается «неопределенной» личностью. Подлубный надеялся найти в советской культуре образцы решительных действий и ясных мыслей, а не только воспроизведение «неопределенной» и «бессистемной» жизни, которую продолжал вести он сам [265].

Внутреннее желание и внешняя необходимость приспособливаться были неразрывно переплетены в сознании Подлубного. Это единство внешнего принуждения и внутреннего желания хорошо отражено в ретроспективной записи о прежней жизни в селе, «когда в мою судьбу не вмешивались никакие ни внешние, ни внутренние силы». Внешнее, принудительное влияние коллективизации, по словам Подлубного, пробудило в нем внутреннее стремление к самообновлению. В прошлом, прибавлял Подлубный, его «кругозор был очень и очень невелик». В последующие годы произошла «реконструкция жизни и обстановок»[266].

Но переходя от прошлого к настоящему и будущему, Подлубный не проявлял такой уверенности в перспективах преобразования своей личности. В частности, он не знал наверняка, насколько «закоренелой» и насколько способной к изменениям была его психология. Даже программа овладения культурой, составленная им с целью самообновления, могла быть истолкована как признак чрезмерной одержимости культурой, характерной для классово чуждых элементов. Эти сомнения и неверие в себя ярко проявились в конце 1933 года, когда Подлубный перевелся с производства в библиотеку типографии. Степан писал о том, что мечта его детства осуществилась: он оказался среди книг и работает в «культурной» среде, в окружении образованных коллег. Кроме того, этот переход приблизил его к реализации цели стать писателем. Но

Подлубный беспокоился о последствиях того, что он отвернулся от производства. На производстве он находился среди рабочих, и обретение пролетарского сознания там было почти гарантировано. Библиотека, напротив, была пристанищем классово чуждых элементов, стремившихся найти безопасную нишу в советском обществе. Подлубный тревожился как по поводу того, что государство станет особенно активно искать врагов именно в таких местах, как библиотека, так и по поводу того, что новое место работы предоставляло ему меньше возможностей для общественно полезного труда, а следовательно, и для перевоспитания: Все же, сколько волка ни корми, он в лес смотрит. Так и я. Сколько я ни стараюсь себя перевоспитывать, все же ухватки ненужного человека встречаются. Правда, они мелкие, для постороннего человека незаметные, но для меня наблюдающего за собой, все это заметно. Как я ни остерегаюсь, ни держу язык за зубами, но все же одна из ухваток, зашедшая по глубине, может меня погубить, может быть, даже навсегда [267].

По прошествии нескольких лет, наполненных учебой и переделкой своей личности, Подлубный все же продолжал считать себя «волком в овечьей шкуре». Отчасти это было связано с масштабом и трудоемкостью самой задачи трансформации укоренившейся психологии. Но еще важнее то, что Степан осуществлял проект преобразования собственного *Я* в условиях репрессий советского государства, вынуждавших его утаивать — и тем самым сохранять — «волчью натуру», от которой он стремился избавиться.

Субъектность и государство

В начале своего дневника Подлубный писал о том, как он усвоил важный урок, о котором нельзя прочесть в книгах и который может быть преподан лишь в реальной жизни. Дело происходило в типографии «Правды», где часто случались простои, связанные с тем, что

неквалифицированные или уставшие рабочие неправильно обращались с оборудованием. За этими остановками производства обычно следовали призывы разоблачить «вредителей», намеревающихся свергнуть советскую власть. Как руководитель неоднородной по составу бригады, Подлубный находился в опасном положении. Кроме того, ему постоянно досаждал старый технический инструктор, который, очевидно, не выносил энергичной и весьма заметной деятельности Степана в комсомоле. Подлубный называл типографию «омутом, где каждый встречный и поперечный [ему] кажется врагом», жаждущим разоблачить его как классово чуждого вредителя. После того как Степана обвинили в порче типографской машины и секретарь комсомольской организации вынес ему выговор, он решил, что открыл основное правило: «Я выработал новый подход... Надо всегда тянуть руку в интересах государства, производства в частности, а не смотреть на настроения ребят и самому заражаться ими» [268].

Подлубный ощущал государство как решающий фактор своей судьбы. Именно для государства он трудился — на производстве, в комсомоле, в училище, и на основе этого государство определяло его идентичность. Настойчивая работа «в интересах государства», был уверен Степан, не даст ему стать жертвой производственных интриг и в конечном счете обеспечит включение в советскую систему. В своем дневнике Подлубный описывал государство как внешнюю и даже враждебную силу, к которой ему, маленькому и постоянно уязвимому человеку, надо приспособливаться. Но выражал он надежду и на то, что рано или поздно проблема его сомнительной классовой идентичности будет решена, позволив ему солидаризоваться с целями советского государства на основе искренних личных убеждений.

Молодой типографский ученик писал о перспективах солидаризации с государством в то время, когда власти

гораздо активнее очищали советское общество от нежелательных элементов, чем принимали «классово чуждых» в свое лоно. Особенно ясно это стало Подлубному в связи с двумя событиями осени и зимы 1932—1933 годов. В октябре 1932 года на Степана вышли сотрудники тайной полиции (ГПУ) и предложили стать их осведомителем. По всей вероятности, ГПУ обратило внимание на Подлубного благодаря его достижениям как бригадира и комсомольского активиста. Удивительный парадокс: стремясь скрыть сомнительное прошлое, Подлубный преуспел как советский гражданин, и на основании этих успехов ГПУ поручило Комсомольцу (такая кличка была ему присвоена) разоблачать скрытых классовых врагов вроде него самого.

Как осведомитель Подлубный должен был периодически и в разных местах — в дворницкой или в помещении ГПУ — встречаться с резидентом. Ему пришлось подписать документ о согласии с условиями работы и о том, что он будет держать свое поручение в тайне. В краткой дневниковой записи, сделанной через несколько дней после вербовки, он сожалел, что «завязался» с ГПУ (сам выбор слова — «завязался» — свидетельствовал об элементе личной инициативы и о реальности упущенной возможности отказаться от сотрудничества) [269]. Согласие стать осведомителем соответствовало его философии постоянной защиты интересов государства, при этом отказ от сотрудничества с ГПУ мог испортить впечатление о нем как о преданном советском гражданине и вызвать еще более глубокие подозрения.

Контакты с тайной полицией сделали его жизнь крайне напряженной. Необходимость контролировать каждый жест и каждое слово усиливалась теперь тем, что ему пришлось иметь дело непосредственно с теми органами, которые профессионально занимались разоблачением скрытых врагов. В ноябре 1932 года Подлубный сделал в дневнике

запись о том, как они с матерью сидели в своей подвальной комнате, а перед ними на столе лежала повестка [в ГПУ]: «Может быть, последний вечер сидели вместе, а там в разные стороны. Один за другого знать не будем (Мама). Страшно. Жутко, а сказано шутя, со смехом. Эх, была, не была. Судьба играет человек[ом], говорит старая пословица. Второй час ночи, а спать и не думаем». К тому времени, когда на следующий день Степан должен был явиться по повестке, его мать, натянув пять юбок, собрала все свои пожитки. Если бы он не вернулся, она планировала отправиться к ссыльному мужу в Архангельск. Однако, как оказалось, Степана вызвали на одну из регулярных встреч в качестве осведомителя [270].

Отношения Подлубного с тайной полицией (в большей степени, чем какая-либо другая государственная организация, воплощавшей в себе революционный принцип очищения) постоянно напоминали ему о собственном «нечистом» происхождении. ГПУ подталкивало Степана к размышлениям о себе именно в тех категориях, которых он стремился избегать, а именно в категориях противопоставления личных мыслей и внешнего поведения. В результате его расколотое сознание все более отдалялось от идеала цельной социалистической личности, думающей и действующей последовательно, в соответствии с внутренними убеждениями: «Ежедневная скрытность, секрет внутренности, не дают мне возможности стать человеком независимого характера. Я не могу выступить открыто, резко с свободными мыслями. Приходится говорить только то, что говорят все... Невольно создается характер подхалима — потайной собаки. Мягкий, поддакивающий и трусливый. До чего это пошло, противно» [271].

Работа Подлубного на ГПУ не сводилась к утаиванию и приспособлению. Его отчеты о «настроениях» молодых рабочих типографии «Правды» развивались из наблюдений,

которые он сделал еще до вербовки. В дневнике за 1932 год неоднократно упоминается один из членов его бригады, рабочий по фамилии Анисин. В мае Анисин вызвал скандал, случайно набрав контрреволюционный лозунг. В комсомоле принялись расследовать его происхождение, а Подлубный, как бригадир, получил выговор. Несколько позже Анисин, который тоже посещал литературный кружок, прочел Подлубному отрывки из своего дневника. Истолковав эти фрагменты как прямое выражение характера Анисина, Подлубный пришел в ужас: «Какая у нас противоположность в записях. Какой он эгоист. Удивительно. Он хочет быть человеком, который на все окружающее смотрит безразлично. Это же убийственно скучно. Он, правда, какой-то человек неопределенный, его, правда, не определишь, что он за фрукт, не узнаешь его мыслей». В ноябре ГПУ поручило Подлубному наблюдать за Анисиным, который тем временем был исключен из комсомола. Отчет Подлубного недоступен, но в дневнике он охарактеризовал поведение Анисина как «сомнительное и лживое», безусловно опираясь на свою предшествующую оценку «неопределенного» сотрудника [272].

Подлубный отмечал в дневнике, что «контрреволюционные» настроения широко распространены среди молодых рабочих типографии. Он призывал ГПУ вмешаться и активно заняться «воспитательной работой». Подлубный воспринимал ГПУ как нравственный авторитет, призванный скорректировать сознание заблуждающихся людей и таким образом восстановить их пошатнувшееся душевное здоровье. Подлубный поддерживал и то, что ГПУ уделяет внимание «социальной гигиене». Однажды он сообщил резиденту, что в парке к нему подошел мужчина, желавший вступить с ним в половую связь. Подлубный назвал фамилию мужчины, которую он специально выяснил. В ГПУ проявили интерес к этому случаю и заверили Подлубного, что подозреваемый

будет вскоре «разоблачен». Отчеты Подлубного не ограничивались нравственным здоровьем советской молодежи. Среди его документов сохранился донос на мастера Захарова — инструктора, который травил Степана, когда тот был учеником. Подлубный сообщал, что Захаров — закоренелый «реакционер», который говорит только о недостатках советской жизни, не упоминая о достижениях. Кроме того, он упрекал Захарова в том, что мастер пытается «привить свои старые взгляды» ученикам, часть из которых попали под его влияние и стали проявлять «пассивные» и «отсталые настроения». В целом эти отчеты показывают, что политическая классификация советского общества, которой руководствовалось ГПУ, и личные взгляды Подлубного на себя и свое социальное окружение в значительной степени пересекались и взаимодействовали. Донесения Подлубного в ГПУ с их отчетливым акцентом на нездоровых, негативных, пассивных, реакционных взглядах молодежи читаются как продолжение его дневниковой работы по самопреобразованию, посредством которой Степан пытался избавиться от собственных «черных мыслей»[273].

Вскоре после того как Подлубный был завербован ГПУ, они с матерью столкнулись с еще одной серьезной проблемой. В конце декабря 1932 года правительственным постановлением для всех горожан в СССР были введены паспорта. Сделав обязательной прописку, советская власть пыталась взять под контроль миграцию крестьян в города. В связи с кризисом в сельском хозяйстве, вызванным коллективизацией, и первыми признаками голода на селе крестьяне стали в беспрецедентных количествах переезжать в города, что угрожало истощить ресурсы системы продовольственного снабжения. Но паспорта вводились и для того, чтобы очистить города от «классово чуждых» элементов и привязать крестьян, не получавших паспортов, к создававшимся колхозам [274].

Проверочные комиссии, состоявшие из сотрудников ГПУ и Московского угрозыска, ходили из дома в дом, проверяя документы и изымая их у «лишенцев» и крестьян, сбежавших из колхозов. В одном лишь доме Подлубного милиция изъяла сорок продовольственных карточек и распорядилась, чтобы их владельцы немедленно покинули город. Подлубные уже на всякий случай собрали вещи, но им продовольственные карточки были оставлены, вероятно из-за правдоподобия их поддельных документов и из-за того, что у обоих имелась работа в Москве. Однако, как и всем остальным, Степану с матерью пришлось ждать и гадать, получают ли они паспорта [275].

В дневнике Подлубный пытался определить цель кампании паспортизации. Проблема состояла в выяснении государственного интереса, чтобы подчиниться ему и таким образом спастись. В записи, сделанной сразу после того, как Степан впервые услышал о новых паспортах, заметна растерянность: «Как жить?! Как быть?! Где увидеть зеркало себя? Как вести себя... Как я выгляжу!!! Почему об этом нигде не прочитаешь!?» Позднее, после того как комиссия завершила проверку его дома и Подлубный услышал, что говорят о паспортизации другие, он решил, что понял смысл кампании. Чистка была мерой социальной защиты, «сортировкой, людечистилкой новейшей конструкции. Пропускает сквозь свои решета им нужных, а в числе мусора остаются люди с богатым прошлым». Государство продолжало «отсев» и «отбрасывание» тех элементов общества, которые не были ему нужны для строительства социализма. Группами, подлежащими чистке, были «лишенцы, спекулянты, пьяницы, воры» и вообще «люди с богатым прошлым», которых отличали изъяны психологии, не позволявшие им заниматься общественно полезным трудом. Этим людям Подлубный противопоставлял образцовых «честных граждан», серьезных и трудолюбивых, преданных

интересам государства. Он надеялся, что паспортизация приведет к заключению между государством и гражданами четкого общественного договора, требующего от каждого индивида более напряженной работы, но взамен предоставляющего ему определенные преимущества — не только продовольственные карточки и зарплату, но и, что важнее, членство «в общей семье СССР» и, стало быть, ощущение неприкосновенности собственного Я, санкционированной большевистской властью [276].

Но дневник свидетельствует и о том, сколь неустойчивой оставалась подобная субъективность, определяемая полезным трудом, в условиях непрерывного поиска скрытых врагов. Молодая женщина, работавшая с Подлубным, пыталась совершить самоубийство, приняв крысиный яд, после того как была разоблачена как дочь лавочника и над нею нависла угроза выселения из Москвы. Цель паспортизации сформулировал партийный функционер, выступавший в типографии: следовало «вычистить» 50% учеников. Подлубный предположил, что такая же доля жителей Москвы будет выселена из города [277]. Эти события заставили Степана изменить взгляд на себя. Уверенный, что не прошел бы через «людечистилку», он стал относиться к себе как к «мусору», который в процессе отсева будет отделен от «отборных семян». В той же записи он упоминал о том, что они с матерью поменяли «тактику применения». Это имело смысл, поскольку если Подлубный знал, что чужд новому строю, то единственной эффективной тактикой оставался обман властей. Его новая тактика состояла в «скрытном подхалимаже к руководству», а тактика его матери — в том, чтобы быть лучшей ученицей. И все же Степан боялся, что они обречены: «[Мы] пошли на провал. С расчетом 95 проигранных и только 5 выигрывает» [278]. Когда он чувствовал, что государство готово реабилитировать бывших «классово чуждых», Подлубный считал себя

хорошим и преданным советским рабочим. Но как только с включением «классово чуждых элементов» в советское общество, как представлялось Степану, было покончено, он определил себя как несоветский элемент, порченное зерно, могущее оказаться в социалистической почве лишь обманом или случайно.

В апреле 1933 года Подлубный и его мать получили новые паспорта. Казалось, это укрепит их идентичность хороших рабочих, добившихся одобрения государства. В восторженной записи, сделанной несколькими неделями позднее, Подлубный уже не подчеркивал необходимости лицемерить перед советской системой или приспособливаться к ней, потому что сам стал ее неотъемлемой частью. Его личные интересы и интересы государства слились воедино:

В последнее время на общественную работу я стал смотреть не как на карьеризм, а как на систему, как на составную часть моего тела, моего существования, как на хлеб, который необходим для того, чтобы существовать, не как в борьбе за существование, а как на систему по желанию. И с каждым днем эта постоянность, система, нужная для организма, укрепляется, утверждается. Стал заметно перевоспитываться из карьеризма к системе нужной, как пище, которой уделяю часы, без напряжения. Это хорошо. Этому я рад [279].

Однако через некоторое время у Степана вновь возникла уже знакомая неуверенность. Атмосфера бдительности — на работе, в комсомоле и в ГПУ — не стала менее напряженной и в любой момент могла уничтожить всю структуру, выстроенную Подлубным. Неразрешенность вопроса об идентичности ярко проявилась на обложке его нового дневника за 1934 год. На этой обложке, выполненной в стиле конструктивизма, был изображен большой красный вопросительный знак и было написано: «Опять мучительно повисаешь как удав» [280].

В стихотворении, сочиненном Подлубным
приблизительно в это же время, представлена кошмарная
картина его публичного разоблачения. Больше всего Степан
боялся остракизма, одинокого существования за пределами
мира, который он понимал в категориях коллектива и
общественной полезности:
Бюро сегодня.

И обо мне вопрос стоять там будет.

И страх берет,

Быть может, я вернусь оттуда

Уже не Подлубным?

Приятным парнем

И для всех авторитетом, а

Выйду известным,

Для всех страшным,

Никому ненужным,

Одиноким на весь свет [281].

Рано или поздно, как было известно Подлубному, вся эта «игра» должна была закончиться выявлением его происхождения. И самое позднее, когда это должно было произойти, — при призыве в армию после завершения учебы. Обязательная проверка происхождения не могла не обнаружить обмана, на котором была основана его жизнь. Событие, которого он боялся, случилось в октябре 1934 года. Степан, как обычно, встречался с резидентом ГПУ в присутствии его начальника. «Неожиданно для данного момента, мне задают эти ужасные вопросы. Не знаю почему, но я сильно не растерялся. Покраснел, ничего не отвечая, внимательно прислушиваясь. Много вопросов не задавали, больше укоряли, как я понял, зачем скрыл от них. <...> Весь разговор длился не больше 10 м... Поговорили очень свободно и хладнокровно» [282].

Одной из причин того, почему Подлубный не утратил хладнокровия, была публикация несколькими днями ранее постановления о восстановлении в правах кулаков и других классово чуждых элементов, которые могли доказать, что в течение пяти лет они искренне трудились на благо советского государства. В свете этого постановления Подлубный посчитал, что последствия его разоблачения будут не слишком серьезными. В крайнем случае, как он ожидал, государство четко укажет ему, как себя вести. Он приветствовал разоблачение как «исторический момент» и «конец “нелегальной” жизни». Но сотрудники НКВД (ГПУ было переименовано в НКВД летом 1934 года) сказали Степану лишь то, что его не накажут, пока он будет добросовестно работать на органы [283].



Титульный лист дневника Степана Подлубного за 1934 г.

Источник: семейный архив Марины Гавриловой, Москва

Весной 1935 года один из коллег Подлубного был разоблачен как кулацкий сын. На удивление, с ним ничего не случилось. С точки зрения Подлубного, это было свидетельством изменения политики государства в отношении «классово чуждых» элементов. Как ему представлялось, реальные трудовые показатели стали значить теперь больше, чем прошлое. Степан опять поверил, что настал «исторический момент»: «Может, отсюда начнется складываться мое новое мировоззрение. Мысль о том, что меня сделали таким же гражданином общей семьи СССР, как и все, обязывает меня и относиться к тем, кто это сделал, с любовью. Я уже нахожусь не у врага, которого я опасюсь каждую минуту, каждое мгновение, где бы я ни был, я не опасюсь окружающего меня. Я таков же, как и все, и поэтому должен быть

заинтересован в разного рода делах так же, как заинтересован хозяин для своего хозяйства, а не как наймит для своего хозяина» [284].

Вновь и вновь Подлубный выражал надежду на то, что он в корне изменится, как только добьется «легального» положения в Советском Союзе. Основным источником проблем он видел именно в «нелегальном» положении. Оно заставляло его считать свое окружение враждебным. Он мог приспособиться к формам его жизни, но не мог органически влиться в него. Преодолев порог легализации, Подлубный надеялся обнаружить в себе новое чувство непринудительной и полной преданности государству, любви к нему. Одновременно он возвысился бы над своей укоренившейся психологией, стал членом советской семьи и приобрел цельное мировоззрение, как и надлежит социалистической личности.

Осенью 1935 года Подлубный был принят в московский 2-й Медицинский институт. На протяжении многих лет он мечтал стать студентом, но происхождение мешало ему поступить. Биография каждого абитуриента тщательно проверялась, и Подлубный опасался, что власти выявят его кулацкое прошлое. Однако имея рекомендации комсомола и типографии «Правды», Степан поступил в институт. Внешне он теперь полностью соответствовал идеалу нового социалистического человека. Перспектива стать врачом представлялась ему вполне реальной [285].

Формирование общественной среды

Желание Подлубного изменить себя в значительной мере определяло то, какие связи он устанавливал, а какие разрывал. Стремление к новой форме жизни, которая бы соответствовала измененной «психологии», которую он надеялся в себе выработать, влияло на его отношения с друзьями и коллегами в Москве, а также с прежними знакомыми с Украины; оно драматическим образом вмешивалось в личную и семейную жизнь Степана. В

первую очередь это стремление изменило его отношения с отцом — Филиппом Евдокимовичем. В детских воспоминаниях, описанных в различных местах дневника Подлубного, отец предстает жестоким человеком, который постоянно наказывал своего единственного сына. Момент освобождения наступил, когда он расстался с «тираном» после того, как отца приговорили к административной высылке во время раскулачивания. Этот момент был поворотным пунктом в жизни Степана: только после него он начал приобретать сознание и «расти». Безусловно, это была ретроспективная оценка, сделанная через три года после ареста отца [286]. Думал ли таким же образом Подлубный об отце в момент ареста, неизвестно. То, что Степан и его мать решили воссоединиться с Филиппом Евдокимовичем на месте высылки, свидетельствует скорее о противоположном. Но самоопределение Подлубного как горожанина в сталинской России требовало именно такого резкого отрицания прошлого, воплощенного в фигуре отца.

По окончании трехлетней высылки в апреле 1933 года Филипп Евдокимович приехал в Москву и воссоединился с семьей. Он устроился работать грузчиком и получил временную прописку. Его ненадежное положение в Москве было легальным, но тот факт, что он жил с женой и сыном, угрожало разоблачением их социального происхождения. Степан упрекал отца в том, что он безрассудно подвергает опасности семью. Но еще больше Подлубного раздражало то, что отец не изменился. Несмотря на возможность переделать себя в период высылки, он остался «старым», «отсталым» и «ненужным». Степан называл отца «ненужным стариком» не из-за его биологического возраста (тому было 45 лет), а из-за того, что Филипп Евдокимович даже не пытался стать общественно полезным советским гражданином. На протяжении всего дневника Подлубный подчеркивал свою интеллектуальную и эмоциональную отчужденность от отца. Называя его «отцом по созданию и

чужим по воспитанию» или даже просто «бывшим отцом», он противопоставлял кровную связь отношениям, основанным на сознательности. Сознательные отношения вытесняли узы родства и, таким образом, оправдывали претензии Степана на принадлежность к новому строю, несмотря на кровную связь с прежней жизнью [287].

Описание Подлубным отношений с отцом представляло собой нечто большее, чем простое отражение борьбы юноши за свою идентичность; использовавшиеся им понятия и акценты можно поставить в более широкий культурно-исторический контекст. Степан интерпретировал свою противоположность отцу при помощи важнейших для битвы за индустриализацию категорий, противопоставляя «старые» элементы общества «новым», «отсталые» — «передовым», мрак — свету. Все его упреки отцу были связаны с главными революционными требованиями роста, внутреннего изменения и служения обществу. Отец не только не «работал над собой», не укреплял свой характер, но и не стремился быть полезным обществу. Более того, в прошлом он препятствовал «росту» сына, забирая его из школы пасти коз.

Но хотя Степан осуждал отца на революционном языке большевизма, он относился к нему не так, как надлежало идейному большевику. Партия призывала молодых людей, особенно тех, в происхождении которых имелись изъяны, отмежевываться от отцов и разоблачать их как классовых врагов. Местная и центральная печать была полна ритуальных заявлений сыновей и дочерей «классово чуждых» элементов, осуждавших родителей и указывавших, что они порвали всякие связи с ними. Среди этих сыновей был и знаменитый Павлик Морозов, который, согласно официальной версии, донес на своего отца-кулака властям, а потом был застрелен дядей. Фигура Павлика была окружена ореолом жертвы и стала образцом для подражания советской молодежи [288]. Степан Подлубный

не доходил до таких крайностей. Он не клеймил отца как «кулака» или врага даже в дневнике; тем более ему не приходила в голову мысль разоблачить его публично. Несмотря на это, он по-настоящему враждебно относился к «старику». В дневнике сообщается о ссорах сына с отцом, вызванных тем, что пьяный Филипп дрался с женой; эти записи свидетельствуют о разрушении патриархального мира крестьянства и о том, что коммунистические ценности трезвости, дисциплины и личного самоуважения служили опорой и источником морального авторитета для крестьянских детей. Филипп прожил с семьей лишь несколько месяцев 1933 года. Летом они с Ефросинией съездили в родное село на Украине, куда надеялись вернуться. Местные власти изгнали их из села. По возвращении в Москву Филипп стал жить самостоятельно.

Степан восхищался матерью. Он хвалил «пролетарские взгляды», к которым она постепенно стала приобщаться, предполагая, что она, как и он сам, признала необходимость переделки себя. Мать ходила в вечернюю школу и активно занималась общественной работой, за что получала награды. В дневнике Степан ссылается на письмо, отправленное матерью из летнего трудового лагеря, куда ее послали на добычу торфа: «Получил письмо от мамы. Я очень рад, что она в течение “эмиграционного” периода немножко перевоспиталась. Она мне пишет, что, несмотря на большие трудности работы, “я останусь до победного конца весь месяц”. Это очень хорошо. Это по-пролетарски» [289].

В отношениях с окружающими Подлубный старался представить себя носителем передовых, «культурных» ценностей. Он подчеркнуто отрицал язык и отношения, свидетельствовавшие о примитивности и сельской «отсталости». Во флигеле его дома на Краснопролетарской улице жила семья Родиных — крестьян, приехавших из-под Калуги. Степан называл их квартиру «Родинским

поселком», потому что эта семья предоставляла временный приют всем своим родственникам и знакомым, оказывавшимся в Москве в поисках работы [290]. Впервые попав в Москву, Степан с матерью тоже остановились у Родиных. Квартира была, кроме того, местом встреч молодежи, и Степан иногда заходил туда поболтать и отдохнуть. Тем не менее он постоянно изображал «Родинский поселок» средоточием крестьянской отсталости и варварства: «Молодежь собирается для плясок, песен на кухне у Родиных. Это молодежь исключительно деревенская, и девчата, ребята — отсталой, низшей среды. Стоишь и наблюдаешь, приятно кажется, но когда глубже подумаешь, встрепенешься, вспомнишь, что они же живые люди, ведь люди! Не скоты. А отношения друг к другу, выходки, мысли только скотские» [291].

На этом «пьяном» фоне Подлубный мог почувствовать себя новым человеком. Он очень подробно описывал совместные занятия с другими учащимися, так же как и он, стремившимися к образованию, нравственному самосовершенствованию, желавшими быть прилично одетыми. Все это отличало «культурную» молодежь: «Сегодня втроем — Колька Голанкин, Федька Кондратьев, и я — культурно и хорошо провели вечер в театре. Замечательные, приятные ощущения души. Это напоминает что-то грандиозное, взрослое, в то же время новое. Это уже не значит сходить в киношку за рубль. А именно в театр — солидно, культурно, в то же время за 5 рублей. И это имеет громадное моральное ощущение, за сколько сходить» [292].

Фотопортрет Подлубного, сделанный в 1936 году, демонстрирует его идеал культурного человека. Он стоит в фотомастерской в модном костюме, положив руки на спинку ампирной банкетки. Тяжелые шторы на заднем плане иллюстрируют неоклассические устремления сталинской культуры. Учитывая, что такой портрет требовал как символических, так и материальных

«капиталовложений», можно сделать вывод, какое значение он придавал тому, чтобы выглядеть культурно развитой личностью социалистической эпохи.

Еще одним свидетельством вертикальной мобильности (в буквальном смысле) было переселение Подлубных из сырой подвальной комнаты в 1935 году. На третьем этаже их дома освободилось помещение какого-то учреждения, и в последовавшей борьбе между потенциальными жильцами матери и сыну удалось отвоевать для себя полкомнаты с двумя окнами. Другой жилец обитал в той же комнате за самодельной перегородкой. Всего в квартире проживало тринадцать семей.

С некоторым беспокойством Подлубный отмечал, что хотя вообще он ищет компанию образованной и хорошо воспитанной молодежи, но девушек предпочитает «низшего класса, не слишком развитых». Некоторое время он встречался с девушкой по имени Таня, которая нравилась Степану внешне и своим искренним чувством к нему. Однако Подлубный опасался, что если останется с нею, это будет означать, что он и сам принадлежит к низшему классу и является интеллектуально неполноценной личностью. Как бы для того, чтобы преодолеть это подозрение, он писал Тане многословные письма (одно из них заняло 14 страниц) о своих противоречивых чувствах к ней, хотя знал, что девушка недостаточно грамотна, чтобы прочесть и понять их. Это длинное письмо, по сути, было адресовано ее более «развитым» подругам, которые, как был уверен Степан, прочтут его и объяснят все Тане. Получив Танин ответ, он расхохотался. Несколько строк были написаны «по слуху», с вопиющими орфографическими ошибками почти во всех словах. Письмо подтверждало ощущение Степана, что Таня, как и другие девушки, с которыми он встречался, была лишь «пушечным мясом» и, похоже, не могла стать его постоянной подругой или женой. Он быстро разорвал их связь, объяснив в другом письме, что тронут ее

«искренностью» и «преданностью», но «полная неграмотность» и «грубость» выражений девушки его «бесят» [293].

В одной из дневниковых записей обращено внимание на две противоположные «среды», между которыми, по его собственному мнению, «раздвоился» Степан. К одной принадлежала Таня, а к другой — вузовка Полина: 23-го вечером гулял на именинах у Таньки. <...> Черное страшное подвальное помещение из небольшой комнаты и кухни. После чтения листочка из календаря и старых газет расклеенных на стенах, вернее после часа скуки накрыли стол. Напитка мало, закуски мало, музыки нет. Скука зеленая. В общем Галанкин сделал верное заключение: «Какие люди, такие дела»...

22-го позвонила Полина Лакерник, пригласила к себе на квартиру с Николаем на танцы. Прекрасно потанцевали, познакомился с другим обществом, более культурным, совсем отличным от того, в каком вращался до сих пор. <...> 27-го с Полиной катался на катке ЦДКА [294].



Степан Подлубный. 1936 г.

Источник: семейный архив Марины Гавриловой, Москва
Степан стремился в общество Полины, Николая и других не только потому, что его привлекала их «культурность». Он ощущал потребность в том, чтобы найти друзей, которым можно бы было поведать о своих заботах, внутренних конфликтах, сомнениях, раскрыть себя. Но эти желания наталкивались на необходимость оставаться в относительной безопасности, быть уверенным, что тайна его социального происхождения не раскроется.

Письма друзей и коллег к Степану свидетельствуют о том, что его осторожное поведение не укрылось от их внимания. В 1933 году он познакомился с Вероникой Ивановой, на сей раз — «культурной» и образованной девушкой, происходившей из семьи «советской

аристократии». Они вступили в переписку, в которой обсуждали взаимные чувства в свете тогдашнего идеала личности. Как писал Веронике Степан, его цель заключается в том, чтобы «подавлять мозгом дальнейшее излияние чувств внутренностей». Ведя строго рациональную жизнь по образцу машины, он надеялся воплотить идеал «нового человека». Но Вероника напоминала Степану, что у нового человека есть мозг и сердце, а не два мозга, и просила его оставить привычку «маскировать свои чувства, свои ощущения»: «Ты одинок, одинок в своей личной жизни. И это лишь потому, что получить ты хочешь очень многое, а дать — почти что ничего... Ты отшельник, к несчастью, еще и скептик. Зачем? Не знаю». Степан был встревожен письмом Вероники. Ему казалось, что она разгадала его тайну. Он немедленно разорвал отношения с ней. Годы спустя Степан с тоской вспоминал их встречи и жалел, что не продолжил этих отношений [295].

Приятель-комсомолец Ришат Хайбулин оценивал личность Степана жестче. После ссоры между ними, вызванной отказом Подлубного от комсомольского поручения, Ришат написал ему письмо, в котором указывал, что Степан поступил плохо, и утверждал, что это связано с его неспособностью противопоставить своим «отрицательным чертам» силу воли. Письмо завершалось так: «Мое заявление прими не в виде упрека, а как рассуждения в пользу поднятия нашей культурной уровни. Ришат» [296]. Эти письма не только проливают свет на то, как видели Подлубного окружающие, но и показывают, что стремление Степана стать передовым молодым человеком своего времени было характерно и для его сверстников, которые тоже занимались самосовершенствованием, взаимным контролем и исправлением.

Жалуясь в дневнике на то, что в Москве ему некому довериться, Подлубный активно переписывался с друзьями

детства с Украины, несмотря на то что это угрожало сохранению его ложной идентичности. Многие из его старых друзей выехали с Украины: одни были, как и его семья, раскулачены; другие по собственной воле отправились в города и на заводы. В своих письмах к ним Подлубный неизменно представлял себя трудолюбивым и «культурным» рабочим и студентом, с гордостью упоминая о своей зарплате и хвастаясь уровнем жизни в Москве, несравнимым с условиями «на периферии», где жил один из его корреспондентов — двоюродный брат Корней Криворука. В свою очередь Корней, служивший в Красной армии в части, дислоцированной на Дальнем Востоке, подчеркивал цивилизаторскую роль армии по отношению к местному населению. Быть может, еще в большей степени, чем дневник Подлубного, эта переписка между двумя кулацкими сыновьями, представлявшими себя друг другу образцовыми советскими гражданами, показывает, каким образом революционные требования самопреобразования превращались в личную идентичность даже у людей, которых власти рассматривали как потенциальных контрреволюционеров[297].

Будучи в отпуске, Подлубный дважды — в 1934 и 1936 годах — приезжал в родное село на Украине. То, что он там обнаружил, оказалось несовместимым с его новообретенными устремлениями «культурного» молодого человека. Его привели в ужас необразованность крестьян, царившая на селе патриархальность и нищета колхозной жизни. В противоположность всему этому, Степан решил завоевать уважение жителей села, представ перед ними образованным и хорошо одетым москвичом. В 1936 году, уже будучи студентом, он, чтобы произвести впечатление на крестьян, даже надел очки с простыми стеклами. Реакция была неоднозначной: девушки им восхищались, но некоторые бывшие односельчане высказывались о том, что во время раскулачивания с кулаками обошлись слишком

мягко. В конце концов Подлубный сократил свое пребывание в селе и уехал. Друзья сообщили Степану, что местные власти хотят арестовать его [298].

Судя по его реакции, Подлубный понимал, как много он получил от советской власти: она дала ему авторитет, культуру и уверенность в том, что он освободился от темноты сельской жизни. Контакты с родственниками и друзьями с родной Украины ясно показали ему, что для него не существовало реальной альтернативы жизни в Москве, культурном центре страны, сколь бы рискованной и ненадежной ни была эта жизнь.

Сила воли

Зимой 1933 года, когда кампания паспортизации была в самом разгаре, Подлубный обратился к графологу, надеясь получить от него оценку своих личных качеств. Научный анализ почерка должен был помочь ему решить вопрос вопросов: подходит ли он для советского строя. Он заплатил за этот анализ все накопленные деньги — семь рублей, но не жалел о расходах, поскольку знал, что графолог является величайшим авторитетом в своей области, что это «сам Зуев-Инсаров». Через несколько недель он получил по почте результаты анализа. Полный их текст выглядит каталогом публично провозглашаемых ценностей того времени, на фоне которых оцениваются черты личности Подлубного:

Графологическое исследование

Инициативная личность, легко схватывающая основное в делах. Миропонимание материалистическое. Политическая ориентировка. Рано идеологически вышел из-под влияния родных. Есть наблюдательность. Умеет отличить ложь от искренности в тоне человека. В общении общителен, мягок, добродушен даже, но когда требуются решительные меры, или речь идет о выполнении долга, сильного желания, то ни просьбы близких, ни другие соблазны не в состоянии отвлечь его от поставленной цели. Не допускает

никакого принуждения над собой. Настойчив в осуществлении намеченного, хотя подчас в усидчивости нет систематичности, четкости: необходима бóльшая волевая сосредоточенность. Умея сразу сделать многое, способен порой откладывать начинания. Ленился. Недоверчивость и подозрительность есть, выработалась профессиональная осторожность. Склонность к формально-логическим умозаключениям, есть способности к научно-методологической проработке вопросов, правовой деятельности, административной, плюс к этому есть способности к механике. Умение создать авторитет. Литературная жилка. По характеру всякая общественная работа. Тяготение к самообразованию, хотя необходимо в данном случае, пожалуй, скорее углублять, чем расширять свои знания. В своих увлечениях большой экспериментатор и подчас проявляет, пожалуй, больше любознательности, чем страстности, не всегда постоянен в них. Умеет держать в руках свои страсти, но уже выпустив их — неводержан. В деньгах нерасчетлив, и экономить их не умеет. В моменты опасности не теряется, не боится за себя, не потому, конечно, что стоит выше общечеловеческих слабостей, а просто потому, что верит в свои силы и сохраняет присутствие духа [299].

Образцовый гражданин, с чертами которого сравнивались реальные качества Подлубного, должен был быть личностью со склонностью к политике и материалистическим мировоззрением, проявляющей твердость и решительность характера («волевою сосредоточенность»), интерес к науке и повышению своего образования, но также способной и к физическому труду. Судя по результатам анализа Зуева-Инсарова, Подлубный по большей части соответствовал этому идеалу. Получив документ, он был поражен, как точно охарактеризовал его графолог, но удивлен, что тот приписал ему многие положительные качества. Особенно в отношении силы

воли: «вот насчет силы воли, я даже не ожидал, что у меня сильная сила воли. А он говорит, что я настойчив».

Подлубный заключал: «Письмо принесло мне пользу. Я начал знать себя, начал верить в себя, верить в свои поступки, в свои силы» [300].

Подлубный постоянно думал об укреплении своей воли. В его понимании воля и сознательность были взаимозависимы: одна не приобреталась без другой. Эта связь становится очевидной, когда читаешь дневниковые записи Степана, в которых он объясняет «слабоволием» свои плохие производственные показатели и «идиотское, “не политическое” настроение». Но сила воли не только способствовала приобретению развитого политического сознания настоящего советского гражданина, но и помогала Подлубному сберечь двойную тайну своего социального происхождения и сокровенных «черных» мыслей. Только благодаря «силе воли, решительности, хладнокровию» он смог не допустить публичного проявления своих личных мыслей. Парадоксальным образом сильная воля помогала Степану одновременно стать членом советского общества и приспособиться к нему в качестве замаскированного представителя исчезающего вида [301].

Жить, отмечал Подлубный, значит бороться, причем постоянно и на многих «фронтах». Однажды он сравнил себя с одиноким моряком, внезапно попавшим в ужасный шторм. Единственный способ выжить в обстановке, сокрушительное воздействие которой могло уничтожить его в любой момент, заключался в доверии к своим «инстинктам» и разработке «плана самосохранения». Неоднократно Подлубный напоминал себе, что надо быть готовым к неминуемым ударам отовсюду. Особое подозрение вызывали у Степана «периоды спокойствия», когда ничто, казалось, не грозило ему ни на работе, ни со стороны ГПУ. Они воспринимались им как «затишье перед бурей». Борьба была неизбежным жизненным фактом, но в

ней содержалась и моральная ценность, потому что именно в борьбе становишься тверже и сильнее как физически, так и эмоционально. Без преодоления препятствий воля ослабевает, разлагая личность и уничтожая способность к ежедневной «борьбе за существование». «Жизнь без борьбы однообразна и плохой предзнаменатель для будущего» [302].

Сила воли была ключевым элементом, необходимым для саморазвития в социалистическом обществе, а также тем, что, по мнению Подлубного, являлось отличительным признаком классов в Советском Союзе. Он считал «пролетарием» того, кто обладает сильной волей и, стало быть, может справиться с новыми условиями. Описывая находчивость своей матери, умевшей скрываться от бдительного ока вездесущей милиции, он восхвалял силу ее воли и называл ее поведение «чисто пролетарским» по духу. Это было парадоксальное понимание пролетарского поведения, потому что оно предполагало способность защищаться от пролетарского государства. В противоположность этому основной упрек отцу состоял в том, что Филипп, «жалкое существо», не мог постоять за себя и включиться в борьбу, которая отличала пролетарскую и вообще человеческую жизнь от животного существования.

Пугающим образом развивая эту логику, Подлубный определял те общественные группы, которые не могли справиться с условиями советской жизни, как «слабовольные» и неприспособленные к жизни. Зимой 1933 года они с матерью получили письмо из родных мест. Это был душераздирающий вопль о помощи троим маленьким детям тетки Степана Лизаветы, старшей сестры его матери. Вдовую Лизавету посадили в тюрьму за то, что она собирала зерно на колхозном поле, чтобы прокормить своих голодавших детей. Ее осудили по сталинскому «закону о пяти колосках», предполагавшему суровое наказание за

«кражу социалистической собственности». Дети писали: «Тетя Фрося и брат Степа, мы распухли от голода, помогите, если чем можете, а если не можете, то не надо, уж все равно помереть днем раньше или позже. А пожить очень хочется, мы еще не много жили, жить хочется, но смерть наступает невольно». Если мать «плакала горевыми слезами», то Степан подчеркивал свое «хладнокровие». «Почему-то», прибавлял Подлубный, он прочел письмо с улыбкой. Мать съездила в родную Березовку и вернулась оттуда с ужасающими впечатлениями о голоде: «Половина людей вымерло с голоду. Сейчас едят варенную гычку[303] в воде. Есть масса случаев людоедства... В общем жуть, что творится. Не знаю почему, но я этому нисколько не сочувствую. Так должно быть, чтобы легче перевоспитать крестьянскую мелкособственную психологию в нужную нам пролетарскую. А те, кто умирает с голоду, пускай, раз он не может защитить себя от голодной смерти, значит слабовольный. Что же он может дать для общества?» [304]

Ошеломительно утилитарная философия, излагавшаяся Подлубным, была связана с революционной этикой, проповедовавшей большевистским государством, но в ряде важных отношений отличалась от нее. Подлубный постоянно ссылаясь на такие черты личности настоящего большевика, как сила воли и самоконтроль, но делал это не только для того, чтобы выразить себя, но и для того, чтобы попросту выжить в жестоком большевистском мире, чтобы защитить себя как замаскированного классового врага. Он черпал свои принципы из «реальной жизни» и из поведения окружающих, редко обращаясь к теории или истории как к личному руководителю. Он был закоренелым фаталистом, выражая основанное на жизненном опыте убеждение, что есть такие неподвластные воле силы, которые в любой момент могут изменить жизнь. Подлубный знал, что вера в судьбу более характерна для традиционного крестьянства,

чем для современных образованных горожан, но тем не менее не отказывался от нее. Кроме того, он прислушивался к голосу «инстинктов», в противоположность коммунистам, которые презирали неорганизованное, отсталое бессознательное и преклонялись перед силой развитого разума [305]. Подлубный вполне уместно сравнивал себя со «зверьком», могущим жить в мире хищников лишь благодаря инстинктам и способности приспосабливаться. Подобное понимание собственной личности почти комическим образом проявилось в момент разоблачения Подлубного сотрудниками НКВД. Когда служащие органов попытались заставить Степана рассказать, почему тот раньше не сообщил о своем настоящем происхождении, он ответил только: «цыпленок тоже хочет жить», цитируя популярную песню, в которой вареного и жареного цыпленка, гуляющего по Невскому проспекту, задерживает полиция, потому что у него нет паспорта [306].

Только классово чуждые элементы вроде него, считал Подлубный, ведут рискованную жизнь «цыплят». Нацеленный на самосохранение способ существования был нужен Степану лишь до тех пор, пока его положение оставалось нелегальным. Добившись легальности, предполагал Подлубный, он сразу сможет устремиться к идеалу сильной и свободной личности с цельным мировоззрением, которое проповедовали Горький и другие писатели того времени.

Личный кризис, политический кризис

1 декабря 1934 года был убит секретарь Ленинградского обкома партии Сергей Киров, которого многие считали первым помощником Сталина. Партийное руководство с возмущением отреагировало на эту смерть, потребовав жестокого наказания убийц, которыми, как подозревали, были представители политической оппозиции. Убийство Кирова было поворотным пунктом в истории большевистской системы: оно переориентировало

репрессии, до тех пор обращенные против классово чуждых элементов, капиталистов-эксплуататоров и буржуазных националистов, на саму партию; кульминацией этих репрессий явились аресты и казни сотен тысяч коммунистов в 1937—1938 годах. Момент убийства явился поворотным пунктом и в жизни Подлубного. Его подход к себе, а также стиль ведения дневника претерпели заметные и долгосрочные изменения. Эти изменения были связаны с тем, что Степан осознал: он оказался не способен покончить с чертами характера, чуждыми целям советской власти.

Подлубный пришел к этому выводу еще в 1933 году, во время разговоров на рискованные политические темы со своим товарищем по работе Митей Горенковым. Горенков читал Степану свои стихи и другие произведения, рассказывавшие о личных неудачах и трудностях. Эти разговоры производили на Подлубного весьма неоднозначное впечатление. Мысли Мити звучали в унисон с некоторыми из его собственных чувств, а возможность выражать эти чувства утоляла жажду Степана иметь «задушевного друга» помимо дневника. Кроме того, разговоры с Митей раскрывали ему «нешаблонную», «глубокую» личность, у которой есть «собственное мнение» и которая не боится высказать его, — в противоположность настроенным на карьеру «казенным попугаям», которые «мелко плавают» и бездумно повторяют то, что им «диктуют». Но в то же самое время Степан не мог не охарактеризовать Митину критику политического строя как «пессимистическую» и мелкобуржуазную, учитывая, что она вступала в конфликт с радостной верой, оптимизмом и решимостью, которые превозносились как основные черты социалистической личности. Подлубному было «неприятно», что Митя планировал создать роман о «молодежи пессимистической и прогрессивной», причем «пессимистических» персонажей писать с себя самого и Степана, а за образец «прогрессивного» типа взять еще

одного их друга. Подлубный явно предпочитал считаться оптимистом[307].

Подлубный осмысливал свой внутренний конфликт, отмечая, что в нем сосуществуют два человека: «Один казенный, ежедневно твердящий: остерегайся, блюди порядки, будь осторожен, зря не плети всякой чуши, следи за собой и своим разговором. Постоянно дает мне наставления. Этот человек во мне больше всего живет. И второй, это человек, который собирает в душе всякую грязь, оставшиеся отбросы, и вот ищет удачные моменты, чтобы выплеснуть эту зловонь кому-нибудь на голову и освободиться от тяжести ношения этой грязи. Этот человек во мне присутствует реже, но присутствует. Эта старая болячка моего происхождения и воспоминания временами дают себя знать».

Подлубный считал, что сможет сделаться настоящей личностью с единым, цельным мировоззрением, как только станет законным членом советского общества [308]. Но его разоблачение сотрудниками НКВД всего лишь через несколько дней после того, как он выявил в себе двух разных людей, не только уничтожило надежду Степана на «легализацию», но и вывело на передний план «классово чуждую» идентичность, от которой он все время стремился избавиться: «Они [резиденты] в каждоразном разговоре со мною, напоминая мне о моем прошлом, заставили [и] вкоренили во мне все ненужное. Раньше я не думал о своем прошлом, я был обыкновенным рядовым членом общества, даже передовым был. Теперь они, они же сами заставили меня мыслить по-другому. Потом меня за это будут бить, и несомненно, когда узнают, будут бить. Ужасно, ужасно что получается, вместо излечения они меня калечат»[309].

Подлубный, в частности, винил НКВД во внушении ему новых и совершенно «ненужных» мыслей, в вопиющем отступлении от своего призвания — быть целителями человеческих душ, помогающими советским гражданам

преодолевать нравственные кризисы. На эти новые мысли сто́ит обратить особое внимание: в январе 1935 года, услышав о смерти еще одного политика, Валериана Куйбышева, который, как было сказано, скончался от инфаркта, Подлубный заподозрил, что тот был убит по распоряжению властей, быть может потому, что собирался сделать слишком резкий доклад [на сессии ВЦИК], «и его решили убрать с дороги». Он не доверял официальному сообщению о смерти, «как не доверяют проворовавшемуся мошеннику», и ссылаясь при этом на «комедию убийства Кирова» в прошлом месяце. Но высказывая столь решительную позицию, Подлубный бросал серьезные обвинения и в собственный адрес, упрекая себя в «слишком реальном взгляде на жизнь». Он уже не считал себя представителем «передовой» советской молодежи: «Идеология моя в какой-то степени испорчена» [310].

В долгосрочной перспективе у Подлубного были две возможности приспособления этой «реакционной» позиции к действительности. Одна состояла в такой перестройке категорий самоопределения, при которой незаконные мысли выглядели бы законными. Если же переделка мира по собственному образу и подобию оказывалась невозможной, то следовало «маргинализировать» самого себя: признать свои мысли отклонением от нормы и найти в себе причины такого отклонения. Подлубный стал продвигаться в обоих направлениях сразу. Дневник показывает, каким образом он переделывал свой политический словарь. В записи за февраль 1935 года он описывал расширение круга подозреваемых в убийстве Кирова и их подручных: «Наступили такие времена реакции и гонения, преследования, что коротко никак не опишешь. Мне только напоминает из проработки истории партии 1907 г., разгул черной реакции именно сейчас. Разгул реакции, преследование свободной мысли» [311]. Такие формулировки позволяли Подлубному освободиться от

«реакционных» мыслей, определив режим как реакционный и, следовательно, представив себя «передовым». Еще поразительнее ссылка Подлубного на источник, который вдохновил его на новую концептуализацию действительности и привел к осуждению партийного государства, — учебник истории большевистской партии. Это можно сравнить с использованием Библии против церкви для легитимизации собственного неверия. Степан обращался к официальному советскому дискурсу для делегитимизации существующего политического режима. Но одновременно такой подход укреплял советскую платформу революционной активности, общую у Подлубного и у властей.

Степан понимал, что подобная критика пагубно влияет на его советскую субъективность. Поскольку эта субъектность определялась параметрами, заданными революцией, — активностью, энтузиазмом, подчинением коллективу, преданностью государству рабочих, — он стал рассматривать свою критику государственной политики как процесс вырождения собственной личности. Он отмечал, что новый взгляд на жизнь, лишенный всякой возвышенности, «морально парализует» его и заставляет чувствовать себя «вялым», как при «затянувшейся трудной внутренней болезни». От предшествующей ситуации, когда Степан жаловался на слабоволие, нынешнее положение отличалось еще большей неуверенностью в том, излечима ли его «болезнь». Является ли он настоящим советским гражданином, лишь временно поддавшимся разлагающему влиянию, или в принципе чужд советским ценностям?[312]

Подлубный неоднократно писал о себе как о безнадежном случае, необратимо сформированном происхождением и воспитанием. Если сознание человека определяло его классовую позицию, то совершенно логично, что Степан рассматривал свою упорную склонность к еретическим мыслям как выражение чуждой

классовой сущности [313]. Выводя свою классовую идентичность из состояния собственного сознания, он следовал схеме, широко использовавшейся в общественной сфере 1930-х годов. Доносы и суды приводили к систематическому переписыванию биографий политически подозрительных лиц. Так, обвиняемых на московских публичных процессах — по большей части верных старых большевиков — государственное обвинение превратило в реакционных белогвардейцев, шпионов капиталистических государств или наймитов империализма. Подлубный же проводил суд над самим собой, и делал он это в своем тайном дневнике.

Подлубный оценивал не только собственные мысли и действия, но и мысли и действия других людей как выражение их социального происхождения. Однажды он сравнил себя с другим кулацким сыном, отметив, что им присуща одинаковая «психология», проявляющаяся, в частности, в неустойчивости любовных чувств: «Будучи одинакового с ним происхождения, я сделал вывод, что это явление присуще всем людям, получившим такое воспитание, прошедшим такой жизненный путь». В другой раз он тайно прочитал дневник друга, Олега Вачнадзе, пришедшего к нему в гости. Содержание этого дневника заставило его заподозрить, что Вачнадзе — «сын дворянина, а вовсе [не], как он говорит, не знаю кто. Отец жив и за границей. Анализируя его похождения, вспоминая настроения и выходки — подтверждает мою мысль. Интеллигентские выходки мещанства, любовь к пудре, элегантности движений, изящности языка, разбитость и волевая беспомощность, что при тяготении своим прошлым, когда меня тревожат, бывает и со мной, все эти черты нашел я в нем» [314]. Характер личности и, в частности, развитость ее воли, согласно Подлубному, определялись социальным происхождением до такой степени, что это граничило с биологическим

детерминизмом. Постоянное подчеркивание советской властью важности классового происхождения могло, как в случае Подлубного, привести к эссенциализации свойств личности и преуменьшению значимости ее поступков.

В начале 1936 года о кулацком происхождении Подлубного было объявлено на комсомольском собрании, и его исключили из комсомола. В дневнике Степан сообщал, как его ошеломило это событие, при том, что он храбро держался на собрании. Он смотрел всем прямо в глаза и «забыл даже уделить большое внимание в своем раскаянии в грехах». В частности, он не согласился с официально выдвинутым против него обвинением, утверждая, что хозяйство его отца по своему размеру не было кулацким. Оно скорее было «крупносередняцким хозяйством». Из-за этого заявления, сообщал Подлубный, он получил официальный выговор за «противосоветское выступление»: «Из моих слов в отношении хозяйства сделали вывод, что я против раскулачивания отца, хотя я неоднократно заявил, что я этого не говорил». В заключение Подлубный сказал: «Ну что же, исключайте, а в отношении Института я поищу свои права, я еще поборюсь». Упоминая о «правах», Степан имел в виду недавнее (изданное в декабре 1935 года) постановление правительства о снятии ограничений на прием в вузы лиц классово чуждого происхождения[315].

Чтобы противостоять угрозе исключения из мединститута, Подлубный решил составить семейное генеалогическое древо. Он был уверен, что рано или поздно этот документ окажется полезным в его конфликте с властями. Вместе с родителями и двоюродным братом, также жившим в Москве, Степан восстановил генеалогию отца начиная со своего прапрадеда Мирона, жившего в XVIII веке. Семейное древо было призвано помочь ему показать, что многие члены отцовской семьи не были капиталистами-предпринимателями, заслуживающими определения «кулак» [316]. Но само внимание к генеалогии

свидетельствует о том, насколько прежние идеалистические надежды Степана на то, что классовая принадлежность — дело сознательного выбора, были ограничены представлением о биологическом детерминизме.

Воспроизведение им социально-экономического положения четырех предшествующих поколений своей семьи иллюстрировало убеждение в том, что ключ к собственной субъективности Степан видел в семейном происхождении и в том, как оно определяет его «психологию», а не в личных поступках и в способности переделать себя. Этот биологический подход к определению классовой идентичности был широко распространен в сталинской системе даже после того, как в середине 1930-х годов было объявлено, что социализм построен и все классовые противоречия в советском обществе предположительно разрешены. На XVIII партийной конференции в 1941 году член Политбюро Георгий Маленков подверг критике подобное «генеалогическое» понимание личности.

Недопустимо, заявил он, чтобы партийные и государственные функционеры погружались в изучение семейного древа кандидата [на ту или иную должность] и спрашивали его о «дедушке и бабушке», игнорируя при этом личные качества человека [317].

Подлубному было разрешено продолжить обучение в институте, но его успеваемость в первые два семестра обучения медицине оказалась настолько низкой, что он попросил предоставить ему годичный академический отпуск, после которого планировал вновь поступить на первый курс, и такой отпуск был ему предоставлен. Тем временем его родители, которых в 1934 и 1935 годах неоднократно вызывали в милицию, были вынуждены сдать документы и подчиниться распоряжению покинуть Москву и 100-километровую зону вокруг столицы. Отец Подлубного переехал на Волгу, в Ярославль, а мать поселилась на самой границе 100-километровой зоны, в

Можайске. С помощью сына она писала прошения о полном восстановлении в гражданских правах. В декабре 1936 года ей позволили вернуться в Москву[318].

Подлубный прервал ведение дневника в конце декабря 1936 года и вернулся к нему только в декабре 1937-го. В первой записи за этот год Степан объяснил причины перерыва: прошедший год был настолько ужасен, что он решил пропустить его, «как ненужную страницу» в истории своей жизни. Он упомянул о финансовых трудностях, вызванных потерей стипендии. Годичное отсутствие привело к потере институтских друзей. Наконец, Степан опасался, что ему придется покинуть институт из-за неудовлетворительных оценок и необходимости зарабатывать деньги. Как только задуманный Подлубным проект материальной и моральной переделки оказался неосуществимым, замолчал и его дневник. Говоря о своей жизни в 1937 году, Степан упоминал о «запекшейся крови... вытекающей из-под трупа зарезанного человека» и об ощущении, что на его шее «петля стягивается все туже». Это были, конечно, намеки на воцарившееся вокруг политическое насилие и на то, что объектом этого насилия может стать и он сам [319].

Хотя сталинская «большая чистка» 1936—1938 годов была направлена прежде всего на очищение партийного и государственного руководства от лиц, подозревавшихся в оппозиционности, ее жертвами также стали многие люди, не являвшиеся ни коммунистами, ни государственными руководителями. Во исполнение приказа НКВД № 447 от 31 июля 1937 года о мерах против «кулаков, бандитов и других антисоветских элементов» были арестованы и казнены сотни тысяч человек. В приказе содержались предельные цифры подлежащих аресту людей по каждому региону страны — в одной только Московской области разрешалось приговорить к расстрелу до 5 тысяч человек, а к 8—10-летнему заключению в трудовых лагерях — еще до 30

тысяч. В течение нескольких последующих месяцев руководители областных управлений НКВД просили Политбюро повысить квоты, поскольку обнаруживалось все большее количество врагов, и их просьбы удовлетворялись [320]. Эти повышенные квоты можно было выполнить и перевыполнить в духе соцсоревнования, лишь анализируя личные дела людей, имевших репутацию классово чуждых элементов или контрреволюционеров.

Подлубный, не знавший об этой тайной операции, использовал для того, чтобы защитить себя и мать, испытанные инструменты — интуицию и практический опыт. О «стягивающейся петле» он писал, имея в виду приближение выборов в Верховный Совет СССР, назначенных на 12 декабря 1937 года. Из прошлого опыта Подлубному было известно, что накануне крупных праздников милиция обычно проводила рейды. Поскольку аресты всегда производились по ночам, Степан и его мать обсуждали возможность на несколько ночей остаться у друзей, но в конце концов этого не сделали. Впрочем, одну меру предосторожности Подлубный все-таки принял: он спрятал дневник в сундуке в коридоре их коммунальной квартиры, за пределами комнаты, в которой они жили. В 4 часа утра 9 декабря Степана разбудил страшный стук в дверь. Вооруженный милицейский офицер в сопровождении дворника потребовал впустить его в комнату и обыскал ее (как подозревал Подлубный, на предмет наличия оружия). Записав в протокол, что ничего не было найдено, офицер попросил мать Степана одеться и «на минутку» пройти с ним в МУР. Той ночью она уже больше не появилась.

В том, как Степан Подлубный отреагировал на этот арест, проявилась его исключительная привязанность к матери. В течение следующих дней и недель Степан неустанно искал мать. Каждое утро перед справочной московской милиции выстраивалась длинная очередь. Для

того чтобы успеть дойти до окошка, закрывавшегося в 16.00, эту очередь надо было занять в пять утра. Стоя в очереди, растянувшейся на полкилометра, и наблюдая за сотнями других москвичей, разыскивавших арестованных родственников и близких людей, Подлубный открывал для себя мир тех, кто забыл об официальных требованиях и клише: они были «поглощены каждый своими заботами, окружающее для них не существовало». Затем наступала его очередь подойти к маленькому квадратному окошку: «Меня охватывал какой-то непонятный страх.

Подкашивались дрожащие в коленях ноги, мелкая нервозная дрожь пальцев рук. Часто стучало сердце, каждый его удар я отчетливо чувствовал, не только чувствовал, но с каждым ударом сердца в ушах раздавался гул, словно рядом со мной гремели в барабан... Только дома я вполне осмыслил, что случилось. Спазма в горле не давала дышать. Мышцы беспомощно размякли». В окошке Подлубному не смогли сообщить, где находится его мать. Это была одна из немногих сцен в дневнике, когда Степан не смог сохранить хладнокровия. Самообладание, на наличие которого указывал даже графолог, покинуло его: он утратил контроль над своей жизнью и собственным телом. В конце концов Подлубному удалось найти мать в одной из московских тюрем. Когда он пришел навестить ее, она со слезами на глазах сообщила, что трибунал НКВД приговорил ее к восьми годам тюремного заключения «за скрывание социального происхождения». Реакцией Степана было одновременно отчаяние и возмущение: «Какой ужас, 8 лет, это очень легко произнести, но очень трудно прожить. И за что?! А говорят, что на свете есть правда». Запись завершалась нотой внутреннего сопротивления. Она напоминала язык борцов-революционеров, известный из советской литературы, однако Подлубный обратил эту запись против советского государства: «Нет, правда будет. Много людей погибло за правду, и доколе будет

существовать общество, до тех пор будет борьба за правду. Будет правда!» [321]



Степан Подлубный с матерью и двоюродной сестрой. 1936 г.

Источник: семейный архив Марины Гавриловой, Москва
После ареста матери дневник Подлубного «политизировался» и в нем стали встречаться язвительные обвинения в адрес сталинского режима. Торжественная встреча вернувшейся домой экспедиции полярников была, по его словам, «небывалой шумихой», призванной отвлечь внимание масс от суда и казни ведущего теоретика партии Николая Бухарина. Прочитав «Камо грядеши?» Генрика Сенкевича, действие которого разворачивается в императорском Риме I века н.э., Подлубный назвал Сталина «нашим русским Нероном», обратив особое внимание на культ его личности: «Оказывается, незаслуженные похвалы и приписывания добрых деяний, а также обоготворения возможны и в наше время, только в более тонкой форме» [322].

Свои дневниковые записи в этот период Подлубный называет «натуралистической фиксацией фактов». С точки зрения веры в историю, характерной для социалистического реализма, натуралистический подход по определению был пессимистичным и реакционным. Подлубный защищал свое обращение к натурализму. Его цель, писал он, заключается в том, чтобы представить действительность в ином свете и таким образом оградить людей от риторики, к которой они автоматически обращаются при описании своей жизни. Глаза ему открыла поездка к отцу в провинциальный Ярославль. Хотя отец вел теперь городскую жизнь, в его комнате обитали не только другие рабочие, но и поросенок, а также полчища блох и клопов. Бродя по окраинам Ярославля, Подлубный ошеломленно обнаружил, что такие жизненные условия типичны. Но все, кого он спрашивал, отвечали, что «живут хорошо». Только «постороннему с первого взгляда» становилось ясно, что это «жизнь нечеловеческая». «Так жить нельзя», — заявлял Степан [323]. Характерно, что Подлубный уже не винил в нищенских условиях жизни отца его отсталость и слабоволие. Напротив, в этой и других записях ощущается обида на власть, которая не могла обеспечить людей, честно трудившихся ради ее интересов. Фотография отца и сына, сделанная во время приезда Степана, свидетельствует о том, что они помирились, а также отражает новый облик Филиппа. Одетый — по примеру стоящего рядом сына — в костюм и галстук, он выглядит современным горожанином. Как фотография, так и описания отца, сделанные Подлубным в этот приезд, резко отличаются от образа жалкого существа, каким Степан прежде представлял Филиппа Евдокимовича.



Степан Подлубный вместе с своим отцом. 1938 г.

Источник: семейный архив Марины Гавриловой, Москва

Однако натуралистический подход к советской действительности имел свою цену. Дело было не только в опасности подобных записей для Подлубного, но и в том, что они разрушали представление Степана о себе, во многом основанное на соцреалистических концепциях личности. В дневнике конца 1930-х годов обнаруживается, что Подлубному приходится признать: в душе он стал слабовольным «пессимистом», а его попытка превратиться в настоящую социалистическую личность провалилась. Вынужденный отказаться от учебы в институте, он обдумывал свою бесцельную, «бесполезную» жизнь: «Жизнь без цели, как животное, что за жизнь? Нечем, нечем и некому морально поддержать меня». Такая жизнь, «когда человек... не чувствует прогресса», усугубляла его пессимизм. То, что он не стал добиваться восстановления в институте и утратил радостный взгляд на мир, свидетельствовало о безусловном ослаблении воли: «Слишком поколебалась моя сила воли, вышла закалка, выдержка, настойчивость, упрямость даже. Вышел из-под

влияния самого себя». Наконец, речь шла и о личной жизни Степана. Теперь, когда Подлубный приближался к 25-летнему возрасту, он начал задумываться о женитьбе, но немногочисленные девушки, которые могли бы выйти за него замуж, были малокультурными [324].

С этой незавидной позиции Степан завистливо наблюдал за студентами, к компании которых прежде принадлежал и сам. Весной 1938 года один из его друзей, Владимир Воронцов, двумя годами ранее исключенный из комсомола из-за того, что его отца разоблачили как троцкиста, был восстановлен в молодежной организации. Он планировал изучать философию и вступить в Коммунистическую партию. Степан критиковал Владимира за решение стать партаппаратчиком; в свою очередь Владимир упрекал Степана в «эгоизме», в том, что он только берет от жизни, но ничего ей не дает. Высказывание сугубо отрицательных мнений о действительности навлекло на Подлубного обвинения в эгоизме, поставив его в один ряд с Николаем Анисиним, учеником в типографии «Правды», на эгоизм которого Степан в свое время донес в ГПУ. В известном смысле сама откровенность политического дневника Подлубного разрушала идеал коллективистской, оптимистичной и целеустремленной личности, с которым Степан продолжал соотносить себя, размышляя о своей жизненной неудаче [325].

Самостоятельно, уже без матери, Подлубный продолжал пользоваться своими испытанными приемами избегания конфликтов с властями. В частности, предпраздничные ночи он старался проводить вне дома. Но в конце концов его все равно арестовали. Дневник Подлубного резко прерывается в октябре 1939 года, вскоре после вторжения Германии и Советского Союза в Польшу, о котором он подробно писал в дневнике. Несколько дней спустя Степан помогал своему двоюродному брату Корнею Криворуке продать запчасти часов с часового завода, на котором

работал Корней. Подлубный был знаком с часовщиком и предложил ему купить запчасти. Но когда они собрались, чтобы совершить сделку, часовщик вызвал милицию. Корнея обвинили в спекуляции и приговорили к пятилетнему заключению в трудовом лагере. Степана приговорили к 18-месячному заключению за недонесение на брата властям. Он оказался в лагере, расположенном приблизительно в 1000 километрах к востоку от Москвы. В апреле 1940 года вместе с другими физически здоровыми мужчинами его перевели на Крайний Север, на Печору. Им предстояло проложить железную дорогу до заполярной Воркуты. От перенапряжения на работе, холода и плохого питания многие заключенные умерли. Степан выжил, потому что ему удалось устроиться в управление лагеря. Он освобожден из лагеря в апреле 1941 года, незадолго до окончания строительства железной дороги.

В начале июня 1941 года, всего лишь за несколько дней до нападения Германии на Советский Союз, Подлубного призвали на военную службу. Из-за уголовного прошлого его не отправили на фронт. С октября 1941 года он работал санитаром, сопровождавшим резервные подразделения из Сибири на фронт. В 1944 году ему было присвоено звание лейтенанта медицинской службы. Производство Подлубного в офицерское звание стало возможно только потому, что он утверждал, будто бы завершил медицинское образование и получил диплом [326]. По окончании войны он поселился в Москве. Там он встретил свою будущую жену Зою, и в 1947 году они поженились. Мать Подлубного в 1940 году была досрочно освобождена из лагеря. После войны они с Филиппом перебрались в квартиру сына. Филипп Подлубный умер в 1964 году, Ефросиния Даниловна — в 1974-м. До самой пенсии Степан Подлубный работал в различных советских министерствах, но в основном — чиновником в Министерстве здравоохранения.

Освободившись из лагеря, Подлубный возобновил ведение дневника и продолжал вести его до смерти в 84-летнем возрасте, в 1998 году. Но в его записях военного и послевоенного периода нет драматизма, характерного для дневников 1930-х. И главное, в них уже не упоминается конфликт между происхождением и поступками. Похоже, что вопрос положения Подлубного в советском обществе разрешился во время и после войны, поскольку власть признала его, сделав офицером и позволив работать в органах государственного управления[327]. Чтение послевоенных дневников Подлубного лишь дополнительно подчеркивает актуальность его дневникового проекта 1930-х годов — настоящей заботы о состоянии собственного сознания, тщательного изучения своего внутреннего мира и работы над собой.

Мне повезло: я лично беседовал с Подлубным, как и с некоторыми другими оставшимися в живых авторами дневников 1930-х годов. Мои первые встречи с Подлубным в Москве в начале 1990-х были осложнены непониманием. Я был поражен тем, до какой степени он отрицал стремление к переделке себя, отчетливо зафиксированное в дневниковых записях времен его молодости. В наших разговорах Подлубный стремился донести до меня мысль о том, что его дневник был документом жертвы сталинизма и что целью этого дневника было летописание его собственных страданий и страданий его семьи в условиях бесчеловечного режима. Это убеждение заставило его сдать дневник в исторический архив, и такой шаг он описывал как свой личный вклад в установление правды о сталинизме [328]. Его раздражали вопросы, которые я задавал, отталкиваясь от содержания дневника, прочтенного мною в архиве. Он считал бессмысленным обсуждать свои напряженные отношения с отцом или взгляды, высказывавшиеся им в дневнике по поводу отсталости,

культуры и идеальных форм личности. Подлубный настаивал, что критические записи об отце выражали лишь «временные настроения», а на самом деле он всегда с почтением относился к нему.

Пытаясь «отредактировать» свой опыт, Подлубный в 1980-е годы несколько лет занимался подготовкой исправленного варианта своих дневников 1930-х годов, дополняя их «необходимыми» комментариями по поводу событий, людей и мыслей, описанных в первоначальном тексте. Он изменял язык, делая его более литературным, и вычеркивал фрагменты, представлявшие ему бесполезными. Подлубный был настолько убежден в «научном» и «художественном» превосходстве исправленной версии своего дневника, что даже рассматривал возможность уничтожения оригинала.

Отношение Подлубного к своему дневнику особенно примечательно на фоне дневника Зинаиды Денисьевской и его судьбы. Власти враждебно относились к социальному происхождению авторов обоих дневников, и эти авторы испытывали тревоги и сомнения, но одновременно выражали надежду на преодоление своих внутренних конфликтов. В 1977 году дневник Денисьевской был сдан в государственный архив, чтобы дополнить «хор» советских воспоминаний голосом еще одного преданного социализму гражданина. Не прошло и десяти лет, как Подлубный стал превращать свои записи в подтверждение того, что он всю свою жизнь был жертвой советского государства. В промежутке между этими противоположными дневниковыми жестами советская политическая система утратила свою легитимность. Отстраняясь от реального контекста собственной молодости, Подлубный действовал подобно многим другим современникам сталинизма, которые со временем стали считать себя его жертвами. К этому их подталкивали учреждения вроде «Народного архива» в Москве, который, призывая население присылать

личные воспоминания, так или иначе задавал характер этих воспоминаний. Именно в этот архив Подлубный и сдал на хранение свой дневник [329].

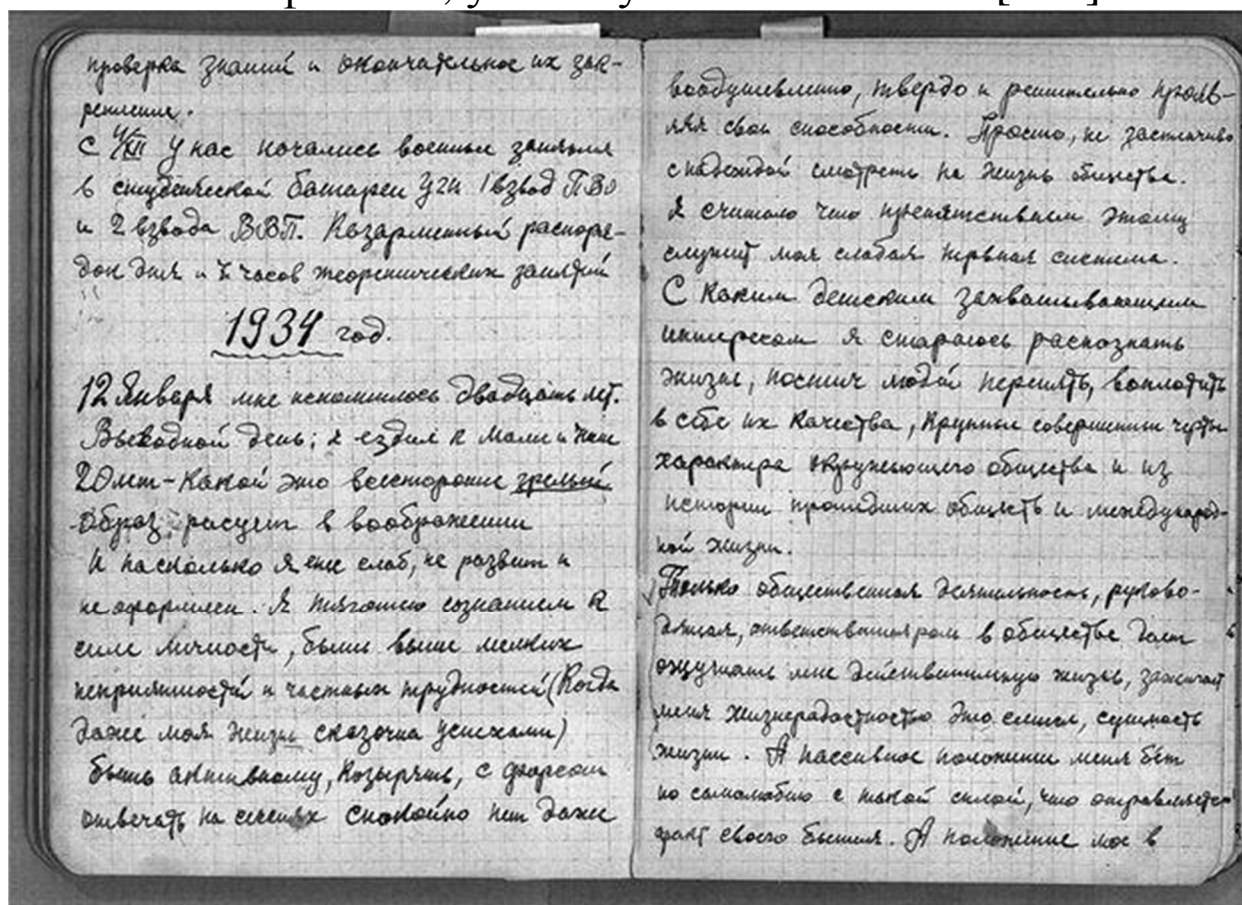
ГЛАВА 6

ДНЕВНИК НОВОГО ЧЕЛОВЕКА. ЛЕОНИД ПОТЕМКИН

Первое, что показал мне Леонид Потемкин, когда я посетил его квартиру в Олимпийской деревне — жилым массиве, построенном к Олимпиаде 1980 года и впоследствии ставшем местожительством привилегированных советских граждан, была коллекция минералов, украшавшая книжный шкаф в гостиной. Вышедший на пенсию заместитель министра геологии РСФСР на протяжении своей профессиональной деятельности получил множество подарков от геологов и горняцких коллективов. Он обратил мое внимание на искусно сделанное пресс-папье, подарок ленинградских геологов к его 60-летию, отмечавшемуся в 1974 году. На массивном черном гранитном основании были укреплены три книги из розового мрамора, символизировавшие работы Потемкина. «Вы знаете, что это за камень? — спросил Потемкин, указывая на мрамор. — Это тот же камень, который использовался при строительстве мавзолея Ленина» [330].

Когда в 2002 году в Москве я встретился с Потемкиным, он уже перешагнул порог 88-летия. У него была хрупкая фигура и тонкие черты лица; несмотря на проблемы со здоровьем, он выглядел моложе своего возраста. Прежде он отклонял мои просьбы о встрече, ссылаясь на слабое здоровье. Имелась и другая проблема. Отрывки из дневника Потемкина были опубликованы в западной антологии дневников сталинской эпохи, и его расстроило, что в этой книге его называли «неграмотным молодым карьеристом». В конце концов Потемкин согласился, чтобы я побеседовал с

ним, и пообещал предоставить мне полный доступ к своим бумагам, но лишь при условии, что мое описание его жизни будет «объективным» и «не исказит» «истинного смысла» каких-либо «фактов», упомянутых в его текстах[331].



Страница из дневника Леонида Потемкина.

Источник: Государственный архив Российской Федерации

Тревоги Потемкина и его настойчивость в определении условий сотрудничества показывают, насколько важны для людей их автобиографические свидетельства, особенно если они касаются такого противоречивого периода, как эпоха сталинизма. Естественно, любой рассказ о себе живого автора предполагает конфликт между авторскими воспоминаниями и отстраненной интерпретацией текста, и это, возможно, особенно справедливо для рассматриваемого нами случая, поскольку лирически-экспрессивные записи Потемкина явно не соответствуют привычному для нас пониманию периода сталинизма как эпохи террора и

репрессий. Первым порывом исследователя может быть желание отбросить вмешательство автора как помеху, как вторжение субъекта в его собственное свидетельство о прошлом. Но можно подойти к такому вмешательству и продуктивно, превратив его в предмет осмысления. Нас должно заставить задуматься само утверждение Потемкина о том, что на основании «объективного» прочтения фактов, зафиксированных в дневнике, можно непротиворечиво и недвусмысленно истолковать его жизнь. Независимо от того, согласны ли мы принять описание Потемкиным своей жизни за *саму его жизнь*, это утверждение свидетельствует о значительном личностном вкладе в создание дневника, этой, по мнению Леонида, книги его жизни. С учетом такого личностного вклада дневник Потемкина предстает перед нами по-новому: в нем обнаруживаются слои интерпретации, которые — в отсутствие автора — вполне могли бы быть упущены. Дневник в целом предстает в новом свете — совсем как пресс-папье в свете замечаний Потемкина о нем. Пресс-папье может восприниматься как украшение, но может быть истолковано и как символическое овеществление тела Ленина и идеологии ленинизма. Благоговейное отношение Потемкина к этому артефакту говорит само за себя.

Случай Потемкина исключительно интересен. В состав корпуса его сохранившихся текстов входят дневник, охватывающий период в шесть с лишним лет, письма к семье и любимой девушке, отрывки из университетских конспектов, учебник диалектического материализма, написанный Леонидом в 1935 году, пособие по самообучению, составленное им в 1942 году, стихотворные и прозаические воспоминания, записанные в старости, и несколько фотоальбомов того времени. Помимо внушительного объема, обращает на себя внимание общий тематический фокус этих источников. Записи Потемкина сконцентрированы на его личности еще больше, чем какие-

либо другие личные документы того времени. Для Потемкина развитие личности было центральной темой эпохи и, соответственно, его собственной главной темой. Он включал записи о своей личной жизни в революционный нарратив о формировании социалистической личности более осознанно, чем другие авторы дневников, а потому эти записи позволяют проникнуть в субъективную сферу нового человека, на которого часто ссылались — но описывали преимущественно схематично — сталинские пропагандисты.

Леонид Алексеевич Потемкин родился в 1914 году в селе Поисава близ города Набережные Челны на Южном Урале (ныне эта территория входит в состав Республики Татарстан). До 1861 года его предки были крепостными: крестьянами со стороны матери и ремесленниками-кустарями со стороны отца. В момент рождения Леонида его отец Алексей Александрович заведовал сельским почтовым отделением, а мать Клавдия Антоновна была домохозяйкой, воспитывавшей четверых детей, младшим из которых был Леонид. В своих воспоминаниях Потемкин изображает родителей носителями прогрессивно-интеллигентского мировоззрения, стремившимися расширять свой культурно-политический кругозор, но страдавшими от ограниченности образования. Алексей Потемкин любил рисовать, но в молодости не сумел поступить в Казанскую художественную школу. Мать Леонида окончила лишь четыре класса школы. На фотографии 1913 года запечатлен отец в мундире почтового ведомства, сидящий на диване с журналом «Нива» в руках. По утверждению Потемкина, этот популярный иллюстрированный еженедельник, считавший своей миссией распространение просвещения за пределы тонкого образованного слоя, был любимым журналом их семьи, ее «университетом культуры» [332].

Скромный буржуазный уют, о котором свидетельствует эта фотография, был впоследствии уничтожен в бурях войны и революции. В 1916 году самый старший из братьев Леонида, Анатолий, добровольцем пошел в армию и вскоре исчез (официально сообщалось, что он пропал без вести в ходе боевых действий). Анатолий мечтал стать горным инженером, но в Горную академию принимали только молодых людей из высших слоев общества. Алексей Потемкин умер от туберкулеза в 1919 году, когда ему было 45 лет. Оставшись без средств с тремя детьми, его жена была вынуждена вернуться в родное село, где пустовал дом ее покойных родителей. Сельская община выделила ей небольшой клочок земли, но из-за отсутствия лошади и взрослых работников он не мог прокормить семью. Отчасти благодаря продуктам, поставлявшимся Американской администрацией помощи (АРА), семья как-то пережила катастрофические годы Гражданской войны и голода[333]. В середине 1920-х годов сестра Леонида, Нина, которая была на пять лет старше брата, уехала из дому, чтобы работать и учиться, сначала в Свердловск, а потом в Горький. В Горьком же она встретилась со своим будущим мужем-врачом. В 1938 году она окончила местный Инженерно-строительный институт и стала инженером. Брат Потемкина Владимир, родившийся в 1911 году, поступил на службу в Красную армию и стал кадровым офицером.



Алексей Потемкин, отец Леонида. 1913 г.

Источник: Государственный архив Российской Федерации

Все детские годы, которые он вспоминал как годы крайней нищеты и постоянного голода, Потемкин мечтал получить высшее образование. Тем не менее он ушел из школы-девятилетки, не окончив последнего класса, и поспешил включиться в разворачивавшуюся кампанию индустриализации. В 1933 году Леонид все же был принят в Уральский горный институт в Свердловске. Сразу по окончании с отличием этого института в 1939 году наркомат назначил его заведующим геологоразведочным управлением только что построенного гигантского Балхашского медного комбината, располагавшегося в казахстанской степи. Это назначение, поразительное для человека его возраста, не имевшего управленческого опыта,

последовало за чисткой руководящих кадров горнодобывающей промышленности. В августе 1941 года, через два месяца после вторжения Германии в Советский Союз, Потемкин вступил в Коммунистическую партию, бросив тем самым сознательный вызов панике и обреченности, охватившим многих коммунистов. В годы войны он работал в геологоразведочных партиях на Кавказе, а его брат Владимир, к тому времени удостоенный наград майор Красной Армии, сражался на фронте. Как и его старший брат Анатолий во время Первой мировой войны, Владимир также пропал без вести, и лишь по окончании войны семье было официально сообщено о его гибели под Харьковом весной 1942 года [334].

Определяющий момент в профессиональной карьере Потемкина настал вскоре после войны, когда его назначили начальником геологической экспедиции в заполярный район Печенги, аннексированный Советским Союзом у Финляндии в 1944 году. В 1947 году он обнаружил там огромные запасы никелевой руды, рассыпанные между множеством небольших шахт. Залежи, ранее считавшиеся неполноценными из-за их разбросанности на большой территории, были исследованы по новаторской методике, разработанной Потемкиным, и данный район постепенно превратился в растущий промышленный город Заполярный[335]. Потемкин делал партийную карьеру, в 1955 году став секретарем парткома Министерства цветной металлургии, а в 1956 году — секретарем Ленинского райкома Москвы. Эта карьера увенчалась его назначением в 1965 году заместителем министра геологии РСФСР.

В своих воспоминаниях Потемкин преуменьшал собственные достижения в сфере образования и профессионального роста, объясняя свою биографию «массовым возвышением необразованных людей», которое он считал «естественным» следствием Октябрьской революции. Его достижения далеко не уникальны,

подчеркивал Леонид, и должны рассматриваться на фоне других выдвиженцев, молодых людей со скромным социальным происхождением и образованием, которые в конце 1920-х — 1930-е годы активно поощрялись властями, удовлетворяя потребность государства в надежных, классово сознательных кадрах, необходимых для народного хозяйства, партийного и государственного руководства [336]. Наиболее известными выдвиженцами были Никита Хрущев, Алексей Косыгин и Леонид Брежнев: будучи немного старше Потемкина, они имели весьма похожие на него биографии.

Являясь саморепрезентацией выдвиженца, дневниковое повествование Потемкина обогащает наше понимание группы рабочих, ставших управленцами, чьи субъективные горизонты до сих почти не были описаны. Советские историки ограничивались агиографическими описаниями рабочих и управленцев, самоотверженно и героически строивших социализм, внося свой вклад в будущую победу над фашистскими захватчиками. Западные историки интересовались выдвиженцами постольку, поскольку они пытались найти группу «бенефициаров» сталинизма, существование которой объяснило бы, как режим, выглядевший репрессивным, мог поддерживать достаточную для своего сохранения и развития социальную стабильность. Более поздние исследования сосредоточивались на выдвиженцах в целях изучения цивилизующего эффекта советской системы, успешного воспитания ею не только лояльных граждан, но и культурных, дисциплинированных субъектов [337]. В недавних работах было показано, что возникновение новой управленческой элиты было порождением модернизаторской миссии советского государства. Но большинство западных исследователей предполагают, что новый культурный консерватизм, утвердившийся в середине 1930-х годов, то есть отказ от прежней

иконоборческой программы и лозунг «учебы у классиков», был уступкой властей мелкобуржуазным инстинктам основной социальной базы режима. Суть этих инстинктов сводилась к откровенному стремлению к потреблению, обладанию различными благами и хорошей жизни [338].

Такие представления о выдвиженцах в свете дневникового повествования Потемкина кажутся неполными. Безусловно, в его текстах воспевались «культурность» и полнота жизни, но его стремление к культуре было неотъемлемой частью общей преданности революции. Основной темой дневника и других его текстов того времени было воспитание собственной личности в категориях, предписывавшихся возникавшим социалистическим обществом. В случае Потемкина феномен выдвиженцев предстает полномасштабной программой формирования личности, уходящей корнями в революцию 1917 года и нацеленной на создание нового человека.

Ранний дневник

Потемкин начал вести дневник в 1928 году, еще учась в школе. Почувствовав литературно-эстетические наклонности подростка, сельский учитель, друг их семьи, вручил ему тетрадь и призвал регулярно делать в ней записи. С самого начала у дневника имелись две основные цели: он служил приобретению писательских навыков и одновременно был инструментом самоанализа и самосовершенствования. Потемкин купил брошюры «Техника писательского ремесла» и «Что нужно знать начинающему писателю». Кроме того, он часто писал статьи для школьной стенгазеты. В некоторых отрывках дневника легко узнать попытки овладеть популярным в то время жанром производственной прозы. Например, увидев тракторы в отдаленной деревне, он воспел шум их двигателей, заставивший его задуматься о «мощи нашего государства, крепости пролетарской диктатуры. Трактор

создан рабочими, и в звуках его мотора слышится политика, твердость действий и характер рабочего класса. Трактор — олицетворение воли пролетариата». Потемкин добавлял, что, когда впервые увидел трактор, «весь полыхал пламенем чувств и по щеке у меня передергивались мурашки... но тогда мне не пришлось вылить бурлящие чувства на бумагу» [339].

Одной из причин того, почему в этих отрывках так легко узнать сознательные литературные опыты, является их несоответствие взглядам на коллективизацию, высказываемым в других местах дневника. Потемкин собственными глазами наблюдал ужасы коллективизации и с очевидным сочувствием описывал «испуг», «обреченность» и «безразличие» крестьян и горожан из его родных мест, у которых экспроприировали имущество и которых арестовывали. Кроме того, жертвами коллективизации стали некоторые его родственники и друзья, в том числе дядя и учитель, подаривший ему тетрадь [340].

Хотя литературное честолюбие сохранялось у Потемкина на протяжении многих лет, его дневниковое повествование все более сосредоточивалось на анализе собственного Я. Перед тем как подарить Леониду пустую тетрадь для ведения записей, учитель вписал в нее эпиграф из древнегреческого поэта Архилоха: «Пусть везде кругом засады, твердо стой, не трепещи. Победишь, своей победы напоказ не выставляй. Победят, не огорчайся, запершись в дому, не плачь». Этот эпиграф, отмечал Потемкин, «заставил меня расчувствоваться... Эти слова, прежде всего, дают мне бодрость, заставляют быть упорным и настойчивым, поднимают меня выше рамок обыденной жизни» [341]. Эпиграф и размышления Потемкина о нем несут на себе явный отпечаток самовоспитания (*Bildung*) — формирования характера через преодоление ряда внешних и внутренних препятствий и фиксации этого на бумаге.

Высшая цель, которую с самого начала ставил перед собой Потемкин, заключалась в том, чтобы стать «руководителем и общественником». Он был одним из лучших учеников в школе и отличался неутомимой общественной активностью. В школе Леонид создал бригаду учеников-ударников, вместе с другими активистами ездил в недавно созданные колхозы помогать в весеннем севе, к тому же учил неграмотных крестьян грамоте и объезжал соседние села, пытаясь заинтересовать их подпиской на газеты. Но при всех внешних успехах Потемкина мучили «мысли душевной трагедии», которые он доверял только своему дневнику — «царапине своей души». Как физически, так и психологически он чувствовал себя неуютно, ощущая недостаток качеств, которые вызывали бы к нему естественное уважение как к руководителю и общественнику — «бодрому, сильному, красивому». В соответствии с материалистическими представлениями, господствовавшими тогда в советской психологии, он возлагал вину за вспышки «детского нервного волнения, переживаний и от этого — неудовлетворенности собой» на «слабый организм» и расшатанную нервную систему. Однако основную причину недостатков своей личности он видел в несовершенстве окружающей обстановки. Вспоминая, что до 1927 года он почти непрерывно испытывал голод, Потемкин приходил к выводу, что «мрачное экономическое положение и создавало мрачную психику». Кроме того, жизнь в сельской местности свела к минимуму его «общественное воспитание». Его прошлая жизнь, прошедшая на природе и вне трудового коллектива, сделала его мягким, слабым, одиноким и недостаточно подготовленным к современной жизни, в которой ценились только коллективизм, борьба и укрепление личности [342].



Молодой рабочий Леонид Потемкин. 1932 г.

Источник: Государственный архив Российской Федерации

Именно эта несбалансированность развития заставила Потемкина бросить школу за год до окончания, в 1931 году, и приступить к переделке себя, влившись в рабочий класс. Он попытался изменить свой внешний и внутренний мир, соединив интенсивный самоанализ, направленный на «развитие психики до создания сильной личности», с освоением нового — пролетарского — образа жизни. Совместно два этих процесса должны были привести к «метаморфозе». Он писал, что хочет стать благородным и твердым, как алмаз. Сила самоанализа должна была создать жар, а пролетарское окружение добавило бы «давление»,

необходимое для того, чтобы превратить «слабенький, хрупкий и мрачный» уголь — его нынешнее Я — в графит, а графит — в алмаз [343]. Потемкин воспользовался этой геологической метафорой за несколько лет до того, как решил стать геологом. Выбор подобной лексики свидетельствовал о распространенности и известности горного дела на Южном Урале, где он рос, а также о том, сколь значимым для его сознания могло стать горное дело, служа символом формовки его Я.

Реальные столкновения Потемкина с советскими рабочими несколько его разочаровали. Большинство рабочих, с которыми он встречался в Свердловске и на близлежащих приисках, где он нанялся работать бурильщиком, были далеки от идеального образа рабочего, который он себе представлял: они сквернословили, пьянствовали, были одеты в лохмотья, кишевшие вшами. Потемкин объяснял это тем, что они были не пролетариями, а «чернорабочими, выходцами из деревни». Это замечание показывает, как молодой автор конструировал свой жизненный опыт, неосознанно перерабатывая непосредственные впечатления в соответствии с идеологическими категориями, центральными для его самопонимания. Тем не менее Потемкин с явной озабоченностью фиксировал политическое пораженчество или прямую оппозиционность «настоящих» рабочих, крестьян и даже активиста компартии, с которым он обсуждал политические вопросы. Дополнительными вызовами целостности его мировоззрения были ужасные жизненные условия, отсутствие нормального питания и мизерная зарплата, не позволявшая ему купить даже самую необходимую теплую одежду. «Надо иметь неисчерпаемый запас силы, чтобы быть воодушевленным в настоящий этап жизни». Не сбывались, похоже, и его надежды на самотрансформацию в рабочей среде. Он продолжал жаловаться на физическую слабость и неспособность

справиться с жизненными проблемами. Более чем через полгода после начала новой жизни Леонид отмечал, что он «завяз в пассивности» и перестал работать над собой. Новая работа была настолько физически изматывающей, что у него не оставалось сил вступить в комсомол или заниматься общественной деятельностью. Его жизнь деградировала до уровня «серой, полуживотной обыденщины»[344].

На первый взгляд, увлечение Потемкина закаленным, коллективистским, классово сознательным пролетариатом не отличалось от тяготения к рабочему классу Степана Подлубного и Зинаиды Денисьевской. Все три случая свидетельствуют о глубоком влиянии кампании индустриализации на биографии людей. Они показывают, что в рамках этой кампании, помимо задачи создавать основу советской промышленности, перед всеми советскими гражданами ставилась далекоидущая цель индустриализировать, рационализировать и укреплять свою сознательность. Однако случаи Подлубного и Денисьевской от случая Потемкина отличало то, что они были классово чуждыми и приобретение признаков рабочего для них было равносильно спасению. Потемкин, напротив, не стремился слиться с рабочим классом по той простой причине, что его происхождение не было классово чуждым по отношению к советскому строю. Приобретя пролетарскую твердость и пропитавшись духом коллективизма, он надеялся немедленно подняться на более высокую ступень и стать советским интеллигентом. Погружение в рабочую среду было необходимым шагом в формировании его личности, но тем не менее лишь промежуточным шагом. Если воспользоваться образом, предложенным самим Потемкиным, то пролетариат был подобен графиту — промежуточному элементу между необработанным углем и ограненным бриллиантом.

Самовоспитание сильной личности

Развитие «личности» было основной темой дневника Потемкина. Он систематически пользовался дневником в качестве инструмента реализации сложной программы «самовоспитания». Раз за разом он составлял подробные списки требований к себе, по пунктам перечисляя характеристики личности, над которыми ему следовало работать. В ключевые моменты вроде Нового года, дня рождения, годовщины Октябрьской революции или окончания очередной тетради дневника он подводил итог достигнутого. Ниже представлен отрывок одного из составленных им списков требований самосовершенствования:

Перевоспитать себя от холодного, угрюмого, не замечаемого в обществе в бойкого умом и действиями, здорового, сильного характера, общественника и руководителя.

§ 1

Веселости я смогу достигнуть, когда вращу в общество, буду в обществе держать себя свободно. <...> Играть во всевозможные физкультурные игры, буду подвижным, смелым. И буду петь, играть на музыкальном инструменте хоть в некоторой мере.

§ 2

Бойкости ума и действий достигну той разносторонностью, наостренностью, которые потребует и создаст мое пребывание в индустриальном и культурном городе.

§ 3

Здоровым буду при занятии физкультурой, правильном и трезвом ведении жизни.

§ 4

Сильный характер разовью преодолением всевозможных препятствий...

§ 5

Общественником буду, когда сольюсь с массой, буду ее типом, выражая ее настроения и желания, когда буду прислушиваться к массе и понимать ее. Пойду в ногу с массой. Относиться к каждому члену общества как к товарищу и равному себе.

§ 6

Руководителем смогу быть, когда буду передовиком массы и поведу ее за собой. Когда буду политически развит, буду высказываться на собраниях. Отдав свои силы на производстве, буду стремиться поднять производительность труда, буду ударником. Все время, без перебоя и остывания буду активным. И тогда добьюсь влияния на массу и авторитета, как хороший работник, товарищ и организатор. Эти параграфы явно отражают принципы диалектического развития. Работа над освобождением тела и чувств должна была усиливаться за счет изменения окружающей среды, перемещением в индустриальную и культурную обстановку. Физические упражнения требовались для укрепления воли и характера. В целом первые четыре параграфа являлись необходимой предпосылкой следующего шага — слияния сформировавшегося субъекта с массами. Только на этом основании Потемкин мог законно претендовать на руководящее положение, поскольку выделился бы из массы в силу своего передового политического сознания. Осуществление этой программы действий должно было привести к усилению общественной активности, которая, как он надеялся, никогда не пойдет на спад.

Выполняя эту программу, Потемкин выражал недовольство отсутствием формальных правил относительно развития «человеческого характера и этики», которые показали бы ему, как «правильно исследовать самого себя» и «научно» развивать свой организм, чтобы стать «сильной личностью». Это недовольство было у Потемкина общим с авторами других дневников, которые

тоже жаловались на то, что советская власть не выпустила ясного и обязательного руководства по коммунистической морали или научно обоснованных указаний по саморазвитию. Но в своих дневниках их авторы создавали ту самую систему параметров формирования индивидуальности, которую надеялись найти в общественно одобренных предписаниях. Для Потемкина ситуация изменилась летом 1932 года, когда он торжественно сообщил о том, что обнаружил именно ту книгу, которую искал, — «Культуру воли» Ивана Назарова, научное руководство по психофизиологическому самосовершенствованию, в котором прямо рассматривалось «самовоспитание сильной, здоровой личности». Книга Назарова свидетельствует об одержимости советской медицины и психологии 1920—1930-х годов физиологическими объяснениями психических механизмов. По мнению физиологов, воля локализовалась не в каком-то «абстрактном духе», а в нервах и их рефлексах. Именно за счет тренировки нервов и создания хорошо отрегулированной нервной системы можно выработать сильную волю. Назаров и другие утверждали, что для достижения этой цели нужно сознательно контролировать стихийные порывы, освоить приемы произвольного расслабления мышц и дыхания, заниматься гимнастикой, правильно питаться и пользоваться методиками самовнушения [345].

Под влиянием научного авторитета Назарова Потемкин стал по-новому понимать как свою жизнь, так и свой дневник. Прежде он считал свою психическую жизнь почти безнадежно испорченной и даже не заглядывал в более ранние дневниковые записи из опасения, что фатализм и слабость приведут к еще большей ее деградации. Но теперь ученый труд Назарова помог Леониду осознать, что «горький анализ» самого себя с самого начала был направлен на переделку личности. Прошрое уже не

представлялось оторванным от мечтаний о будущем, потому что научный диагноз его психического нездоровья содержал в себе обещание выздоровления. Потемкин сделал из этого диагноза ряд практических выводов. Просмотрев прежние дневниковые записи и проанализировав «всю прошлую жизнь», он решил покинуть прииски, потому что обнаружил в своих записях «тоску по городской, заводской культурно-общественной жизни». Он также убедился в необходимости вступить в профсоюз и в комсомол, чтобы способствовать своему политическому развитию, совершенствованию ораторского мастерства и «самовоспитанию». В результате он смог бы «достигнуть и совершенствовать сильную личность и затем поступить в Дialeктическо-материалистический институт» [346].

Менее чем через два месяца после того, как Потемкин приступил к реализации программы, изложенной в книге Назарова, он вступил в профсоюз и стал активным общественником. Он также попросил управляющего приисками отгородить ему комнату, будто бы для того, чтобы сосредоточиться на общественной работе, но на самом деле чтобы быть в состоянии «поставить целесообразно жизнь, заниматься самообразованием и самовоспитанием по системе Назарова». Как ни удивительно, просьба была выполнена, и Потемкин осуществил полный символического смысла переход из рабочего общежития — обиталища безликой массы — в личное пространство, где он мог продолжить развивать свою личность. Леонид так описывал обустройство своего нового жилья: «...я убрал и привел в уютный вид комнату. На глухой стене, у кровати повесил географическую карту, впереди, в простенке, портрет Максима Горького и часы и на переборке портрет Ленина, сидящего в кабинете, и пониже, над столом календарь. На столе книги, чернильница, ручка, карандаш и блокнот-памятка» [347].

В этом описании перечислены ключевые элементы задуманной работы Потемкина над формированием своей личности: письменные и мнемонические орудия для фиксации и контроля самопреобразования; «научные» орудия — часы и карта — для локализации осуществляемой работы в пространстве и во времени; портреты двух высших авторитетов, вдохновляясь примером которых Потемкин переделывал себя, — Ленина и Горького. «Я жадно читал характеристики о Ленине, ставя черты его характера в свои задачи». Соотнося свой дневник с биографией Ленина, Потемкин сожалел о социальной пустоте и «отсутствии классового самосознания» в своей юности. Но жизнь Ленина также вдохновляла его, помогая выявить смысл и даже историческую необходимость того достойного сожаления факта, что он был направлен на прииски, на задворки культурной жизни. Эта добровольная ссылка должна была служить школой, «как для революционеров служила тюрьма»[348].

Однако в длительной перспективе ни рабочий опыт, ни самовоспитание по рецептам Назарова не могли разрешить основных проблем Потемкина: «слабости психофизических сил», «слабохарактерности» и «слабоволия». Этот катастрофический вердикт продолжал воздействовать на него даже после того, как летом 1933 года Леонид покинул прииски и поступил в Свердловский горный институт — событие, которое у него были все основания считать исключительным успехом. Потемкин решил не записываться на рабфак, предназначенный для рабочих без среднего образования, и готовился к вступительным экзаменам самостоятельно, отчасти опираясь на конспекты, которые, готовясь к поступлению в Инженерно-строительный институт, вела его сестра. Потемкин сдавал вступительные экзамены вместе с приблизительно пятьюдесятью другими абитуриентами, «прилично одетыми, некоторые при галстуках и с портфелями и даже

пожилые». Большинство из них закончило рабфак, отмечал Леонид, и лишь немногие имели такое же слабое формальное образование, как он. Он сдал экзамены по обществоведению, русскому языку, химии, физике, математике — и поступил [349]. Однако, анализируя вскоре после этого свое личное развитие, он не упомянул ни одного достижения, а перечислил только уже известные недостатки.

Эти итоги Потемкин подводил в связи с революционным праздником, а стало быть, он явно измерял свое личное время по революционному календарю: «8 ноября 1933 г. К 16-й годовщине революции я пришел не ударником, а с расстроенным, не окрепшим душевным состоянием... Как я не люблю суровую действительность, люблю изящность, красоту и сам в душе жажду этого». Его психика была слишком нежна для эпохи, требовавшей от людей быть коллективистами и проявлять себя в трудовых бригадах и спортивных командах. Потемкин считал, что заражен настоящей «болезнью», которая проявляется и в том, как он ведет дневник: «Главный недостаток то, что дневник — не жизнь тесно сплетенных со мной людей (общества), а индивидуально-субъективная жизнь в обществе. Нет горячего коллективизма».

Вновь и вновь, мечтая о превращении в «сильную личность», он обнаруживал, что «препятствием» для такого самопреобразования оказывается его «слабая нервная система». Потемкин был так подавлен, что задумывался о самоубийстве. Однажды он пошел к невропатологу, но его совсем не убедило прописанное лечение: тот обвинил в слабости нервов Леонида его родителей и рекомендовал «гулять на свежем воздухе, обтираться холодной водой и принимать какую-то горько-соленую микстуру» [350]. Хуже того, весной 1934 года ему перестали платить стипендию и приступили к официальному расследованию его социального происхождения. В дневнике это происшествие

упоминается без объяснений, но позднее Потемкин говорил, что его знания и манеры вызвали подозрение, что он происходит из интеллигентной семьи. Однако в то время он, несомненно, связывал эти подозрения со своими мнимыми слабостями и наверняка задумывался о том, выражением какой социальной сущности является его слабый организм [351].

Тем не менее у таких выражений сомнения имелась своя важная функция, потому что они требовали опровержения и отрицания; самокритика Потемкина не выходила за диалектические рамки борьбы и самопреобразования. В целом его самоанализ разворачивался в координатах бинарных оппозиций слабой и чувствительной/сильной и закаленной личности, индивидуалистической ограниченности/перспективы самореализации в коллективе, лирической и экспансивной натуры / технической, машинообразной точности. Возвращаясь домой с работы в трамвае, он прислушивался к «непоколебимой, не обращающей никакого внимания властности [мотора]. Вот такая решительность, твердость машины нужна» [352].

Возникающий новый человек

В конце 1934-го — начале 1935 года в повествовании Потемкина о себе произошла поразительная перемена. Прежняя бинарная оппозиция (неполноценного) индивида и (благотворного) коллектива сменилась противопоставлением бедной и богатой личности, низменного, заурядного существования и возвышенной, полнокровной жизни. Общая тональность борьбы сходилась на нет, сменяясь новым регистром выражения. В ходе этой перестройки одобрение получали такие прежде презиравшиеся Потемкиным черты, как созерцание природы, лиризм и чувствительность. В дневник возвращалась — под гордым именем «классики» — дореволюционная литература. Но важнейшим изменением

стало безграничное почитание внутренне богатой и своеобразной личности.

Можно утверждать, что эти изменения были связаны с личным развитием Потемкина. Он постоянно рос как физически, так и интеллектуально, его положение и оценки в институте улучшались, и его стали замечать женщины, как можно судить по описаниям влюбленностей, прежде отсутствовавшим в дневнике. Кроме того, расследование его социального происхождения было прекращено, и осенью 1934 года он смог вступить в комсомол. Но сами по себе все эти события не способны объяснить резкое изменение тональности дневника. Потемкин начал говорить о себе в новом ключе, и причины этого следует искать не в личном развитии, а в культурной обстановке.

Приблизительно в 1933—1934 годах произошло всестороннее и решительное изменение ключевых ценностей и стилей самопредставления сталинского режима. В соответствии с этим изменением у Потемкина стал формироваться более свободный и широкий образ собственного *Я*, охватывавший такие темы, как материальное благополучие и любовь, прежде отсутствовавшие в лексиконе ожесточенной классовой борьбы, характеризовавшем жизнь Леонида, как и жизнь всего советского общества.

Изменение, которое произошло в это время, основывалось на чувстве исторического прогресса, на ощущении того, что наступил новый этап в развитии революции. Первая пятилетка, отличавшаяся неистовым промышленным строительством и разрушением пережитков прошлого, закончилась и была признана успешной; было объявлено, что основы социалистического строя уже заложены. Сообразуясь с этим диагнозом состояния революции, власти стали пытаться создать собственно социалистическую культуру, что явственнее всего воплотилось в требовании к различным литературным

организациям слиться в единый Союз советских писателей и создавать произведения, опирающиеся на принципы соцреализма. Новая социалистическая культура определялась главным образом через человека нового типа, которого она создавала и изображала.

Во многих отношениях эта идеальная фигура служила потребностям легитимизации. Реальное появление на советской земле нового человека должно было наглядно доказать (в частности, всем «левым» и «правым» уклонистам, критиковавшим политику Сталина), что революция не сбилась с пути и приносит плоды. Таким образом, новый человек в середине и конце 1930-х годов превратился в основной символ сталинского государства. В революционных демонстрациях участвовали уже не колонны безликих рабочих, а атлетичные молодые люди, выстраивавшиеся в пирамиды и звезды, главная функция которых заключалась в показе нового человека как исключительно красивого и гармоничного произведения искусства. Колоссальные возможности самореализации личности в социалистическом обществе стали центральной темой и на X съезде комсомола, проходившем в 1936 году. Выступавшие на съезде прямо ссылались на нового человека, гибкость и твердость которого отличали его от футуристических абстракций, характерных для предшествующего периода. «Что значит — строить нового человека? — спрашивал на съезде писатель Алексей Толстой. — [Это] значит определить все те условия, в которых его личность, питаемая коллективом и в свою очередь питающая коллектив, получает наиболее свободный, пышный и продуктивный рост». Толстой прибавлял, что главным отличительным признаком нового человека является всесторонне развитая личность, возникающая в результате изучения техники и науки, чтения классической литературы и интереса к музыке и живописи [353].

И все же, несмотря на конкретные указания о том, как работать и учиться, Толстой и его современники неохотно признавали представителей молодого поколения полноценными новыми людьми. Им казалось нелепым воплощать революционный идеал в живом и по определению не лишенном изъянов человеческом материале. Какие бы образцово чистые и совершенные члены советского общества ни появлялись, разрыв между историческим настоящим и утопическим будущим оставался непреодолимым, хотя и становился, по-видимому, менее заметным. Этот же разрыв лежал и в основе новых идеализированных образов молодых людей — участников демонстраций на Красной площади. Хотя эти спортсмены представляли новых людей социалистической эпохи, от них, как и от всех других, требовали активизировать работу над собой в целях дальнейшего приближения к идеалу. Для Потемкина было характерно то, что он стремился ликвидировать обязательную пропасть между *есть* и *должно быть* в представлении о новом человеке. Он реализовал в жизни то, что у партийных руководителей или писателей и художников было воображаемой картиной или идеологическим артефактом. На страницах его дневника новый человек превращался в конкретного действующего субъекта, и этот субъект отчетливо проявлялся во всех сферах своей жизни — не только в работе и политической деятельности, но и в культуре, дружбе и любви. В этот поворотный момент в середине 1930-х годов Потемкин по-новому определил свое постоянное желание стать развитой, образцовой личностью: теперь речь шла о превращении в нового человека.

Потемкин стал примерять на себя одежды нового человека в конце 1934 года, на втором курсе. В его дневнике того периода содержатся подробные описания открывавшихся в Свердловске так называемых университетов культуры — вечерних школ при различных

втузах. Созданные для того, чтобы дать студентам, изучавшим точные дисциплины, более широкое представление об искусстве и гуманитарных науках, эти школы воплощали в себе дух пролетарского гуманизма и его требования, связанные со всесторонне развитой, совершенной личностью. Потемкин с энтузиазмом отметил, что в его Горном институте тоже планируют открыть университет культуры, и энергично занялся привлечением в него студентов. В новой школе предлагались курсы по ряду тем — от ораторского мастерства до социологии искусства; Потемкин записался на курс истории литературы и искусства, сожалея, что график не позволяет ему записаться сразу на несколько курсов. В своем дневнике Леонид записал высказывание из вступительной речи ректора: «Нужны люди, легко несущие громадные сокровища знаний» [354].

Следуя возникшему у него стремлению к повышению культурного уровня, Потемкин, кроме того, записался в литературный кружок при библиотеке им. Белинского. На редактора газеты, который обучал участников кружка писательскому мастерству и которому Потемкин прочел отрывки из своего дневника, произвел впечатление талант Леонида, и он предложил тому «дать тип студента». Показательно то, как Потемкин понимал и истолковывал это поручение. По дороге домой, отмечал он, его захватила «идея крупная, глубокая, оригинальная по изображению нового человека с богатейшим душевным миром». Хотя речь шла всего лишь о единичном поручении, в целом данная тема увлекла Леонида на значительно более длительное время. В его дневнике и переписке следующих лет разворачивается грандиозный проект воплощения образцовой социалистической личности [355].

Не случайно, что начало реализации этого проекта совпало с открытием в Свердловске университетов культуры. Овладение культурой, как можно заключить по

подробным описаниям Потемкиным его многообразного чтения, походов в драматический и оперный театры, катания на коньках, посещения курсов балльных танцев и экскурсий в другие города, которые он организовывал для соучеников, играло определяющую роль в превращении его в нового человека. Но хотя культурность, включавшая в себя формальное образование и нормативное поведение, была желательным качеством, она являлась лишь внешней оболочкой и не выражала сущности того, что подразумевалось под социалистической личностью. Потемкин критически относился к тем, кто ошибочно принимал хорошую одежду за полноценную культуру, и эта критика повторяла позицию руководителей комсомола, согласно которой иностранного костюма и чтения книг престижного издательства «Академия» было недостаточно для того, чтобы стать по-настоящему новым человеком; для этого требовались подлинное овладение культурой и программа самопреобразования [356]. Скорее сущность этого идеала человека заключалась в гармоничной «личности», плодородной почвой для которой являлась формировавшаяся социалистическая среда, но которую тем не менее люди должны были культивировать самостоятельно.

Связь овладения культурой и изменения себя хорошо заметна в отношении Потемкина к музыке. Признаваясь в дневнике, что страдает «наследственной музыкальной глухотой», он вместе с тем охотно откликался на предоставленные ему возможности совершенствования музыкального образования — курсы истории музыки и социологии искусства в университете культуры, а также бесплатное посещение театров, концертов и оперных спектаклей, право на которое он получил как профсоюзный активист. Частые мысли о музыке в дневнике Потемкина и особенно энергичное чтение текстов, комментировавших прослушанную им музыку, можно отчасти объяснить его

желанием продемонстрировать пусть запоздалое развитие своей музыкальной чувствительности. Но важнее для него было связать музыкальные и другие культурные устремления с воспитанием личности, подчеркнуть выразительное и мобилизующее влияние на него освоения культуры. Это ощущается в описании его похода в Свердловский оперный театр, где он сидел в «ложе ударников» и слушал «Фауста» Гуно: «И музыка Шарля Гуно выражает мои чувства. В ней нахожу выражение своих чувств. От того, что выражение чувств и замыслов композитора так богато, глубоко и прекрасно, что облагораживаются мои чувства, личность моя разворачивается. Я мечтаю об идеале своей личности, я загораюсь самоотверженной, неудержимой страстью к совершенствам, к так далекому “вперед”. Я жажду, я требую от себя гигантских способностей. <...> Нужно напрячь все свои возможности, все способности, чтобы не тлеть, а гореть, пылать, освещать и согревать людей, только в этом оправдание, радость и великое счастье жизни»[357].

Глубина выражения, которую чувствовал Потемкин в музыке (и, что то же самое, в личности Гуно), ориентировала его на собственные выразительные возможности и служила образцом совершенства для дальнейшего облагораживания своей личности. Но в противоположность романтическому представлению о приобщении души человека к космическому духу молодой советский геолог понимал музыку как средство для активизации собственной личности и изменения общества. Музыка должна была организовать его психику, настроить нервы, укрепить волю и сделать его, как написал однажды Леонид, прослушав музыку Бетховена, «победоносным борцом в жизни». Бетховен создал у него «преlestнейшее состояние, когда не существуют трудности, сомнения в себе, а когда весь организм настороже, стремится

действовать и молниеносно действует. <...> Я уходил от Бетховена с бурлящей жизнью в самом себе» [358].

Нельзя не отметить и контрастирующие пересечения между этими строками и знаменитым, сделанным приблизительно за четверть века до этого заявлением Ленина о том, что нет музыкального произведения, которое нравилось бы ему больше «Аппассионаты» Бетховена, и что он с удовольствием слушал бы ее каждый день. «Но часто слушать музыку не могу, действует на нервы, хочется милые глупости говорить и гладить по головкам людей, которые, живя в грязном аду, могут создавать такую красоту. А сегодня гладить по головке никого нельзя — руку откусят, и надобно бить по головкам, бить безжалостно, хотя мы, в идеале, против всякого насилия над людьми» [359]. Различие между реакциями Ленина и Потемкина на музыку свидетельствует о произошедшем со временем изменении в понимании советского революционного проекта. Ленин, имея в виду начальный этап революции, призывал к эстетическому аскетизму, закаляющему личность и готовящему ее к жестокой классовой борьбе. Революционер должен сознательно пожертвовать эстетическим наслаждением ради строительства общества будущего, которому будут свойственны беспрецедентные культурные богатства и гармония. Именно с точки зрения этого воображаемого будущего и рассматривал вопрос эстетики Потемкин. В социалистическом обществе культурное самовыражение и воспитание воли должны развиваться параллельно, потому что эстетические поиски способствуют общему самовыражению освобожденного сознания. Жадное потребление культуры, «впитывание музыки», как писал Потемкин, является отличительным признаком нового человека.

Музыка не раздражала и не смягчала организм, как в случае Ленина, а обогащала, усиливала и уравнивала

психофизический аппарат Потемкина. Прослушивание 6-й симфонии Чайковского по уличному громкоговорителю, писал Потемкин, «разжигало [в нем] неудержимый, стремительный порыв жажды разработать отделы [учебного курса]» и хорошо сдать предстоявший экзамен. На рабочем месте его «продуктивность... заметно повышалась, настроение было хорошее, казалось все возможным и ощущалась удовлетворенность. Иногда ощущалось утомление, боль головы, неясность, полудремотное состояние, и на нервной почве боязнь, нервная дрожь, неверие в свои силы. От переутомления». Последние строки этой записи свидетельствуют о состоянии истощения, неуверенности и депрессии, редко упоминаемом в дневнике, посвященном достижению постоянной экзальтированности, восторженности и обостренной политической сознательности. Но эти строки примечательны еще и потому, что показывают, что для их автора существовало лишь два принципиально противоположных способа существования — абсолютный подъем и абсолютная подавленность[360].

Мобилизующей силой обладала для Потемкина не только музыка. В кратких описаниях кинофильмов, которые он смотрел, лекций, которые слушал, и книг, которые читал, содержатся те же стандартные заявления, что и в его реакции на музыку Бетховена. С лекции о Гейне он уходил «объятый неудержимым... порывом требовать, взыскать с себя крупного масштаба деятельности равного великим людям прошлого». Кинофильм о Кирове вызвал у него «неудержимый стремительный порыв работать с кировской хозяйственной заботливостью, инициативностью и энергией». Заметки об этом кинофильме Потемкин прочел сестре, и она посоветовала направить их в редакцию «Уральского рабочего» [361]. Реакция сестры свидетельствует о том, что на нее произвело впечатление «правильное» понимание Потемкиным идейного смысла

фильма. Все эти заметки Леонид писал отнюдь не с холодным расчетом. Он одинаково интенсивно переживал все сферы своего существования, в том числе личные отношения. В дневнике и письмах того периода Леонид ставил перед собой задачу выявить идейную сущность и стимулирующее воздействие на волю различных культурных форм. Идеологическое и психофизическое содержание этих культурных увлечений выходило далеко за рамки стремления казаться внешне культурным.

Но все же в отношении Потемкина к музыке было нечто специфическое, нечто отличное от восприятия им других форм искусства. Это подтверждается хотя бы самим количеством упоминаний в его дневнике о музыке — будь то прекрасные и вдохновляющие произведения, звучавшие из громкоговорителя в студенческой столовой, или «чудная, нежная, изящная мелодия лучшей музыки, созданной человечеством, и очаровательно красивые звуки голоса советских артистов», разносившиеся над катком поблизости от общежития. Несмотря на разнообразие мест, где Леонид слушал музыку, и независимо от конкретных музыкальных форм большинство его описаний объединяет то, что музыка в них служит фоном для утверждения выразительного богатства его собственной жизни и социалистической системы в целом. Иногда Потемкин не упоминал источника очаровавших его звуков, а это значит, что он, возможно, просто вызывал их в памяти, чтобы таким образом подняться на более высокий эстетический уровень и уже с этого уровня с восторгом созерцать социальный идеал [362]. Музыка, воображаемая или реальная, давала Потемкину эмоционально-эстетический словарь, которым он пользовался, чтобы описать себя и мир в категориях красоты и гармоничного единства. Вооружившись музыкальным аффектом, он без труда мог выполнить идеологическое требование, представляя себя гражданином самой радостной и гармоничной страны в мире.

Возникавшие в его голове мелодии включали эстетический регистр, позволявший Потемкину выйти за пределы музыки к полноте его жизненных устремлений.

Существовал и другой регистр, к которому часто обращался Потемкин и который обладал эстетическим и эмоциональным потенциалом, подобным потенциалу музыки. Это был язык любви. В декабре 1934 года, всего лишь через несколько месяцев после открытия университета культуры, Потемкин сообщил, что в силу учебной, профсоюзной и комсомольской нагрузки вынужден отказаться от посещения всех лекций, за исключением занятий по литературе. Без этих занятий, жаловался Леонид, он ощущает уныние и ищет «интересную девушку, друга», чтобы «выразить всю свою душу и облагородить [ее] перекипевшими чувствами утонченной нежной любви». Было похоже на то, что богатая и совершенная личность, которой он теперь себя ощущал, требовала родственной души, неизменно представлявшейся Потемкину в образе юной девушки, перед которой он мог бы раскрыть свой богатый внутренний мир. Леониду никогда не приходило в голову найти себе товарища-мужчину, который мог бы исполнить роль «задушевного друга», потому что он неизменно связывал выразительный язык души с женской чувствительностью и семантикой любви. В то же самое время он отвергал девушек, окружавших его и отвечавших на ухаживания, — например, работниц из студенческого общежития. С его точки зрения, они были «просты, прозаичны, а зачастую грубы и мелки, и не награждаются театральным нежным душевным ароматом». Он же искал себе идеальную спутницу: «В трамвае, на улице и в читальном зале я обозревал людей, ища среди них друга в первую очередь с внешности». Наконец, в читальном зале библиотеки им. Белинского он заметил «брюнетку с изящными чертами лица, в синем платье, облегающем ее

полную, но не толстую фигуру среднего роста». Он сел рядом с нею и завел разговор, в ходе которого сумел представиться. Потом он пригласил девушку в театр. Когда она согласилась, он был настолько взволнован, что купил себе новый костюм за 109 рублей [363].

Леонид стремился произвести на девушку впечатление своей культурностью и, помимо покупки костюма, написал ей письмо с описанием своей личности:

Мне товарищи предъявляли претензию, что я ценю только изящность, чистоту и красоту, но они заметили только внешнюю сторону, но и этого требовать друг от друга в нашем социалистическом обществе мы должны... и как говорит Маркс — отношения людей будут прозрачны и чисты, как горный хрусталь. Это время социалистического общества. Но ореол должен быть и может быть только на общественной роли, на значении работы для общества. В этом во всем апогей совершенства. Совершенствоваться, служа обществу, и в успехах этого, то есть общественно-полезного труда, я испытываю целесообразность, счастье и радость жизни... Сознаю, что Вам я наскучил, но таков мой беглый качественный, если хотите, и количественный анализ личности.

В конце концов Потемкин решил не отправлять это письмо, очевидно потому, что оно выдавало его занятость исключительно собой и ничего не сообщало об общественных ориентациях и убеждениях. Вместо этого он послал ей другое письмо, посвященное не столько личным переживаниям, сколько мобилизующему эффекту его любви к ней и влиянию этой любви на общественную деятельность: «Зина! Ваш образ всколыхнул во мне новое могучее пламя буйных грез и неудержимого порыва в общественной жизни. Это пламя ореолом отражается в неизменных победах призванной торжествовать воли». В завершение своего пылкого послания Потемкин писал: «Простите меня за склонность к инженерии душ, которая

родилась вместе со мною. Но Вам я не предлагаю своих канонов, не нужно со мной говорить на моем языке, я ценю любую прогрессивную направленность человека. Желаю достойной Вас, восторженно-радостной жизни. С горняцким, товарищеским приветом, Л.П.» [364].

Выразительная, активизирующая любовь, о которой писал Потемкин, была характерна для личностных идеалов сталинской эпохи. Любовь признавалась законным и даже обязательным чувством как средство выражения освобожденного сознания нового человека, но лишь до тех пор, пока это выражение оставалось в рамках социализированных рефлексов, имея возможность быть сублимированным во что-то большее. Личная любовь к конкретному человеку никоим образом не должна была затмевать или снижать приоритетность общественных убеждений гражданина, требовавших высших проявлений энтузиазма и преданности. Любовное чувство Потемкина было связано с конкретной девушкой, в данном случае — брюнеткой из библиотеки им. Белинского, но как только он пытался выразить это чувство, оно переставало ограничиваться этой девушкой и направлялось на общество в целом. Когда после продолжительного ухаживания Леонид осознал, что его усилия добиться взаимности Зины напрасны, он постарался использовать свое поражение в целях сублимации: «Пожалуй, эта любовь более всего благотворна, она совершенствует человека и тем отрицает свою безвзаимность». Но даже когда какая-то девушка отвечала ему взаимностью, Потемкин не увлекался ею очертя голову, а пытался направить эмоциональный подъем, вызванный их отношениями, на общественно полезные цели [365].

Как и в случае музыки, Потемкин, похоже, использовал любовь как средство достижения эмоционально возвышенной приверженности делу социализма. Выражения личной любви были подобны искрам, из

которых возгоралось пламя его пылкой любви к социалистическому обществу. В записи, цитируемой ниже, описание любви к молодой женщине Людмиле перерастает в выражение страстной любви к новому человеку:

Стремясь к максимальному диапазону жизни, к максимальной полноте, чистоте и яркости жизненного спектра, я пылко и восторженно устремился к Людмиле. <...> В ней мое сердце черпало неиссякаемую радость, и оно запылало исключительно бурным жаром. ... Жизнь будто всю свою радость выразила и влила в нее. Я не мог не восторгаться ей, как не могу не восторгаться всем истинно прекрасным, самой жизнью и счастьем, чем и является жизнь. ... А прекрасное — это не несбыточные иллюзии, а то, к чему стремится и что создает наше общество. Это есть все лучшее, созданное человечеством, это ростки нового в нашей стране, это красивые люди и новые, чистые отношения в нашем обществе. Сердце мое разгорелось до предела.

В письме к другой подруге Потемкин признавался в «искренней и горячей любви» — не к ней, а к коллективу из 500 студентов, руководить которыми ему было доверено. Он хотел «согреть каждого теплом [своего] восторженного сердца». Из любви к конкретной женщине с необходимостью следовала страстная преданность делу социализма, причем в такой степени, что Потемкин называл само строительство социализма «делом любви» [366].

Таким образом, Потемкин постоянно соединял образы идеальных женщин с решениями об ударной работе и воспеванием социалистического будущего. Его способность к овладению сталинской экономикой любви проявляется в отрывке, в котором описано первое свидание с молодой женщиной: «3 июня [1936 г.]. Мы с Зоей поехали на Уралмаш, желая посмотреть фильм “Цирк”. <...> Приятная свежесть вечера после знойного дня, молодая и душистая зелень сквера дали мне удовольствие посидеть с ней до

мощного и вместе с тем мягкого, бархатного полуночного гудка Уралмаша. Я ей выразил свои восторженные взгляды на любовь и на жизнь». В этом изображении двух влюбленных, наслаждающихся душистой зеленью сквера напротив гигантского предприятия и восторгающихся своими неограниченными будущими возможностями под звук полуночного гудка, явно выражен эмоциональный мир социализма. Вновь нуждаясь в музыкальном фоне для возвышенного воспевания любви и жизни, Потемкин изобретательно превращает заводской гудок в нежный и томительный звук романтической валторны.

Наслаждение Потемкина музыкой и любовью как языками души и стремление показать себя и свое окружение соответствующими возвышенному состоянию этой души свидетельствуют о его романтической настроенности. Его случай заставляет вспомнить горьковское понятие революционного романтизма, которое одно время соперничало с социалистическим реализмом в качестве обозначения сталинской эстетической доктрины. Впрочем, сам Потемкин пользовался понятием «романтический» лишь пренебрежительно. Он отвергал это понятие, поскольку считал, что оно описывает состояние уединенной и бесполезной тоски, фантазию о совершенстве нереализованного субъекта. Вместо всего этого он отстаивал достижение своих идеалов через активную борьбу в трудовом коллективе. Однажды, напрасно прождав Зину в читальном зале, он сделал такую запись: «Сколько умиленно-нежных чувств и мыслей рокотало в моем ощущении, если бы быть мне композитором, или поэтом, я б ласкал ими слух и зажег бы сердца людей. Не видя ее, печальные мелодии репродуктора с болезненной горечью воспринимались мной. Я ощущал себя одиноким. Но я знаю, надо просто, воодушевленно, по-взрослому спокойно и уверенно смотреть на вещи. Сколько раз я обещал себе не рассуждать о жизни, но жить» [367].

Романтическая тоска представлялась Потемкину прискорбным состоянием безжизненной уединенности. Напротив, жизнь должна была порождать оптимизм, давая человеку перспективу, цель, собственное место. Интересным элементом этой записи является громкоговоритель, на этот раз транслирующий грустную музыку, соответствующую подавленному настроению автора.

Формирование руководителя

В акте самовыражения, будь то через музыку, любовь или работу, Потемкин проявлял свою индивидуальность, которая, как он считал, занимала центральное место в определении нового человека. Новый человек был самостоятельно производимой личностью: в каждом советском гражданине таилась такая перспектива, но разовьется ли эта совершенная личность и ее многообразные таланты и умения, зависело от интенсивной работы человека над собой и, в конечном счете, от его воли. Этот волюнтаризм, лежавший в основе понимания Потемкиным нового человека, объяснял, почему он считал оправданным и важным обращать внимание на своеобразие своей личности и активно проявлять его: «Жизнь безвозвратна. Жизнь мгновенна. Ведь я неповторимый в мире. Я схватился за жизнь, как помирающий. Я почувствовал необходимость сделать жизнь в меру сил своих разумной. Дать для общества — дать для себя максимум возможного... Заставить цвести все свои возможности». Акцентирование Леонидом внимания на самостоятельно создаваемой индивидуальности соответствовало официальным взглядам на социалистическую личность. Выступавшие на съезде комсомола в 1936 году подчеркивали, что речь идет не о массовидном, безликом винтике казарменного социализма, как определяли эту личность «буржуазные идеологи». «Наоборот, социализм означает величайший расцвет

индивидуальности людей, это есть общество, где каждый может развернуть свои способности и таланты» [368].

Чем больше человек выражал свою личность, позволяя разворачиваться ее физическим, интеллектуальным и художественным способностям, тем большее признание он получал в сталинской культуре. Это соображение вписывает в логику формирования нового человека и стахановское движение. Активисты-стахановцы почитались как образцы нового человека потому, что они полностью реализовывали и выражали свое социалистическое *Я*. Это объясняет и то, почему стахановцы изображались не *просто* как рабочие (подобно изображению ударников в годы первой пятилетки), а как рабочие *и* культурные люди, и именно гармоническая цельность их ярких жизней давала им возможность совершать поступки, близкие к чудесам. Стахановцы изображались людьми, которые проживают жизнь иначе, чем простые смертные: полнее, насыщеннее и подлиннее. Благодаря чрезвычайно развитой личности они живут «полнокровной жизнью сталинского поколения» [369]. Потемкин точно так же различал два типа жизни: неполноценное, серое существование, представляющее собой простое биологическое *проживание жизни*, и возвышенную, героическую, пусть и короткую активную *жизнь*, дающую возможность реализовать свой потенциал: «Я презираю тех, кто крохоборничает в своей жизни. Кто отлынивает от трудностей жизни ради максимального сохранения своей влачащейся, тлеющей жизни» [370].

Внутренне склонный к проявлению воли и самовыражению, новый человек логически должен был стать героем или общественным лидером, чтобы сделаться собой. Дневник Потемкина в середине 1930-х годов полон упоминаний о том, что он занял то или иное руководящее положение — в частности, секретаря профкома, студенческого организатора, командира армейского взвода.

Когда в 1934 году в связи с активизировавшейся в Свердловске «культурнической» деятельностью он организовал кружок бальных танцев, то поставил перед собой цель совершенствовать навыки руководителя и не столько научиться танцевать, сколько освоить хореографию «руководства массами»[371].

В описание устремлений стать руководителем Потемкин часто включал замечания о развитии своей личности. Чтобы иметь легитимные основания управлять другими людьми и формировать их личности, он сам должен был научиться полностью управлять собой и сформировать собственную личность. После назначения командиром взвода в летних красноармейских лагерях он замечал: «С каким желанием я тяготел стать полноценным командиром. Ибо быть хорошим командиром значит быть полноценной личностью... Здесь среди командиров я увидел достойнейших людей нашего героического времени. Это живые образы новых людей социалистического общества. Людей большевистского племени». Полноценная личность должна была также обладать коллективистским сознанием. Потемкин описывал это сознание как важнейший фактор, защищающий его от какого бы то ни было индивидуалистического злоупотребления своим руководящим положением и гарантирующий, что он всегда будет действовать в интересах коллектива. Как руководитель, писал Потемкин, он стремится не «отличиться, а сделать все, что можно, для коллектива... “Я” воплощается в идейное, моральное руководство, растворяется в задачах последнего». При этом, как он писал в другом месте, роль руководителя не статична и неизменна, а всегда определяется в динамических, диалектических категориях применительно к коллективу. В то время как он пытался формировать коллектив, коллектив продолжал воспитывать его самого[372].

Он с волнением следил за своей руководящей деятельностью, за взаимоотношениями с окружающими, за своим авторитетом. Временами он отмечал «недостатки», в частности то, что у него «не всегда достаточно бодрости и самоуверенности», но в других случаях чувствовал себя полностью изменившимся, впервые полноценно проживающим собственную жизнь. Во время студенческой геологической экспедиции весной 1935 года он поспорил с бригадиром о методах работы. В конечном счете прав оказался Потемкин. В дневнике он писал:

Я впервые в жизни, свободно, смело, задорно и, может быть, даже дерзко, выпрямил плечи и с торжествующей самоуверенностью смотрю на людей. Я в первых рядах овладевающих техникой производства. Я не только член производственной бригады, я помощник бригадира... Я с восторгом, многочувственно произношу слова С.М. Кирова «наш рабочий класс твердо взял в свои руки судьбу 170-миллионного населения нашей великой страны». В чем непобедимая сила моей воли. Сила эта в величайшей справедливости, гениальной мудрости, жизненной мощи класса и его мозга, партии, поистине детищем которой я воспитываюсь. Мы свободны [373].

Личная победа не ограничивалась только им самим («Я»), а превращалась в победу всего коллектива («Мы»).

Самоутверждение в сталинскую эпоху, судя по всему, разворачивалось в коллективистском регистре, и личный голос был включен как исторически, так и социально в рассказ о закономерной победе советского рабочего класса, представленного его авангардом — Коммунистической партией.

Характеризуя себя в подобных героических понятиях, Потемкин не просто описывал черты социалистической личности. Целью его описаний было нечто большее: прославление энергичной, оптимистичной, прекрасной и героической жизни в социалистическую эпоху, сделавшей

возможным появление такого идеального типа человека. Осознание того, что после жарких сражений первой пятилетки жизнь улучшилась и качественно изменилась, не только выражалось в знаменитом сталинском лозунге «Жить стало лучше, жить стало веселее», но и проявлялось в ряде других публичных заявлений, тем более что сталинскую идеологию последних предвоенных лет можно резюмировать — несколько парадоксально, учитывая определившие этот период террор и репрессии, — как призыв жить полноценной жизнью. Даже 65-летний ленинградский рабочий, приветствовавший X съезд комсомола, заявлял, что его жизнь теперь только началась и что социалистический строй предоставил ему возможность свободно жить и полноценно выражать себя [374].

Жизнь, описываемую подобным оптимистичным образом, следовало понимать не эмпирически, в смысле повседневного существования человека, а исторически. Такое понимание подразумевало конкретную историческую эпоху, эпоху социализма, априорно определяемую в жизнеутверждающих категориях силы, оптимизма и полнокровности. Когда Потемкин и пожилой рабочий, приехавший на съезд комсомола, говорили о своей «радостной жизни», они имели в виду не беззаботное существование, а содержательное бытие, сутью которого было выполнение важнейшего исторического задания преобразования мира; именно осуществление этой миссии давало ощущение истинного счастья. Как писал подруге Потемкин, «только борьба за осуществление стремлений разума есть подлинная жизнь, ее смысл и великая радость. Наша жизнь и наша молодость счастлива тем именно, что мы имеем все возможности не только мечтать, но и осуществлять свои мечты». Это прославление «жизни» в категориях силы, здоровья, красоты, оптимизма и отваги, в противоположность низменному, обывательскому «существованию», безусловно имеет ницшеанский оттенок.

Некоторые авторы, чье творчество вдохновляло Потемкина, — Максим Горький, Анатолий Луначарский, Николай Островский, Джек Лондон, Эптон Синклер — как известно, увлекались идеями философа. Но важные черты нового человека в понимании Потемкина были решительно не ницшеанскими. Если ницшеанский сверхчеловек — это одиночка, возвышающийся над толпой, то Потемкин отстаивал коллективную субъективность: чем более развита личность человека, тем в большей степени он включен — по духу и по поступкам — в жизнь целостного коллектива. Советский новый человек развивался по законам исторического прогресса, в противоположность *Übermensch*'у, восстающему против исторических и культурных ограничений [375].

Взгляд Потемкина на собственную жизнь был насквозь историчен, отражая понимание того, что законы истории определяют не только развитие революционного проекта, но и его личную биографию. В первой дневниковой записи за 1936 год он отмечал: «1936 год я встретил успехами в учебе и общественной работе. Наметил себе лозунг — больше жизни! Больше легкости в своей деятельности. Надо уметь брать радости жизни, воплощать их в себе и уметь создавать их в других». Если читать эти строки вне исторического контекста, то они могли бы свидетельствовать о странном противоречии между легкостью бытия, о которой мечтал Потемкин, и усилиями, необходимыми для того, чтобы добиться такой легкости. Но на самом деле «радыи жизни» были идеологическими императивами, качествами, которые следовало воплотить в себе, чтобы соответствовать историческому развитию, а потому овладение ими и непринужденное обладание ими требовали немалого труда. Ознаменовавшие начало нового года, эти строки давали ощущение, что революционный проект преодолел в своем развитии еще один рубеж. Внутри идейного советского гражданина функционировал

революционный календарь, упорядочивавший его личную жизнь и придававший ей биографическую форму.

Осознание Потемкиным синхронизированности собственной жизни с историческим временем заставляло его ощущать самопреобразование безотлагательным, не терпящим проволочек, а иногда и не вполне успешным делом (учитывая высокие образцы, с которыми он сравнивал собственное развитие). Требование истории к Потемкину — и вообще к советской молодежи — заключалось в том, чтобы ни больше ни меньше превзойти выдающихся деятелей культуры прошлого. В разговоре с другим студентом Потемкин не сумел четко обозначить свои жизненные цели. Его собеседник заметил: «Гете тоже не знал, кем он будет, но он думал, что он будет гением, и занимался философией, литературой, искусством и естественными науками. В результате чего оформился великий поэт с универсальной эрудицией». «Эта тождественность со мной, — писал Потемкин, — меня воодушевила». «Я не могу заниматься — меня увлекают чудесные картины моей фантазии». Он понимал, насколько не в его пользу работает сравнение с Гете, но был убежден, что для того, чтобы «не влачиться за историей, чтобы идти жизнерадостно, достойно времени и роли, нужно быть впереди передовиков прошлого. Нужно быть крупнее великих людей прошлого» [376].

Это утверждение Потемкина невольно перекликалось с завершающей частью книги «Литература и революции» Льва Троцкого, которая была написана в начале 1920-х годов и в которой Троцкий предсказывал, что в будущем социалистическом обществе «средний человеческий тип поднимется до уровня Аристотеля, Гете, Маркса. И над этим кряжем будут подниматься новые вершины». Троцкий имел в виду, что в конечном пункте исторического процесса рационализации, активно проводившейся коммунистическим режимом, человеческая психика будет

настолько хорошо организована, что в ней высвободится неслыханная энергия. Троцкий относил свое предсказание к далекому будущему и высмеивал тех революционеров, которые мечтали о создании нового человека здесь и сейчас [377]. Но всего лишь через десятилетие этот сценарий был усвоен свердловским студентом-геологом, который, формируя сознание образцового нового человека, соотносил себя с величайшими творческими умами прошлого. Наступающая эпоха социализма, неоднократно отмечал Потемкин, постепенно создает людей прекрасных, как Венера Милосская, людей, личные и общественные отношения которых будут «ясны и прозрачны, как горный кристалл». В эпоху социализма чистота горного хрусталя и изящество античных богинь вытеснили идеал алмаза, символа твердого и мужественного пролетария [378].

С учетом выраженной приверженности Потемкина полнокровной и выразительной жизни неудивительно, что время от времени он высказывал неудовлетворенность ограниченными перспективами студента-естественника, живущего на советской периферии. Он мечтал перевестись в Московский институт философии, литературы и истории (ИФЛИ), недавно созданный элитарный вуз, дававший гуманитарное образование. Прерывая возвышенные размышления о наступающей эпохе социализма, он записывал: «У меня опять разбредилась мысль перейти учиться в историко-философский институт, а работа геологом — это пародия на мои желания, стремления, даже больше того, это гроб моему идеалу». Однако в конце концов Леонид продолжил учиться в Горном институте — отчасти потому, что вероятность его приема в ИФЛИ была очень низкой, но отчасти и потому, что он нашел другую возможность самореализации — в Коммунистической партии [379].

Потемкин стал проявлять политическую активность рано. Еще в 16 лет он самостоятельно организовывал

лекции в соседних деревнях, просвещая крестьян. Политическое просвещение — усвоение и самостоятельная разработка теории коммунизма, а также выработка навыков политического организатора и руководителя — является одной из важнейших тем всего его дневника: «Неустанно работать над повышением своего культурно-теоретического уровня, воплощая, впитывая в себя идеал общественника-теоретика, революционера, партработника великой школы Ленина». Признание товарищей, которое принесло Потемкину чтение лекций, наполнило его радостной верой в себя — качеством идеальной личности, которое он с завистью обнаруживал в других молодых людях, но наличия которого почти не чувствовал сам, учитывая обнаруженную им в себе психофизическую неразвитость [380].

Потемкин подал заявление в комсомол в 1932 году, после того как нанялся работать на прииски, но это заявление не было удовлетворено вследствие того, что шахту, на которой трудился Леонид, ликвидировали, а сам он стал студентом Горного института. Сохранявшиеся подозрения в отношении его социального происхождения, возможно, объясняют то, почему его не приняли в молодежную организацию в 1933 году, при поступлении в Горный институт. В ноябре 1934 года, накануне годовщины революции, он наконец стал комсомольцем, и уже через несколько недель в институтской газете начали публиковаться его статьи. Осень 1934 года стала для Потемкина критическим моментом развития: «Семнадцатую годовщину Октябрьской революции я двадцатилетний встретил впервые удовлетворенный некоторой достойностью». Усиливая чувство собственного достоинства, вступление в коммунистическое движение вместе с тем было обусловлено убежденностью Потемкина в том, что существование субъекта как таковое лишено всякой ценности, если оно не связано с общественным

движением, имеющим всеобщую цель. Но Потемкин находил в этом еще один привлекательный момент. Коммунизм был для него высшим искусством, выводившим его деятельность на уровень художественного творчества. Его дневник свидетельствует о значительной эстетической привлекательности коммунистического проекта в его сталинском варианте [381].

Зарекомендовав себя в течение нескольких лет в качестве профсоюзного активиста, Потемкин в 1936 году получил ответственное поручение — стать политическим агитатором. Осуществилась его давняя «мечта», воплотилась в жизнь самая суть его «стремлений»: «Нет более значительной и прекрасной роли. Я с восторгом ринулся учиться этому величайшему искусству у Ленина, Кирова и других вождей партии». После переизбрания профоргом он сделал аналогичную запись: «Я чувствовал свою жизнь: ощущал, что личность моя цветет, и я цвел всеми своими возможностями, как артист своим талантом» [382].

Потемкин отождествлял агитатора с артистом в двух смыслах. Во-первых, агитатор должен владеть ораторским искусством. Только коммунист, овладевший искусством речи, способен зажечь и убедить слушателей, а тем самым получить доступ к их сознанию. Потемкин писал об «ораторском искусстве школы Ленина — Сталина» как о «самом первостепенном, могучем и прелестном из всех искусств». На вечерних занятиях в университете культуры, которые он посещал, преподавалась, в частности, культура речи, и ее же Леонид включил в список желательных качеств в новогодней записи за 1935 год. Он критически отслеживал недостатки в своих публичных выступлениях, но фиксировал и удачные моменты: «Чистый, четкий, решительный голос буйно концентрирует внимание взвода». В другой раз он писал матери: «Мой голос властвовал своей мощью не только в аудитории, ему она

была мала, но и он поднял мой дух и уверенность в себе. Моя речь закончилась аплодисментами». Искусство речи, при хорошем владении им, возбуждало слушателей, делая их разгоряченными и податливыми, как раскаленное железо. Однако для воспитания и формирования доверенного ему коллектива от активиста требовалось и владение другим искусством — искусством руководства. На X съезде комсомола в 1936 году «искусство руководства» неоднократно упоминалось, но понималось метафорически. Потемкин, напротив, придавал ему буквальное художественное значение. Задача руководителя, по его мнению, заключалась в том, чтобы «твердо взять под свое влияние и руководство личность каждого студента», перестроить сознание студентов в соответствии с нормами эстетического совершенства и в конечном счете сформировать «единый, спаянный коллектив». «Заставив их выправить свои недостатки, преодолеть остатки прошлой отсталости в своих сознаниях», Потемкин надеялся превратить доверенных его руководству студентов в самостоятельных «полноценных командиров производства» [383].



Студенты-геологи (Леонид Потемкин в центре).
Свердловск. 1935 г.

Источник: Государственный архив Российской Федерации

Потемкин с удовлетворением отмечал, что развитие личности, к которому он прежде стремился в собственной жизни, превратилось в общественную задачу. Результаты его усилий, направленных на создание образцовых социалистических личностей, отражались в характеристиках лучших ударников и активистов, которые он «зачитывал» в многолюдных аудиториях института «с восторгом». Представляя биографии образцовых студентов, Потемкин приписывал себе житнетворческую роль, и этот демиургический импульс лежит в основе сцен, в которых Леонид описывал, как он «бросает взглядом удаль, бодрость в глаза человека и видит, как в них зажигаются огоньки общей радости»[384].

Деятельность активиста коммунистического движения была прикладным искусством, превращавшим Потемкина из будущего инженера-геолога в инженера человеческих

душ и художника. Коммунист-художник мог относиться к человеку и природе в их единстве как к грандиозному полотну, над которым следовало работать, чтобы воплотить свои замыслы создания общественного устройства, отличающегося высочайшей красотой и совершенством [385].

Новая саморепрезентация Потемкина как свободного гражданина социалистического общества настолько противоречила его прежним, крайне критическим самооценкам, что напрашиваются вопросы: как он мог соотнести эти взгляды друг с другом и имела ли новая идентичность, на которую он претендовал, сколько-нибудь достоверную биографическую основу? Еще в октябре 1934 года он по-прежнему осознавал себя неразвитым, физически слабым молодым человеком. В то время он начал новую тетрадь дневника и озаглавил ее: «Философско-лирические сенсации ненормального юноши, т.е. юноши с центром тяжести не во внешнем мире, а во внутреннем» [386]. Тем не менее всего лишь через несколько месяцев этот юноша начал представлять себя формирующимся новым человеком. Личная «патология» внезапно приобрела парадигматическую культурную ценность. Как Потемкин осмыслял это поразительное изменение в собственной саморепрезентации?

Потемкин отмечал — и высоко оценивал — то, что меняется внешне. С очевидным удовлетворением он сообщал, что родственники и друзья детства, давно его не видевшие, утверждают, что он изменился до неузнаваемости. Фотографии Потемкина в годы учебы в институте тоже показывают, что он изменился: Леонид одет в костюм с галстуком и уверенно смотрит в объектив. Но, несмотря на все эти внешние перемены, он подчеркивал, что настоящие изменения происходят внутри него — в его сознании. И настаивал на том, что это прогрессивное развитие было закономерным, соответствовало

марксистским законам диалектического и исторического материализма.



Леонид Потемкин. 1937 г.

Источник: Государственный архив Российской Федерации

Это становится очевидным в дневниковой записи, которая была сделана осенью 1935 года и начиналась словами: «Первоисточником моей внутренней жизни было детское переживание нужды лишений». Затем Потемкин описывает, как мать и сестра послали его просить милостыню «Христа ради»: «И мне семилетнему преподносят едкую насмешку и издевательское оскорбление. <...> Зимой я не учусь, не в чем ходить... Беспечные игры детства меня миновали». В этот момент ретроспекция Потемкина расширяется и история развития его субъективного *Я* дополняется макроисторическим описанием: «Насилие материальное, умственной и нравственной свободы воспитывало из

поколения в поколение духовное рабство, скудоумие, безвольность людей, обреченных на материальную нищету. Передаваемая в наследство утрата ощущения своих человеческих достоинств, веры в свои достоинства и их свободного развития. Именно это возмутило мое сознание. Взыбнулась волна негодования и протеста» [387]. Эта и другие автобиографические записи созвучны марксистскому изложению истории пролетариата, поработанного капиталистической системой, но затем восстающего против угнетателей. Когда Потемкин писал о своем формировавшемся сознании и взбунтовавшейся воле, он вписывал себя в общий нарратив о пролетариате и в диалектику страданий и бунта, превращения из «ничего» во «все», лежащую в основе мифологической истории рабочего класса.

Значение марксистского метанарратива о пролетариате для формирований представлений Потемкина о самом себе можно оценить по гневной реакции Леонида на удивление его тети, вызванное превращением племянника в будущего инженера, носящего костюм и галстук. Очевидно, когда он был младше, «она не видела в нем за оболочкой нищеты возможностей». «Нет, — восклицал он в дневнике, — это не счастливая случайность, что я учусь в институте, это необходимое следствие социалистической революции, которая подняла нас снизу и возвысила над их головами... Наша воля торжествует... Только мы, дети нужды и невероятных лишений, должны и можем создать новое общество... Там нам дано воспитывать все остальное человечество и дать человечеству подлинный расцвет» [388].

Марксистско-ленинская диалектика стала для Потемкина глубоко осмысленным личным образом жизни. Диалектический материализм (*диамат*) — марксистское учение о закономерном развитии природы, общества и сознания в процессе борьбы — означал для него не просто

предписанное сверху мировоззрение, усвоенное благодаря учебникам, а самую суть коммунистического катехизиса. В таком качестве диамат обладал осязаемым жизнетворческим влиянием, соединяя прошлые и нынешние переживания, мысли и действия в целостную и целенаправленную биографию. Диалектика красной нитью проходила через жизнь Леонида, связывая воедино и выпрямляя, казалось бы, разрозненные и случайные побуждения и действия, объединяя различные проявления его Я. Истина о личности Потемкина содержалась в ее диалектическом развитии и раскрывалась при взгляде в прошлое, при подведении итогов этого развития и перечитывании прошлых записей в дневнике. Устанавливая истину о себе, Потемкин считал обязательным различать психологию и историю. Хотя иногда Леонид предполагал, что его действиями руководят «психические мотивы», но напряженные размышления помогали ему понять, что главной движущей силой его жизни является сознательная воля, которая исторична и определяется законами марксистской диалектики. Это объясняло «последовательность и целесообразность» его жизненного развития [389].

Будучи неотъемлемой частью «Я-концепции», выработанной Потемкиным, овладение диалектикой вместе с тем являлось ключом к его признанию и успеху в сталинском обществе. В своем дневнике Леонид сообщал, что преподаватель диамата был недоволен успеваемостью их студенческой группы. Как староста группы Потемкин решил организовать для своих соучеников коллективные занятия, чтобы повысить уровень их идейной подготовки. С этой целью он даже составил рукописный учебник диамата объемом в 186 страниц [390]. На последовавшем устном экзамене по диалектическому и историческому материализму Потемкину пришлось в присутствии всей группы состязаться с лучшим по диамату студентом.

Лучший студент начал первым и получил хорошую оценку. Потом настала очередь Потемкина. При шумной поддержке всей группы (немаловажная подробность, учитывая чувствительность Леонида к опоре личности на коллектив) он проявил столь впечатляющие знания «сущности гегелевской философии», что преподаватель пересмотрел свое прежнее заявление о том, что он не поставит пятерку простому смертному и даже самому богу, а лишь «тому, кто звезды с неба хватает». Преподаватель заявил факультетской экзаменационной комиссии, что Потемкин — «это вожак овладения марксизмом» [391].

После одного из коллективных занятий, отмечал Потемкин в дневнике, его «одарили внимательностью»: девушки подхватывали его под руки, его, «которого никто не любил, да и не за что было любить». И Леонид продолжал: «[Моя] любовь, не принятая ни одной девушкой, загорелась любовью к обществу, и [я] одарял светлой радостью величайшей любви общество. Я заставляю любить себя не только чарующую меня девушку, а меня будет уважать и любить все общество». Даже это замечание об освоенном диамате и последствиях этого было оформлено диалектически. Он, который в прошлом был некрасив, незначителен, не способен добиться любви к себе, встал на путь личного самосовершенствования, открыл себя обществу, которое в свою очередь вознаградило его любовью, бесконечно более высокой, чем та, которую он когда-либо чувствовал к любой из девушек, более высокой, чем личная любовь вообще. Этот образ мысли свидетельствовал, что он ощущал себя достигшим счастливого синтеза в своем личностном развитии. На полях рядом с одной из автобиографических дневниковых записей он даже мелкими буквами написал: «триумф развития» [392].

Сохраняя чистоту среди грязи

Осенью 1934 года, когда Потемкин встретился с редактором газеты «Горняцкий штурм» и решил представить себя образцовой социалистической личностью, он сделал программное заявление: «Я сознаю себя рождающимся писателем. Я знаю, что делать. План и проект разработан, остается только выполнять его, исправлять, переделывать, учиться, совершенно осуществлять проект». Через два года, в сентябре 1936 года, Леонид внезапно решил отказаться от этого проекта. Путешествуя по Волге на пароходе «Тургенев» и приближаясь к городу Горькому, он размышлял о своих «литературных мечтаниях». Сравнивая себя с великим Максимом Горьким, который умер в начале того же года, он осознал, что его цели были чрезмерно амбициозны и что ему не удалось использовать дневник для репрезентации своего богатого внутреннего мира. Вместо этого Потемкин задумал «делиться своим душевным миром и его достижениями» в «письменном и устном» общении с другими людьми[393].

Глядя на свой дневник за предшествующие пять лет, Потемкин пытался понять, почему он возник и чему был посвящен. В отрочестве, объяснял Леонид, никто не обращал на него внимания и не уважал. Это побудило его завести дневник и замкнуться в «сфере самоанализа». Ведь дневники заменяют друзей одиноким или испорченным людям, не имеющим настоящих товарищей, которые помогали бы им анализировать и переделывать себя. Теперь же, когда многие признают в нем руководителя, Потемкин мог «самоуверенно и с любовью обратиться к людям сокровища [своего] духовного мира». Под «людьми» Леонид подразумевал в первую очередь подруг. Женщина была для него «товарищем в духовно-творческой жизни». В задушевном диалоге с подругой удобнее всего рассказывать о жизни своей души, а это позволит ему приобрести эстетическую тонкость, необходимую для реализации

призвания коммуниста. Но найти женщину для платонического общения было не так-то легко: каждая подруга только и думала, как бы заставить его жениться на ней [394].

Этими мыслями заканчивается дневниковая тетрадь Потемкина. Однако есть источник, позволяющий узнать о личной жизни Леонида в следующие два года (1937—1938). Это 157 страниц его переписки с Ириной Жирковой, молодой женщиной, изучавшей литературу в Горьком. Она, похоже, была максимально близка к его идеалу женской души [395]. В письмах к Жирковой Потемкин сохранял приверженность программе формирования личности и идеалу нового человека. Обсуждение этих тем в письменном общении между друзьями проливает свет на смысл их дружбы и на границы и значение приватности в понимании двух молодых советских граждан.

Потемкин встретился с Жирковой благодаря сестре, которая в 1932 году переехала из Свердловска на учебу в Горьковский инженерно-строительный институт, и после этой встречи вступил в переписку с нею. Хотя выражавшиеся в письмах взаимные привязанность и влечение могут натолкнуть на мысль, что Леонид и Ирина были влюблены друг в друга, Потемкин впоследствии настаивал на том, что их отношения были чисто платоническими. Основной темой и целью переписки было духовное общение. Оба участника переписки пытались проявить самые сокровенные и нежные чувства, сохранив стремление к моральной чистоте. Как утверждала Жиркова, письма должны были помочь им в воспитании души. Оба подчеркивали искренность своих чувств. В ответ на обвинение Ирины, что в одном из писем Леонид скрывает истинные настроения и «официальность в нем слишком ярка», Потемкин заявил, что никогда не писал чего-либо, что он действительно не чувствовал: «Письмо — откровенное выражение эмоции внутреннего мира» [396].

Кроме того, чтобы подчеркнуть искренность и взаимное доверие, Потемкин и Жиркова давали друг другу читать свои дневники.

Помимо откровенного показа богатого внутреннего мира, «анатомия души», которую демонстрировали Потемкин и Жиркова в своих письмах, была предназначена для контроля и ускорения их духовного развития. В двадцатую годовщину Октябрьской революции Леонид прославлял «пышный и величественный расцвет оранжереи социалистической культуры» и сразу же желал Ирине, родившейся в год революции, «полного и величественного расцвета твоих духовных способностей на еще бóльшую красоту этой оранжереи»[397]. Иногда в их переписке обнаруживались идейные разногласия, побуждавшие Потемкина критиковать «уклоны» своей заблуждавшейся подруги. Он читал ее письма строго и придирчиво, как будто проверял студенческую работу по историческому материализму: «Наконец-то кончил пунктуальное обозрение твоего письма. Теперь разреши сделать общее заключение». В одном из писем он перечислял ее идеологически сомнительные заявления, например: «Природа вовсе не создана для человеческого счастья, и человек совершенно не умеет его строить... Да и как современным людям не иметь желания убежать из этого несчастного времени». Приведя эту цитату, Потемкин взывал к идеологическому разуму Ирины: «Ира, я это объясняю переутомленным, поздним временем. Ведь нельзя же писать от себя с какой попало точки зрения. Мне не хочется на эти вопиющие неверности давать критику, так как я надеюсь, что ты сама мне их опровергнешь. Я делаю не любые выводы, а выводы с точки зрения общества, к которому я принадлежу, и меня довольно-таки не устраивает то, что ты на мои замечания смотришь, как ты выражаешься, другими глазами. И тем более, если они тебя не заставляют задуматься. Я пишу это с болью сердца» [398].

В свою очередь Жиркова тоже мягко упрекала своего друга, называя его «неисправимым мечтателем»: «Ты все идеализируешь. Я вполне согласна с твоими доводами о жизни... Но только к твоим словам нужно добавить — так должно быть, а к моим — так есть, вот и все». В ответ Потемкин сообщал, что идеализм, который она ему приписывает, — исторически устаревшая позиция, к которой прогрессивно мыслящие люди склоняются, «на миг забывая ужасную действительность»; напротив, идеалы, к которым обращается он, «будут воплощены в действительность» строительства социализма, а его энтузиазм основан на знании о том, что сам он «впервые увидит первые воплощения в действительности идеала» [399].

Однако Потемкин также признавался в слабости своего мировоззрения, прося у Жирковой совета: «Ирусик, выслушай исповедь непутевой души моей». Он писал о том, что недавно его охватила «очередная душевная депрессия». После того как он добился всего — самых высоких оценок, признания студенческим вожаком и «слепого влечения к девушке», у него не осталось целей, к которым можно было бы стремиться, и «вспышка [его] души» угасла: «О, Горный институт, ничто уже в твоём диапазоне не в состоянии воспламенить мою душу. Я как кот съел сливки и с недовольным выражением смотрю на остальное содержание. Нет, я не инженер и не геолог, тому душа моя помеха» [400].

Недуг Потемкина можно назвать проявлением утопической меланхолии. Если его представление о своем *Я* определялось исторически и если он таким образом реализовал себя в акте становления, то достижение идеала не могло принести ему долговременного удовлетворения. Напротив, оно подрывало его идентичность и ослабляло волю, которая была порождена именно стремлением к высшей цели. Утопическая меланхолия не могла поразить советских граждан в 1920-е годы, когда утопический идеал

коммунистического общества был еще далек от существующего порядка вещей. Но как только было заявлено, что социализм уже воплощен в жизнь, подобная форма меланхолии стала возможной. Ее приступ был признаком того, что воля данного коммуниста дала сбой и что он бесконтрольно поддался бессознательным соблазнам. Если он не мог заставить себя бороться с пережитками своего прежнего Я, то обязанность товарищей состояла в том, чтобы помочь ему в этом. Став своего рода исповедницей Потемкина, Жиркова упрекала его в «пессимизме» и «отсутствии бодрости и уверенности в своих силах». Любая депрессия автоматически приводила человека к обвинениям в собственный адрес, порождая призыв к новым действиям[401].

С точки зрения Потемкина, эти взаимные признания и комментарии составляли суть его отношений с Жирковой: «Отраднейшее чувство я испытываю от нашей дружбы в том именно, что она позволяет нам понять, разделить жизнь внутреннего мира и помочь друг другу оценить свои силы, чтобы разумно их использовать. Дружба должна помогать исправлять недостатки, развивать культуру личности и жить осознанной, устремленной жизнью». Основной целью переписки Потемкина с Жирковой было «выковывание» коммунистического типа дружбы. Духовная близость должна была использоваться для взаимного формирования собственной личности, а также для создания условий разумной, идейной жизни. Пользуясь «общим языком души», друзья могли взаимно выявлять личные недостатки и помогать их преодолению [402].



Леонид Потемкин списывает письмо Ире Жирковой.

Источник: Государственный архив Российской Федерации

Поучительные и образцовые качества дружбы Потемкина с Жирковой требовали публичности. Оба они всячески подчеркивали абсолютную взаимную искренность, но никогда не понимали свою переписку как частную в смысле скрытности и секретности, неприемлемых в публичной сфере. Показательна в этом отношении фотография Потемкина в читальном зале Горного института. Как он впоследствии объяснял, написав одно из первых писем к Жирковой, он прочел его своему другу Николаю Алейникову (который тоже запечатлен на фотографии). Николай попросил Леонида переписать для него это письмо, «обнаружив в нем что-то интересное». Как свидетельствует фотография, переписка с Жирковой велась в «получастной» сфере, общей для Потемкина и его институтских друзей. За переписыванием письма следили

не только соученики Леонида, но и юный Ленин, статуя которого украшала читальный зал. Стенгазета на заднем плане подчеркивает связь между интимным письмом и коммунистической идеологией, указывая на то, что письма Леонида к Ирине являлись развитием газетных од социалистической жизни [403].

Жесты искренности Потемкина и Жирковой следует рассматривать в контексте подозрительности, доносов и вынужденных признаний, характерных для того времени, когда велась их переписка. При рассмотрении сквозь такую призму сентиментальный способ общения, использовавшийся ими, можно истолковать как форму нравственного очищения и оправдания, необходимую для физического и духовного самосохранения. Жиркова часто упоминала, что пишет письма поздно вечером, и оба намекали на то, что утомлены занятиями, работой и общественно-культурной деятельностью. Как указывала Ирина в одном из писем, «я сейчас загружена работой, что буквально нет свободной минуты для себя. Утро в Институте, день по хозяйству бегаю, с 4-х на работе, а с 7.30 на курсах иностранных языков... Хожу в театр, кино, читаю художественную литературу и, конечно, занимаюсь собой. Иногда такая жизнь немного утомляет, но в общем я довольна... Пишу на уроке литературы» [404].

Восторженный язык души в этих продуманных, тщательно написанных письмах возникал в обстановке неустанной учебы, лихорадочного строительства и непрерывных политических кампаний против двурушников и скрытых врагов народа.

Атмосфера политического террора проявляется в дневнике и письмах Потемкина косвенным образом. В его поддержке здоровой, сильной, активной жизни присутствует тень неявного, но порой прямого и резкого осуждения общественной слабости и отсталости. В начале 1935 года он упомянул о публичном докладе в институте,

посвященном «подонкам зиновьевской группы». Изредка прямые указания на политические репрессии содержатся и в письмах Ирины: «Лео, я так рада, что ты относишься к тем людям, которых я уважаю, пред которыми преклоняюсь и на которых смотрю большими глазами, потому что они сохранили в себе чистоту среди сплошной грязи». Таким образом, оба они превозносили идеалы духовной красоты и чистоты, а также свое представление о светлом будущем на преимущественно не упоминавшемся, но подразумеваемом фоне нечистоты, борьбы и смерти[405].

В контексте политического террора дружба между Потемкиным и Жирковой приобретала определенные романтические коннотации. Подобно немецким романтикам, культивировавшим дружбу как убежище от эгоизма буржуазного мира, эти молодые советские граждане представляли себя друг другу в качестве образцов добродетели и чистоты, отчасти для того, чтобы защититься от загрязняющих вторжений политики. Однако Потемкин не считал дружбу диаметральной противоположностью общественной сфере; наоборот, он всегда настаивал на том, что личные чувства должны подчиняться его всепоглощающей приверженности строительству нового строя.

Символическая жизнь

В одном из писем к Жирковой Потемкин напоминал ей: «Человек рождается не для того, чтобы так или сяк отбыть срок жизни, а для того, чтобы улучшить мир своим пребыванием в нем, а это невозможно без стремления к совершенству, к идеалу личности и общества». Попытка Потемкина представить себя образцовой личностью своего времени соответствует представлению Лидии Гинзбург о символическом поведении. Символическое поведение возникает на пересечении индивида и исторического типа личности. Чем в большей степени индивид пропитывается чертами обобщенного идеального типа личности, тем

символичнее становится его поведение. Гинзбург добавляет: «Жизненная символика отчетливо выступает в периоды переломные, когда рождаются “новые люди”, с новыми принципами поведения. В периоды, наконец, особенно острого внимания к личности. Самыми “семиотическими” и выразительными оказывались люди с личными предпосылками, наиболее подходящими для данной исторической модели». Гинзбург выявляла символическое поведение в биографиях таких русских мыслителей XIX века, как Александр Герцен и Виссарион Белинский, которые были воспитаны в духе немецкого идеализма, но разочаровались в его политическом консерватизме и занялись поиском пути к новой, «реалистической» этике, обращавшей большее внимание на критическую связь личности с миром. Потемкин также жил в поворотный момент, когда советская власть приступила к выработке нового идеального типа личности, и именно этого образцового нового человека он стремился в себе воплотить. Чтобы представить себя идеальной личностью, он, подобно своим предшественникам-романтикам, пользовался инструментарием «документальной прозы», в особенности личными письмами и дневником. Их основной целью было не обнародование нового типа личности, а его артикуляция [406].

Среди русских романтиков, о которых писала Гинзбург, наиболее полно воплощал в себе новый, демократический тип личности литературный критик Белинский. Острое желание превратить себя в образцового нового человека наступающей реалистической эпохи, возможно отчасти обусловленное попыткой преодолеть скромное социальное происхождение, отличавшее Белинского от аристократических участников его интеллектуального кружка. В случае Потемкина то, что он вышел из низших слоев общества, по-видимому, тоже коррелировало с интенсивностью его стремления к самопреобразованию. Не

случайно, описывая свое самосовершенствование, Потемкин неоднократно прямо ссылаясь на Белинского.

Переписка с Жирковой изобилует ссылками на взгляды Белинского на личность и ее самореализацию; к тому же в рамках своей учебы в Уральском горном институте Потемкин заполнил две тетради конспектами работ Белинского. В советских литературных и педагогических дискуссиях середины и конца 1930-х годов Белинского часто упоминали как революционного демократа, гуманиста и провозвестника эстетики социалистического реализма; о нем вышло множество работ. Именем Белинского была названа библиотека в Свердловске, литературный кружок при которой посещал Потемкин, там же он познакомился с девушкой своей мечты. В переписке с Жирковой Потемкин ссылаясь на представления Белинского о «духовной дружбе» и «духовном единстве» как источнике личностного самосовершенствования. Однажды он написал Ирине: «Моя душа жива и спокойна только тогда, когда я посвящаю себя чтению Гете, Белинского и других. Лишь они возвышают меня над мраком повседневных забот, освежают мое восприятие жизни и освещают сознание. Я хочу только одного: быть в твоих объятьях, читать вместе с тобой Белинского и мечтать и писать вместе с тобой» [407].

Потемкин полностью поддерживал тезис Белинского о том, что стать подлинной личностью можно, только возвысив свое субъективное *Я* до уровня объективной действительности, воплощенной в общих принципах «общества», «человечества» и «законов истории» [408]. То, каким образом Потемкин позиционировал себя новым человеком и связывал это позиционирование с приверженностью моральным обязательствам, более всего напоминало случай Белинского. Приверженец морального абсолютизма, Белинский утверждал, что моральные идеи, изложенные в литературном тексте, убедительны лишь тогда, когда автор придерживается их в личной жизни.

Похоже, что в письмах к друзьям Белинский сознательно выставлял моральную сторону своей личности напоказ, оценивая ее сам и побуждая оценивать других. Потемкин тоже говорил о том, что стремится жить исторически образцовой жизнью, и, учитывая моральное значение этого замысла, ощущал необходимость публичной демонстрации своего существования. Однажды он отметил в дневнике, что хочет «прожить так красиво жизнь, чтобы на ней можно было учиться другим», и добавил: «Мне, между прочим, почему-то чувствуется, что я предстану перед судом общества, будут изучаться детали моей жизни. Я чувствую на себе этот контроль» [409].

Не только Потемкин сознательно подражал Белинскому, но и жизнь Белинского проецировалась на биографии Потемкина и других представителей молодого поколения. Эпиграфом к монографии о Белинском, вышедшей в 1939 году, была взята следующая цитата из критика: «Завидуем внукам и правнукам нашим, которым суждено видеть Россию в 1940 году — стоящую во главе образованного мира, дающую законы и науке и искусству, и принимающую благоговейную дань уважения от всего просвещенного человечества». Итак, между Потемкиным и Белинским — через столетие революционной мысли и действия — завязывался диалог о новом человеке, диалог, который благодаря общему для них историческому сознанию мог быть реализован как в прямом, так и в ретроспективном хронологическом порядке. Их позиции различались лишь тем, что Белинский воспринимал себя только предтечей нового человека. Сто лет спустя, и вполне в соответствии со сроками, предсказанными Белинским, Потемкин изображал себя таким новым человеком, приблизившимся к идеалу гармонии между личным и общественным [410].

Потемкин сохранил интерес к формированию личности и по окончании периода, отраженного в дневнике и в

переписке с Жирковой. Летом 1942 года, находясь в геологической экспедиции на Кавказе и приблизительно одновременно с гибелью своего брата, офицера Красной армии Владимира, Потемкин написал работу, озаглавленную «Стратегия жизни». Она была призвана служить руководством для советских юношей и девушек относительно того, «какой должна быть личность и жизнь эпохи социализма». В эту эпоху впервые в истории человечества все общество встало на путь «осознанного и целеустремленного развития». Такое развитие требовало от каждого гражданина социалистического общества «включать себя в решение социальных задач времени» и, делая это, «идейно и творчески дорастать до величия эпохи». В момент, когда проливались «потoki крови» и все большее количество ровесников Леонида погибало на полях сражений, Потемкин почувствовал необходимость передать потомкам опыт, накопленный его поколением в предшествующее десятилетие [411].

Из этого документа становится ясно, что новый человек продолжал играть ключевую роль в понимании Потемкиным самого себя и своего времени. На первых страницах были записаны афоризмы из Пушкина, Белинского, Гейне, Горького, Джека Лондона и Николая Островского, превозносившие яркую, героическую жизнь и призывавшие читателей бороться за осуществление своих идеалов. За вступительным словом, озаглавленным «Социалистическая революция выдвинула проблему личности», следовали цитаты, в основном со ссылками на конкретные источники (на газету или журнал — «Правду», «Комсомольскую правду», «Молодую гвардию» — либо на советских вождей — Ленина, Сталина, Жданова), говорящие о качествах нового советского человека. Такие положительные черты характера, как «несгибаемая сила марксистского убеждения, железная сила воли, внутренняя сосредоточенность, решительность, четкость и великая

простота людей действия», противопоставлялись отжившим, буржуазным чертам: «субъективизму прошлого», «мещанству», «ревности», «чванству», «подхалимству», «упадничеству», «страданию». В последующих разделах рукописи перечислялись рекомендуемые методы самосовершенствования, в том числе овладение культурой и наукой, приемы рационализации труда (с советами об учете времени и о том, как отделять работу от отдыха), тренировка воли, ежедневная зарядка и контроль за своим телом. В целом Потемкин считал свое руководство призывом к целенаправленному мышлению и поведению во имя строительства коммунизма и ускорения прогресса человечества — задач такого масштаба, что, решая их, неприемлемо «жить “по воле волн”»[412].



Леонид Потемкин (справа) с матерью, сестрой Ниной и братом Владимиром. 1940 г.

Источник: Государственный архив Российской Федерации

В своем труде Потемкин утверждал, что не слишком приблизился к идеалу нового человека: «Я получил высшее образование, но еще далеко не достиг того, к чему стремился. Пусть представитель будущего живет так, как мечтал я жить». Он объяснял свои несовершенства исторически, говоря, что живет лишь на заре социалистической эры. Ранее, в середине 1930-х годов, он с апломбом заявлял, что советское настоящее рождает людей не менее прекрасных, чем Венера Милосская, но теперь момент появления таких людей был перенесен в будущее, пусть и недалекое. Время классического совершенства, отмечал Леонид, «недалеко... люди [тогда] будут так же прекрасны, как Венера Милосская, и отношения людей, по выражению К. Маркса, будут ясны и прозрачны, как горный кристалл» [413].

Поскольку субъективность Потемкина была исторически детерминирована, он осуществлял переоценку собственного чувства исторического прогресса, основываясь на диагнозе развития собственной личности. Если с возрастом он не становился неизменно чище, то это должно было означать, что история пока не достигла того этапа развития, наступление которого он прежде видел как уже свершившееся. Новое ощущение своего несовершенства, нашедшее отражение в записях 1942 года, предполагало, что на самом деле новый человек еще не родился. Образ нового человека, как показывает случай Потемкина, было крайне трудно в полной мере воплотить. Этот идеал казался наиболее осязаемым в борьбе за приближение к нему, но прочно и надолго усвоить его пока не представлялось возможным. В конечном счете коммунистический субъект как незавершенный, длящийся проект оказывался важнее

претензии на совершенство, приносящей только меланхолию и депрессию.

То, что написал Потемкин в период сталинизма, важно с точки зрения понимания коммунистической субъективности — образцовых и высоко оценивавшихся в тот период характеристик личности, а также того, как молодой коммунист соотносил себя с этими ценностями и пытался превратить их в ядро своей биографии. Потемкин, который вел дневник с ранних лет, жаловался на свою «узкую субъективность», близорукую сосредоточенность на внутреннем мире, неспособность изобразить «подлинную жизнь», которую он отождествлял с трудовым коллективом. В середине 1930-х годов самооценка Потемкина резко изменилась: когда было объявлено об успешном создании основ социализма и провозглашено возникновение «нового» социалистического человека, он начал представлять себя в соответствии с этим новым идеалом. Подобный сдвиг в представлении о себе облегчало то, что в социалистической личности реабилитировались черты (в частности, культура и духовность), которые Потемкин осознавал своими, но ранее был вынужден отрицать; однако этот переход Леонид истолковывал в категориях диалектического развития собственной личности.

Потемкин неоднократно подчеркивал, что сущность нового человека, с его точки зрения, следует искать не в поведении, не во внешности или одежде, а внутри, в душе, воспитанной соответствующим образом. Этот подход обогащает наше понимание первого поколения молодых советских граждан, особенно выдвиженцев, которых историки ранее определяли по их стремлению к внешней культуре и формальной цивилизованности. В описаниях Потемкина «культурность» всегда находилась на заднем плане по отношению к воспитанию личности — понятию, охватывающему образование, нравственные устремления, общественно-политическую деятельность и эстетическое

самовыражение. Если выдвиженцы обычно изображаются карьеристами, новыми буржуа, глухими к советским революционным ценностям, то Потемкин последовательно формировал себя в героико-романтическом ключе. Стремясь преобразовать и усовершенствовать свою личность, он включал себя — отчасти сознательно, а отчасти неосознанно — в генеалогию революционного житнетворчества, восходившую через Горького и Ницше к русским романтикам, которые одними из первых занялись поисками нового человека.

В идеале, считал Потемкин, коммунист должен чувствовать себя как дома в героической вселенной посредством непрерывного, целенаправленного идеологического мышления и действия. Идеалом самореализации, равносильным представлению о «счастье», было для Леонида состояние постоянного превосходения самого себя, устремленности от серого обыденного существования к высшей реальности. Потемкин успешнее многих других авторов советских дневников усвоил это героическое миропонимание, но и у него дело не обходилось без провалов и ошибок. Он истолковывал эти неудачи как личные отклонения от предписанной нормы. Вместо того чтобы «гореть уверенной спокойностью», «ровным огнем постоянного воодушевления» (именно это, по его мнению, должно было быть присуще идеальному коммунисту), Леониду приходилось справляться со своей «пылкой чувствительной натурой», обрекавшей его на непредсказуемую смену эмоциональных состояний: «Я то переполнен огнем чувств, светом сознания, то опустошен, как пожаром, после бурного горения» [414].

Подобно произведениям искусства социалистического реализма, тексты Потемкина не могут быть адекватно расшифрованы, если оценивать их в соответствии с нормами миметического представления существующей реальности. Социалистический реализм стремился постичь

другую реальность — реальность социалистического идеала будущего, как он проявляется в настоящем и, что еще важнее, как он проявлялся в восприятии конкретного художника. Реальностью, которую старался представить Потемкин, была прежде всего реальность его развивающегося революционного сознания и преобразующего влияния этого сознания на жизнь и окружение Леонида. С его точки зрения, акт письма обладал мобилизующей функцией. Личные записи Потемкина одновременно задавали нормы идеальной личности и служили призывом к использованию указанных норм в его собственной жизни. Он распространял эту функцию вмешательства и мобилизации на литературу в целом, в том числе на романы и газетные статьи: «Литература, которая не вызывает стремление к лучшему, [желание] быть лучше — это не литература» [415].

Во всех автобиографических записях Потемкин придерживался единого подхода к изображению собственной жизни, вписывая развитие своего субъективного *Я* в контекст истории Октябрьской революции и строительства социализма и подчеркивая диалектическое взаимодействие между субъективными и объективными факторами в становлении своей личности [416]. Многие аспекты советского марксистского мифа, игравшего важную роль в осмыслении Потемкиным своей биографии, — мифа о бедном, темном и угнетенном классе, добившемся освобождения, а также материальной, интеллектуальной и эстетической самореализации, — эмпирически подтверждались его собственной жизнью и жизнью его сестры. Молодые и бедные жители села, переехавшие в город и получившие высшее образование и профессиональную квалификацию инженеров, а также значительно повысившие уровень своего политического сознания, они были живыми воплощениями советской мечты. Невозможно отрицать, что Потемкин достиг своей

экзистенциальной самореализации как советский гражданин.

Во время одной из наших встреч в московской квартире Потемкина он показал мне другой камень, выставленный в книжном шкафу рядом с гранитно-мраморным пресс-папье. Это были окаменевшие морские лилии, обнаруженные на Урале и свидетельствовавшие о том, что миллионы лет назад на этой территории плескались воды океана. Потемкин заметил, что, как и все живые существа, люди после смерти окаменевают, но «окаменевают» в написанном ими. Этот образ помог мне понять, почему на протяжении своей жизни Потемкин так активно писал и почему он вложил столько усилий в сохранение своего личного архива. Его жизнь в значительной степени определялась нравственным требованием стать образцовой личностью своего времени, и письмо было способом придать ей долговременную устойчивость. И хотя он рассматривал свои тексты как привилегированную область саморепрезентации, он одновременно настаивал на их реальности, исторической истинности и экзистенциальной целесообразности, неоднократно пересекая границу между текстом и жизненным опытом.

По окончании последнего цикла интервью Леонид Потемкин неожиданно сказал, что не отпустит меня без подарка. Он подарил мне окаменевшие лилии в память бесед о его жизни [417].

ГЛАВА 7

ЧЕРНИЛЬНИЦА СТАЛИНА.

АЛЕКСАНДР АФИНОГЕНОВ

В ключевой сцене популярной пьесы Александра Афиногенова «Страх», премьера которой состоялась в 1931 году, буржуазный профессор-рефлексолог Бобров спорит с молодой ученой-коммунисткой Еленой о том, кто может претендовать на законное право изменять человечество и определять ход истории — буржуазные ученые или политики-коммунисты. Только ученые мыслят «в перспективе веков», утверждает Бобров; они обладают культурным авторитетом и, в отличие от политиков, не обременены ежедневным решением насущных вопросов: *Бобров:* Даже самая успешная политика вынуждает тратить время, как и деньги, по мелочам... Вы знаете, что совхоз «Гигант» первым завершил сев... Но забыли, кто написал «Фауста».

Елена: Я не смотрела эту оперу.

Бобров: Осмелюсь Вам сообщить, что «Фауста» надо читать, а не слушать. Вы не знаете различий между северским фарфором и саксонской чашкой.

Елена: Я пью чай из стакана.

Бобров: История подняла нас над стаей обезьян, чтобы отобрать наиболее культурных особей, а Вы толчете это многообразие в ступе коллективной политики.

Елена: Мы творим историю. Попробуйте хотя бы раз включиться в реальную жизнь, и Вы поймете, что мы не просто разрушаем многообразие [\[418\]](#).

«Страх» превратил Афиногенова из подающего надежды молодого писателя в ведущего советского драматурга. Премьеры спектакля по этой пьесе прошли в Москве и Ленинграде с аншлагом. В течение полутора лет в одном лишь Ленинградском театре драмы спектакль игрался триста раз; к середине 1930-х годов «Страх» стал одной из основ театрального репертуара по всему СССР [\[419\]](#).

В «Страхе» показан трудный путь несоветской интеллигенции к признанию и поддержке советской власти. Профессора в этой пьесе начинают понимать, что в

прошлом буржуазные предрассудки искажали суть их исследований, приводя к убеждению в том, что все человеческое поведение определяется базовыми физиологическими стимулами и что основным стимулом в советских условиях является страх (политических уклонов и чисток, арестов и высылки). Этот страх, утверждали они, парализует советских граждан точно так же, как кроликов в их лаборатории парализует вид удава, после чего животные покорно ждут смерти в тисках змеи. По ходу пьесы профессоров ошеломляют энтузиазм и энергия таких молодых коммунистов, как Елена, — не слишком образованных и отличающихся пылкой преданностью социализму. В конечном счете они осознают, что советская власть, создавшая таких исключительных людей, действительно мыслит «в перспективе веков», и с готовностью включаются в коллективное строительство. Счастливый синтез буржуазной науки и коммунистической политики скрепляется рассказом Елены (ставшей тем временем директором института) Боброву о том, что во время краткой деловой командировки она прочла «Фауста» Гете. Эта неутомимая, все схватывающая на лету молодая пролетарка легко усваивает прогрессивные элементы буржуазного прошлого, но отрицает то, что не считает общественно полезным. Елена устраивает в своей коммунальной квартире символическую генеральную уборку и просит Боброва вынести имущество дамы-аристократки, отказывающейся отречься от своего отсталого образа жизни.

Пьеса дает понять, что коммунистическое государство сокрушает отнюдь не всякую личность, как того боялся Бобров. Оно приглашает в свою коллективную паству любого, кто проявляет искреннее желание включиться в строительство. Более того, оно воспитывает юное поколение бесстрашных оптимистов, которые станут истинными хозяевами социализма. Страх ощущают только

те, кто противопоставляет себя истории, кто препятствует строительству: вместе со своим бесполезным имуществом они будут выметены во время генеральной уборки и уничтожены, как никому не нужный севрский фарфор [420].

Во время написания пьесы Афиногенов не предвидел, что в 1937 году сам станет жертвой репрессий, подобных описанным в «Страхе». По мере развертывания сталинской «большой чистки», затронувшей наряду с тысячами других людей и самого драматурга, он стал фиксировать свой опыт не в пьесах, а в личном дневнике, превратившемся в своего рода интимный театр, в котором Афиногенов ставил драму собственной жизни. Афиногенов, жизнь которого в 1930-е годы хорошо отражена в пьесах, публичных выступлениях и письмах, рассматривал угрожавшую ему чистку как время исторических возможностей. В этот момент ветер истории подул ему прямо в лицо, и его собственная драма вышла на всемирно-исторический уровень. Он считал 1937 год поворотным пунктом и в личном развитии, и в развитии советской системы. С его точки зрения, политика очищения, к проведению которой приступил Сталин, свидетельствовала о том, что необходимо приступить к аналогичной кампании самоочищения.

В некоторой степени частое размывание границ между жизнью и текстом у Афиногенова было следствием того, что профессиональный драматург не мог не осмысливать свою жизнь в категориях драмы. Но на более фундаментальном уровне оно выражало попытки советского коммуниста сопрячь «субъективное» *Я* с «объективной» реальностью. В данном случае драматургический талант Афиногенова лишь придавал литературную форму стремлению, которое он разделял с другими коммунистами своего времени. Организованный в соответствии с литературно-историческим сценарием рассказ Афиногенова о себе напоминает повествование Леонида Потемкина, но сценарий драматурга значительно

превосходил сценарий студента-геолога в смысле интенсивности и уровня символического поведения. Оба они считали себя «инженерами человеческих душ», несущими большую историческую ответственность, но агитатор Потемкин работал в аудиториях, насчитывавших в лучшем случае несколько сот студентов, а пьесы Афиногенова доходили до миллионов зрителей. Опиравшийся на традицию, восходившую к литературным критикам XIX века Белинскому и Чернышевскому, Афиногенов знал, что его статус идеолога, пропагандирующего новые исторические формы жизни для массовой аудитории, будет обоснован и эффективен, только если он сам станет образцом продвижения к новой жизни.

Однако в отличие от своих дореволюционных предшественников, которые могли свободно фантазировать об идеальном будущем и людях, которые будут в нем жить, Афиногенов работал в условиях ограничений, налагавшихся коммунистическим государством, вождь которого считал себя вправе определять конкретные стадии, которые проходит в своем развитии советский строй. На драматурге-коммунисте Афиногенове лежала ответственность раскрыть историческую работу, ведущую к идеальному будущему, но роль законодателя истории, на которую в прошлом претендовали русские писатели, принадлежала теперь Сталину. Показывая, насколько интеллектуально и эстетически трудной была задача истолкования истории под бдительным оком Сталина, дневник Афиногенова демонстрирует и то, что положение «сталинского писателя» предоставляло возможности самореализации, недоступные обычным советским гражданам [421].

Инженер человеческих душ

Александр Афиногенов родился в 1904 году в небольшом городке в Рязанской губернии. Его отец, железнодорожный служащий, ушел из семьи вскоре после рождения мальчика и переехал в Сибирь, где занялся

писательским трудом. Александра воспитывала мать, совмещавшая работу сельской учительницы с редактированием местной газеты. После революции 13-летнего Сашу избрали секретарем Уральского коммунистического союза учащихся. Три года спустя он вступил в Коммунистическую партию, после чего работал на шести различных советских должностях, в том числе военным цензором и редактором газеты. В автобиографии он вспоминал: «Я пошел в школу... и пугал учителей своим властным видом и револьвером на поясе» [422].

В 1927 году Афиногенов переехал в Москву и вступил в Российскую ассоциацию пролетарских писателей (РАПП), самую громогласную и воинственную литературную организацию того времени, а в 1929 году был избран членом ее правления. Его ранние пьесы, «Чудак» (1929) и «Страх», были написаны по рецептам эстетики «пролетарского реализма», отстаивавшейся РАПП и предполагавшей отражение противоречий советского общества без попыток приукрашивания действительности [423]. Верный этому требованию, Афиногенов не останавливался перед изображением личных ошибок и управленческих просчетов коммунистов. Его пьесы пользовались широкой популярностью и удостоивались похвал коммунистических руководителей. Иосиф Сталин, посмотрев вместе с другими членами Политбюро «Чудака», будто бы «предписал» всему составу ЦК сходить на этот «замечательный» и «нужный» спектакль [424]. В начале 1930-х годов Афиногенов вступил в переписку со Сталиным, которого считал для себя главным литературным авторитетом и которому впоследствии направлял для критики наброски своих пьес. Допремьерная читка одной из пьес Афиногенова, посвященной жизни красного командира, была устроена на квартире наркома обороны Климента Ворошилова. Еще одним наставником Афиногенова был Максим Горький.

Весной 1932 года Афиногенов три недели гостил у Горького в Италии.

Вхождение Афиногенова в советский литературный истеблишмент совпало по времени с попытками коммунистического руководства и Горького превратить литературу в основное средство распространения «советской» культуры, достойной начала социалистической эпохи. Партийное постановление, вышедшее в апреле 1932 года, ликвидировало все существовавшие литературные организации, включая РАПП, и призывало к формированию единого Союза советских писателей. С этого момента вся советская литература должна была создаваться в едином стиле социалистического реализма, указывая путь к новому обществу и помогая в продвижении к нему. Ключом к освоению эстетики социалистического реализма было правильное постижение художником направления исторического развития. Только те художники, которые наилучшим образом понимали этот процесс, могли считаться по-настоящему коммунистическими. Андрей Жданов, отвечавший в ЦК за литературу, так сформулировал задание, стоявшее перед писателями: «Советская литература должна быть способна... увидеть наше завтра. Речь не идет об утопии, потому что наше завтра подготавливается сегодняшней планомерной и сознательной работой... Писатель должен не следовать за событиями, а быть в первых рядах и указывать путь развития» [425].

Сталин лично указал советским писателям предмет их деятельности. В октябре 1932 года он собрал группу писателей, в числе которых был и Афиногенов, в московском особняке Максима Горького, только что вернувшегося из Италии. Сталин призвал советских писателей включиться в кампанию индустриализации и стать «инженерами человеческих душ». В то время, когда индустриализация с ошеломительной скоростью изменяет

общественное существование миллионов людей, писатели должны помочь этим людям организовать свой внутренний мир. Каждый советский читатель или театральный зритель должен «формировать» себя в соответствии с тем эмоционально-интеллектуальным образом социалистического героя, который создается советским писателем. Сталин обратился к собравшимся писателям, в частности, с такими словами: «Что вы должны писать? Стихи — прекрасно. Романы еще лучше... Но пьесы нам сейчас нужнее всего. Пьеса доходчивей. Наш рабочий занят. Он восемь часов на заводе. Дома у него семья, дети. Где ему сесть за толстый роман? Пьесы сейчас — тот вид искусства, который нам нужнее всего. Пьесу рабочий легко просмотрит. Через пьесы легко сделать наши идеи народными, пустить их в народ... Не случайно класс буржуазии вначале породил некоторых величайших гениев драмы: Шекспира, Мольера... Мы должны создать собственные пьесы» [\[426\]](#).

Назначенный после этой встречи членом комиссии по подготовке учредительного съезда Союза советских писателей, Афиногенов буквально следовал требованиям Сталина. В публичных выступлениях 1933—1936 годов он призывал к изображению богатого психологического мира нового человека (так Афиногенов определял понятие «душа») [\[427\]](#). Однако этот подход оказался спорным. Два других драматурга, Всеволод Вишневский и Николай Погодин, критиковали Афиногенова за его внимание к внутренней жизни персонажей, которое, с их точки зрения, пахло «реакционным» традиционализмом. Они, со своей стороны, защищали монументальный стиль, насыщенный драматическим действием, и стремились вывести на передний план героические массы, а не отдельные личности. В сущности, спорившие были не согласны между собой в отношении того, что лучше служит советским читателям и зрителям: литература, освещающая

психологические конфликты в новом человеке и показывающая пути их разрешения, или эпические сценарии, мобилизующие читателей и зрителей за счет показа идеального будущего[428]. Все участники дискуссии утверждали, что «правильно» выполняют требование партии создать искусство, достойное эпохи строительства социализма. В подтверждение своих позиций они ссылались на прямые предписания и косвенные сигналы Сталина, Жданова и других руководителей. Но эти обращения к авторитетам лишь скрывали отсутствие четких основополагающих указаний о том, в чем состоит «метод» социалистического реализма: какого рода сюжетные структуры он предусматривает, каков должен быть удельный вес несовершенного настоящего и идеального будущего и в какой мере при описании борьбы за это будущее можно допустить конфликтность и неоднозначность. Определять ключевые принципы новой эстетики и воплощать их на практике должны были сами участники дебатов. Это было предприятием, чреватым непредсказуемыми последствиями и немалым риском [429].

Сомнительность психологического подхода Афиногенова ярко проявилась в восприятии его пьесы «Ложь», впервые поставленной осенью 1933 года. Написанная в ключевой момент перехода от «пролетарского» реализма к «социалистическому», от описания недостатков настоящего к представлению идеального будущего, эта пьеса отличалась скорее критичностью, чем оптимизмом. Как и предыдущие работы Афиногенова, «Ложь» характеризовалась неопределенностью в изображении неустойчивого мировоззрения молодой коммунистки Нины. Другой член партии, участвующий (о чем Нина не подозревает) в контрреволюционном заговоре, убеждает девушку, что Советский Союз — это страна лжи и обмана. В конце пьесы другой персонаж, опытный коммунист, освобождает

запутавшуюся героиню от ее опасной политической связи. И Горький, и Сталин, которым Афиногенов послал экземпляры пьесы, подвергли ее резкой критике за искаженное представление о Коммунистической партии. Как заметил Горький, большинство коммунистов в пьесе изображено плоско и серо, тогда как образы их врагов весьма жизненны. Не будучи коммунистом, Горький тем не менее поучает Афиногенова, как следует «правильно» изображать большевика: «Большевик интересен не со стороны его недостатков, а со стороны его достоинств. Его недостатки коренятся в прошлом, которое он неумолимо разрушает, достоинства — в настоящем, в работе строительства будущего... Нам надобно выучиться смотреть на прошлое и настоящее с высоты целей будущего» [[430](#)].



Драматург у рабочего стола. В середине кадра явно не случайно поставленный номер журнала «СССР на стройке».

Источник: Российский государственный архив литературы и искусства

Верховный критик Афиногенова, Сталин, отреагировал на пьесу еще более жестко. Почему, требовательно вопрошал он, в пьесе нет идейно выдержанных коммунистов, «честных, бескорыстных и беззаветно преданных делу рабочих (откройте глаза и увидите, что в партии есть у нас такие рабочие)»? На полях рядом со словами Нины о том, что социализм строится, но ценой такого безразличия, что, когда трамвай наезжает на женщину, ожидающие на остановке жалуются в основном на задержку движения, Сталин саркастически пометил «ха-ха-ха». Он перечеркнул целый кусок в конце пьесы, в котором Нина признается, что она и другие молодые коммунисты утратили веру в революцию: «Не знаем мы, что будет завтра генеральной линией — сегодня линия, завтра уклон. И в газетах всей правды не пишут. А я устала так жить». «К чему эта унылая и нудная тарабарщина?» — прокомментировал Сталин. В сопроводительной записке он одобрил сам замысел афиногеновской пьесы, но посоветовал внести в нее серьезные исправления. Драматург переделал «Ложь», премьера которой в исправленном виде состоялась в Харькове и была принята очень хорошо. Поставить пьесу пожелали еще 300 советских театров, в том числе несколько ведущих московских коллективов. Но за несколько дней до намеченной премьеры в Москве Сталин вновь выразил недовольство. Афиногенов немедленно разослал по театрам телеграммы, распорядившись снять «Ложь» с репертуара [[431](#)].

С точки зрения критиков, Афиногенов не смог соответствовать требованиям социалистического реализма. Вместо того чтобы продемонстрировать твердую и развитую волю коммунистов, лежавшую в основе уверенности советских руководителей в том, что светлое будущее будет достигнуто, его пьеса сеяла неуверенность и сомнение. С учетом искаженных портретов персонажей-коммунистов Горький и Сталин даже задавались вопросом,

а настоящий ли большевик сам Афиногенов. Тот же упрек, что, несмотря на членство драматурга в коммунистической партии, его пьесы показывают советскую действительность «как-то сбоку», в «кривом зеркале», повторялся в официальных рецензиях на протяжении нескольких последующих лет [432].

Отзвуки критики «Лжи» Горьким и Сталиным слышны в личной оценке пьесы другом Афиногенова, актером Борисом Игрицким. Комментируя в своем дневнике неуспех пьесы, Игрицкий приписывал его недостаточно широкому жизненному опыту Афиногенова. «Александр, не прошедший школы гражданской войны, не участвовавший в хозяйственном строительстве, не окунувшийся глубоко ни в рабочий быт, ни в жизнь деревни, никогда органически не был заражен страстями нашей партии, не увлекался ее бурями и натисками, не вовлекался в них». Игрицкий тоже сомневался в искренности большевизма Афиногенова, предполагая, что просчеты его произведения выражают недостаточно высокий уровень политической сознательности автора. Расширяя тему, Игрицкий обвинял Афиногенова в жизни, недостойной коммуниста. Посещение новой московской квартиры Афиногенова, которая, как отметил в дневнике Игрицкий, стоила 20 тысяч рублей, дополнительно убедило его, что драматург имеет отдаленное отношение как к лишениям, так и к радостям советского коллектива: «Большая отдельная квартира их 4-х комнат, много мебели, люстр, вещей. Дорогих, новых... Как все комфортабельно, уютно и пусто. Кустарь-одиночка, отколотый кусок». Игрицкий приписывал художественные недостатки творчества Афиногенова его нравственным дефектам. С точки зрения друга, Афиногенов был слабо связан с советской действительностью [433].

Афиногенов и в самом деле был обеспеченным человеком, и не только по советским стандартам. Его ежемесячный доход составлял 14 тысяч рублей, тогда как

советские рабочие получали в среднем не более нескольких сотен рублей в месяц. Он пользовался услугами спецраспределителей, предназначенных для советской элиты, и мог ездить за рубеж. Из продолжительной поездки по Европе весной и летом 1932 года он вернулся в Россию на новом «форде». Вместе со своими друзьями из театрального мира он отдыхал на совнаркомовских дачах в Крыму и на Черноморском побережье Кавказа. В дневнике театрального режиссера Николая Петрова описано, как на отдыхе он играл с Афиногеновым и другими отдыхающими в покер. Во время этих игр в «дикий азиатский покер» (что это за вариант игры, выяснить не удалось) из рук в руки переходили сотни рублей. К тому же Афиногенов женился на американской балерине-коммунистке, с которой встретился в Москве в конце 1920-х годов. Благодаря жене, Дженни, Афиногенова регулярно приглашали на приемы, устраивавшиеся американским послом в Москве. По свидетельству еще одного его друга, Бориса Пастернака, «Афиногенова окружала половина художественной Москвы»[434]. Драматург одним из первых поселился в поселке Переделкино, расположенном в 25 километрах от центра столицы. Поселок состоял из дорогостоящих дач, построенных государством в целях создания для признанных режимом писателей как можно более хороших условий для работы. Именно в Переделкине в 1937 году и разыгралась жизненная драма Афиногенова [435].



Александр и Дженни Афиногеновы на Черном море. 1933 г.

Источник: Российский государственный архив
литературы и искусства
Гимнастика души

Из дневника Афиногенова становится ясно, что он, как и его друг Игрицкий, связывал неудачу «Лжи» с несовершенством своей личности. Афиногенов начал вести дневник в 1926 году и продолжал это делать до конца жизни. За исключением периода с 1936 по 1938 год, дневник сохранился только в отрывках: речь идет о преимущественно недатированных неупорядоченных листках бумаги. Изначально последовательный дневник был превращен в разрозненный набор записей самим Афиногеновым: при написании пьес он неоднократно проходил по страницам дневника ножницами, вырезая отдельные фрагменты и тематически группируя их. Эта

привычка позволяет понять основную функцию дневника — служить записной книжкой, поставляющей материал для литературной работы. Большинство записей посвящено повседневным наблюдениям Афиногенова: разговорам дома и с коллегами, уличным сценкам, размышлениям о природе, человеческой психологии и политике [436].

В этой записной книжке обращает на себя внимание нацеленность на самоанализ. Самонаблюдение Афиногенова было связано с его призванием писателя-коммуниста. Он пытался соответствовать нравственным требованиям, восходившим к Николаю Чернышевскому, по мнению которого писатель должен лично воплощать пропагандируемые им революционные нормы. Для Афиногенова это означало, что для того, чтобы быть достойным инженером человеческих душ, он должен прежде всего реализовать инженерный подход к своей собственной душе. Изображение внутренней жизни нового человека может быть успешно лишь как проекция вовне собственного сознания писателя, его личных чувств. Писатель должен «вложить в свои произведения собственную душу», отмечал Афиногенов в дневнике. Надо «писать о себе, на тему своего Я» [437]. Социалистический реализм требовал, чтобы писатель прояснил отношение объекта своего анализа к историческому развитию. В случае Афиногенова объектом такого анализа была его собственная душа. Ведение дневника должно было помочь ему в самонаблюдении. В дневнике Афиногенов обычно писал о себе в третьем лице. Он наблюдал за собой на страницах дневника как за персонажем на сцене. С учетом того что дневник выполнял функцию источника материала для художественных произведений, это имело смысл: в дневнике автобиографическое «он» и персонажи его пьес действовали на одном уровне и были взаимозаменяемы. Это также означало, что как сценические персонажи, понимаемые соцреалистически, так и дневниковое «он»

оценивались по одним и тем же нормам образцовой революционной жизни.

Дневниковый самоанализ позволил Афиногенову увидеть разложение своей души. Успех первых пьес принес ему славу и способствовал тому, что он стал предаваться житейским удовольствиям. В результате его охватили лень и самодовольство, и он перестал бороться. 1 января 1935 года, оглядываясь на прожитый год, он писал: «Смятение, тоска, и метание, и поиски самого себя в постоянной неуверенности... И только теперь вдруг стало ясно видно, что дальше так жить нельзя». Через год, в конце декабря 1935 года, он отмечал: «Ничего не сделано настоящего, год прожит за счет сделанного в прошлом году. Это ль не паразитизм?» [438] Пустота и отсутствие развития свидетельствовали о разложении, потому что быть коммунистом означало в постоянной борьбе продвигаться вперед, в соответствии с неумолимым ходом истории. Недатированная заметка Афиногенова «Расставание», относящаяся к тому же периоду, свидетельствует о масштабе кризиса. Заметка была посвящена Дженни, только что покинувшей Афиногенова и вернувшейся в Соединенные Штаты после того, как она нашла его любовные письма к одной молодой актрисе. В тоне резкого самообвинения Афиногенов вспоминал, как он стоял рядом с ней в день расставания, но внутренне ощущал себя вдалеке от нее «и не чувствовал ничего, кроме всяких копаний и нытья по поводу самого себя. Мелкий честолобец и черствец. Милая, родная когда-то, сделавшая так много для него, воспитавшая его характер и волю, его жена часто гордилась плодами своих рук: вот какой вырастает человек из слабовольного и хилого духом парня. Но через два года все это воспитание сдунуло, как одуванчик, он потянулся на старое, а ей надо было начинать сначала». Характеристика, данная здесь Афиногеновым самому себе, фактически повторяла мнение Бориса

Игрицкого о том, что его друг был беззаботным и испорченным «маменькиным сынком». Но заметка Афиногенова свидетельствовала также о том, насколько органична для писателя была культура критического самоанализа, и о том, что он рассматривал жену, а также друзей вроде Игрицкого как исповедников, помогающих обрести стойкость, которой ему не доставало. (Дженни впоследствии вернулась к мужу, но когда именно это произошло, неясно[439].)

В этом контексте Афиногенов смотрел на свой дневник как на средство восстановления дисциплины и самоотверженности, необходимых ему как инженеру душ. Он понимал ведение дневника как технологию создания и поддержания коммунистического Я. Ведение дневника делало возможным постоянный процесс самообнажения и самоочищения, который Афиногенов уподоблял молитве: «Значение молитвы — очищение перед наступающим днем. Умыть душу. Это совсем не так глупо, конечно, не в форме затверженной молитвы, а так вот — размышлять о предстоящем дне и дне прошедшем... Гимнастика души». Один из своих многочисленных призывов к самосовершенствованию Афиногенов и сам формулировал как молитву: «Ну, пользуйся... покажи себя в эти десять лет... так, чтобы ни дня не пропадало, ни часа не было истрачено на мотовство и гульбу... Больше требований к самому себе! Умей так критиковать себя, чтобы другие всегда критиковали меньше... умей надеяться и верить в себя, умей... Аминь» [440].

Афиногенов сознательно использовал религиозный язык для описания своей работы по самопреобразованию. Как он неоднократно отмечал, новое социалистическое общество, обладая языком души, не имеет тем не менее институтов и механизмов, которые бы побуждали граждан культивировать чистоту своих душ, на которую в конечном счете, опирается советская система. Советская политика

просто не охватывала сферы бытовой этики, а религия, справедливо представляемая орудием угнетения, была плохой альтернативой. За дело должен был взяться писатель, в задачи которого входила духовная помощь людям в преодолении кризисов и восстановлении преданности обществу. Афиногенов уподоблял советский театр церкви: «А театр... — это ж как ЦЕРКОВЬ для нас теперь... туда надо ходить учиться жить и вести себя и, слушая слова со сцены, примерять их на себе, на своем отношении к близким и далеким друзьям, врагам, посторонним и родным» [441].

При этом сохранялась, однако, серьезная проблема: как мог писатель выполнять функцию священника, если ему самому не доставало духовной стойкости и силы? Афиногенов описывал свой духовный кризис в набросках повести, содержащихся в дневнике за 1935 год. Эту повесть он собирался написать «без оглядки на то, что может быть вычеркнуто по соображениям этическим и политическим»; иными словами, он знал, что такая повесть не пройдет контроля его личного литературного цензора — Сталина: «Необходимо написать простую повесть ни о чем, о мыслях и делах человека, который не может определить себя... Так написать, чтобы в повести не было ни цифр, ни выкладок второй пятилетки, просто как будто человек живет на острове, по привычке читает газеты и так же привычно забывает прочитанное. О том, что жизнь стала привычкой и уже трудно настроить себя на героический лад. О многих людях книга, причем людях знакомых всем... Роман без сюжета, без цели, просто встал он, осмотрелся вокруг и понял, что живет плохо. А почему плохо, и сам себе объяснить не может» [442].

Главному герою повести нехорошо, потому что он не ощущает величия эпохи. Он читает газету машинально, без подлинной заинтересованности. Его душа пуста, лишена пылкого энтузиазма, необходимого для превращения

директив и графиков, печатающихся в советских газетах, в картины приближающегося светлого будущего. Его кризис состоит в утрате веры, которую советские коммунисты понимали как утрату исторической убежденности. Недуг героя вызван отрывом от коллектива, неотъемлемой частью которого он некогда был. Неспособный ощутить реальную жизнь, глядя «откуда-то сбоку», он тем не менее осознает, что «жизнь идет кругом черт знает какая большая». Этот литературный антигерой скопирован с Нины, сомневающейся коммунистки из «Лжи». Напротив, идеалом, с которым он не способен себя связать, являются сила духа, революционный пыл и молодость, воплощенные в главной героине пьесы «Страх» Елене [443].

Существенно, что задуманный Афиногеновым роман — «о людях знакомых всем». Он затрагивает кризис советской «творческой интеллигенции» в целом. Пользуясь огромными привилегиями, Афиногенов и его коллеги вместе с тем несли не меньшую ответственность за написание истории эпохи. На сталинских инженеров душ обрушивался град призывов наподобие следующего, напечатанного в «Правде»: «Миллионы читателей и зрителей требуют высочайших художественных образов; они нетерпеливо ожидают, что их жизнь и борьба, великие мысли и дела нашего века будут отражены в художественных произведениях большой силы и страсти, в произведениях, которые войдут в историю социалистической культуры, наполнив и организовав мысли и чувства не только наших современников, но и будущих поколений». Как сказал в выступлении на съезде писателей Исаак Бабель, эти ожидания столь непомерны, что они заставляют его просто умолкнуть как писателя. Такое замечание Бабеля лишь наполовину было шуткой [444].

Афиногенов реагировал иначе. И на съезде писателей, и в дневнике он постоянно призывал себя и своих коллег самым превратиться в образцы нового человека, чтобы жить

в соответствии с призывом. Но загвоздка была в том, что благополучный привилегированный быт препятствовал выполнению ими задачи фиксации и воспроизведения реального, исторического процесса, разворачивавшегося на стройплощадках и в угольных шахтах, в полярных льдах и в стратосфере. Проблема была очевидна. На X съезде комсомола (1936), оповестившем о появлении нового поколения лишенной изъятий советской молодежи, один оратор за другим осуждал «некоторых» писателей за «отставание» в выполнении заданий, возложенных на них. Называлась и причина: «самоуспокоенность... отказ от борьбы» [445].

Ощущение глубокого внутреннего кризиса заметно в середине 1930-х годов в дневниках Афиногенова, его переписке с друзьями и публичных выступлениях. Оно выражалось в призывах ускорить работу над собой, чтобы не отстать от истории. История движется вперед с ошеломительной скоростью; в политическую и культурную жизнь готово вступить новое поколение, которое становится старше (в 1934 году Афиногенову было всего 30 лет), все более удовлетворенным жизнью, тяжелым на подъем. Он боялся, что между его личностью и поступательным ходом истории образовался разрыв и он становится все шире. Именно это, кажется, и происходило с писателем, которому надлежало намечать путь истории. Афиногенов признавался в своей тревоге Николаю Петрову и в более приглушенных тонах сообщал о ней на съезде писателей. Писателям, заявлял он, не следует сосредоточиваться на конфликте нового человека с прошлым; решительный конфликт с настоящим разыгрывается внутри нового человека. Этот конфликт заключается в «недовольстве нового человека собой в сравнении с задачами, которые ставит перед ним страна, в его недовольстве... своим ростом в сравнении с общим ростом страны» [446].

Афиногенов жаждал ощущения общности с историей. Способность выявить законы истории и включиться в ее прогрессивное развитие была решающим показателем чистоты его большевистского духа. Только в истории и вместе с историей он мог реализоваться как коммунистическая личность и коммунистический писатель. Отсюда — его стремление различать в окружающем мире «исторические эпохи», «события» и «повороты»; отсюда же — страх, что история может пройти мимо или, еще хуже, что ему может не хватить силы воли отказаться от привычной жизни и стать настоящим субъектом истории.

Большая чистка

С такой настроенностью на совпадение с историей Афиногенов вступил в 1937 год, которому предстояло уничтожить тысячи высокопоставленных коммунистов и еще большее количество менее заметных советских граждан. На протяжении всего 1936 года на драматурга обрушивался шквал официальной критики. Первый выговор он получил в марте, в ходе кампании по борьбе с формализмом. Несколько позже в Москве прошла премьера спектакля по его пьесе «Салют, Испания!». Первоначальная реакция была благосклонной. «Правда» одобрительно писала о том, что по окончании спектаклю аплодировали стоя, и подчеркивала сильное впечатление, которое произвела пьеса на присутствовавшую на премьере делегацию испанских военных. Однако всего лишь несколько дней спустя, после того как на спектакле побывали Сталин и другие большевистские руководители, «Салют, Испания!» и другие пьесы Афиногенова были внезапно исключены из репертуара советских театров. В начале января 1937 года Афиногенов говорил другу, что предчувствует: в наступившем году он столкнется с серьезными вызовами, ибо «этот год впервые... поставил передо мной коренные вопросы моей жизни, движения и судьбы». Он не может уже не обращать внимания на

неутешительные итоги своей жизни: «слишком много прожито, слишком мало сделано!» [447]

Заявляя о повороте в собственной жизни, Афиногенов отмечал в дневнике, что и вся советская система стоит на перепутье. В ноябре 1936 года Восьмой съезд Советов одобрил новую советскую конституцию, официально провозглашенную самой демократической в мире. В числе прочих гражданских прав конституция предусматривала тайное голосование на выборах в представительные органы, включая создававшийся Верховный Совет. Первые выборы в Верховный Совет были назначены на конец 1937 года. В месяцы, последовавшие за одобрением конституции, в советской печати был опубликован ряд постановлений ЦК, призывавших к большему демократизму во время проходившей избирательной кампании и побуждавших рядовых коммунистов критичнее оценивать деятельность руководителей на местах. Как сообщала в марте и апреле 1937 года «Правда», после введения тайного голосования на местных выборах многие начальники были забаллотированы. На Афиногенова произвели впечатление обилие и характер самокритики на собрании московской парторганизации в начале 1937 года. В завершение записи об этом собрании он писал: «Круто повернется сейчас жизнь. Конституция — не бумажка! Этого еще многие не понимают, куда как многие!» И через несколько недель: «О, поворот гигантский, подлинная История — дышит на нас сейчас, и нам дано счастье видеть эти повороты, когда Сталин беспощадно отсекает все и всех, негодных и ослабевших, разложенных и пустых... Жизнь теперь повернулась на новое, настоящее — так вот, а никак не иначе идем мы к подлинному коммунизму. Кто скажет иное — солжет!» [448]

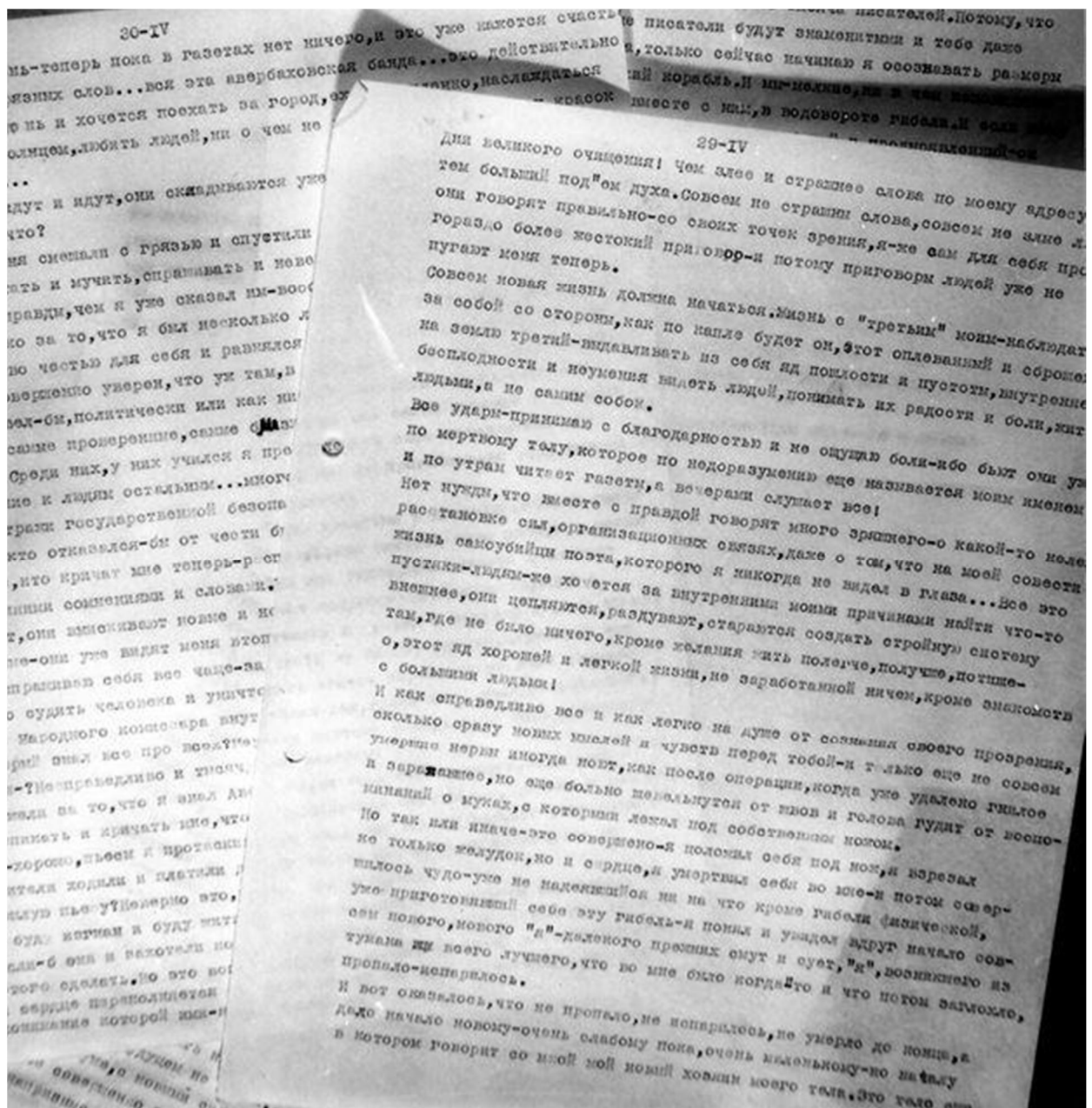
Афиногенову борьба за очищение партийных рядов представлялась «пороговым» моментом как в жизни страны, так и в собственной жизни. Она виделась ему кульминацией

выполнения революционной программы очищения общественной сферы и каждого отдельного человека. Перед ним встал решающий вопрос: достаточно ли чист он сам для того, чтобы претендовать на законное место в социалистическом мире? Дневник показывает, что он с самого начала был глубоко вовлечен в борьбу за очищение, пиком которой стала «великая чистка». В начале 1937 года, до того как террор затронул его самого, Афиногенов понимал чистку как последнюю возможность искупить грехи и показать всем, что в душе он настоящий большевик.

Приблизительно в это же время характер дневника Афиногенова изменился: интроспекция стала еще заметнее и почти затмила другую функцию дневника — служить записной книжкой писателя. Усилившееся стремление размышлять о собственном душевном состоянии отразилось также в более частом использовании по отношению к себе первого лица — «я» (а не «он»). Это изменение свидетельствует не только о большей психологической непосредственности, но и об ощущении чрезвычайно быстрого развития событий, которое не оставляет свободного времени и не обеспечивает психологической отстраненности, необходимой для того, чтобы размышлять о себе как о литературном герое. В этот период Афиногенов делал записи в дневнике чаще, и они были длиннее, чем раньше. Почти каждый день он заполнял машинописью как минимум одну страницу, а часто его записи за день занимали три страницы и более. Бытует мнение, что советские люди перестали вести дневники, когда власть активизировала репрессии, но случай Афиногенова указывает на другую динамику: у него террор привел к бурному росту числа и объема автобиографических записей. Сталинская чистка оказывается в этом случае не выражением абсолютного отчуждения государства от граждан, а напряженной и взаимной связью между людьми и государством, при которой программы очищения

общества и личного самоочищения сливались. Дневник Афиногенова показывает, что феномен террора был чем-то большим, нежели просто внешней угрозой целостности человеческой личности; он оказывал глубокое влияние на перестройку *Я*, что выражалось в потоках исповедальных текстов, направленных на очищение и преобразование сознания. В то время как сталинский режим требовал все более решительного разоблачения врагов-троцкистов, Афиногенов с помощью дневника продолжал анализировать и очищать свою душу.

Официальная кампания самокритики вышла на новый уровень после публикации 29 марта и 1 апреля 1937 года двух выступлений Сталина на пленуме ЦК в начале марта, в которых он требовал разоблачения тысяч врагов, проникших в партию. Публикация этих выступлений вызвала по всему Советскому Союзу лавину разоблачений, обвинений, контробвинений и признаний. Как вспоминала впоследствии современница чистки, «большие многолюдные залы и аудитории превратились в исповедальни». Через считанные дни после публикации первого выступления Сталина «для обсуждения решений пленума ЦК» было спешно созвано общее собрание Московского объединения драматургов, подразделения Союза советских писателей [[449](#)].



Страницы из дневника Александра Афиногенова. 1937 г.

Источник: Российский государственный архив литературы и искусства

В соответствии с директивами ЦК собрание драматургов было посвящено в первую очередь разоблачению врагов и выявлению разложившихся бюрократических структур в объединении. 4 апреля, когда собрание еще продолжалось, в «Правде» была напечатана краткая заметка, содержащая ошеломительное известие: Генрих Ягода, являвшийся до осени 1936 года наркомом внутренних дел, освобожден от всех занимаемых им должностей и арестован по обвинению в преступной деятельности. Афиногенова эта новость

встревожила. Он и еще один драматург, Владимир Киршон, были тесно связаны с Ягодой и неоднократно приезжали на его подмосковную дачу. О связях Афиногенова с Ягодой в ходе московского собрания не упоминалось, но драматурга, как и многих его коллег, критиковали за чиновное чванство и недостаточную самокритику, равно как и за слабую активность в выявлении политических ошибок в собственных произведениях. Более того, как отмечал в дневнике Афиногенов, некоторые коллеги считали, что он уже арестован, а другие стремились избегать его [450].

Через две недели обстановка резко обострилась. «Правда» сообщила о разоблачении группы литераторов во главе с бывшим секретарем РАПП Леопольдом Авербахом. Утверждалось, что эта группа занималась развертыванием сети «агентуры троцкизма в литературе» и замышляла свергнуть советскую власть. Авербах, арестованный в начале апреля по обвинению в контрреволюционной троцкистской деятельности, был женат на сестре Ягоды. Наряду с Авербахом «Правда» называла руководителями заговора Афиногенова и Киршона. В такой обстановке 27 апреля 1937 года в Москве состоялось второе собрание объединения драматургов. Секретарь, Всеволод Вишневский, полностью посвятил свое выступление злодеяниям Авербаха и необходимости изгнать из объединения всех его сторонников. Острие этих обвинений было направлено против Киршона. Но, очевидно, еще одной мишенью собрания был Афиногенов: он значился третьим в намеченном списке выступающих, вслед за Вишневским и Киршоном [451].

Киршон решительно отверг обвинения Вишневского, настаивая на том, что его совесть коммуниста чиста. Как и Киршон, Афиногенов начал с отрицания конкретных обвинений, выдвинутых в его адрес, — в частности, утверждения о том, что Авербах вовлек его в антисоветский заговор. Но затем он воспользовался многолюдным

собранием для того, чтобы вскрыть собственное разложение и таким образом очистить себя. Он сознался в «гораздо более серьезных» ошибках, нежели те, в которых его обвиняли, в ошибках, о которых невозможно рассказать за 15 минут, отведенных ему на выступление. После недельной бессонницы Афиногенов, по его словам, наконец четко осознал, что он за человек. В контактах с Авербахом и другими «литпремьерами» он «впитывал в себя незаметно, капля за каплей, тот яд беспринципности, невежественного, хамского отношения к людям, зазнайства и бюрократизма, которым в полной мере владел этот литпремьер». Эти качества «губили» Афиногенова. Под влиянием Авербаха он отвернулся от партии и создавал вещи, «абсолютно ненужные стране. Я не понимал, почему не слышу страны и почему разучился писать». А завершил свое признание Афиногенов так: «И как человек, и как художник и партиец я начинал разлагаться».

Однако Афиногенов подчеркивал, что создавшееся положение послужило для него поворотным пунктом. Обвинения в его адрес дали ему последнюю возможность «понять и оценить» свою прошлую жизнь «как жизнь, которая верно, постепенно, а потом быстрее и быстрее губила меня». Он заявлял, что «осознал, до конца и абсолютно, суть ядовитой болезни, имя которой — авербаховская проказа и которая нуждается в хирургическом вмешательстве». В заключение Афиногенов просил коллег признать, что он раз и навсегда порвал с прошлым и сделал первый шаг на трудном пути самообновления.

Собравшиеся драматурги пренебрегли его просьбой. Некоторые из них согласились с тем, что признание Афиногенова было искренним, в отличие от самозащиты Киршона, которая, с их точки зрения, напоминала «ловкую адвокатскую речь». Но самой этой искренностью Афиногенов как раз показал им, насколько он далек от

партийного духа. Как заметил один из выступавших, это «непонимание настоящей роли партии» было «одним из важнейших грехов его драматургии последних лет». В ходе четырехдневного собрания более тридцати писателей выступили против «троцкистских агентов, авербаховских бандитов» Киршона и Афиногенова. Объединение выступило с предложением обсудить вопрос об их выведении из состава правления Союза писателей [\[452\]](#).

В мае 1937 года Афиногенов и Киршон были исключены из партии. Киршона в августе 1937 года арестовали, а в июне 1938 года расстреляли. Афиногенов пока оставался на свободе. Выселенный НКВД из московской квартиры, он перебрался на дачу в писательском поселке Переделкино, где жил вместе с женой, новорожденной дочерью и домработницей почти в полной изоляции. Телефон молчал целыми днями, и Афиногенов с горечью замечал, что его бывшие друзья оказались трусливыми, как зайцы. Сидя на веранде, он наблюдал, как соседи по писательскому поселку, проходя мимо его дачи, нарочито отворачивались и не желали даже сухо поздороваться с ним. Основной связью Афиногенова с внешним миром было радио: «Голоса далеких миров, оркестры и смех, речи и оперы, все слушал он, приобщаясь этим к миру, выключенному для него». Казалось, этот мир дожидался его уничтожения. Однажды в пригородном поезде Афиногенов услышал, как два офицера в разговоре между собой выражали удовлетворение тем, что с «японским шпионом Авербахом» наконец покончено, а «пособник Авербаха Афиногенов» ожидает суда в тюрьме [\[453\]](#).

Дожидаясь решения своей судьбы и наблюдая волны арестов коммунистической элиты как в Москве, так и совсем рядом, в Переделкине, Афиногенов использовал дневник, чтобы разобраться с вопросами о том, почему он стал целью кампании террора и чем была обусловлена политика чисток в целом. Его личные записи почти

полностью повторяли публичную самокритику на собрании драматургов. Через два дня после этого собрания Афиногенов занес в дневник еще одно подробное признание, расширявшее его публичный рассказ о себе. В качестве шага к самоочищению он вновь сознавался в своих грехах: «Дни великого очищения! Чем злее и страшнее слова по моему адресу, тем больший подъем духа. Совсем не страшные слова, совсем не злые люди, они говорят правильно со своих точек зрения, я же сам произнес для себя гораздо более жестокий приговор, и потому приговоры людей уже не пугают меня теперь». Афиногенов получал своеобразное удовольствие от каждого обвинения в свой адрес, потому что чем суровее его критиковали, тем больше становилось у него возможностей осознать и осудить свои прегрешения, тем больше он внутренне очищался [454].

Затем он подробно описывал уже проделанную им работу по самообновлению. Из дневника становится ясно, что публичная исповедь на собрании драматургов играла центральную роль в его замысле. В ее ходе он осуждал — и, по сути дела, уничтожал — свое прежнее Я, и это было необходимым условием для того «возрождения», к которому он стремился. Возвращаясь к своему выступлению на собрании, в котором он говорил о необходимости «хирургического вмешательства» для преодоления «авербаховской проказы», Афиногенов сообщал теперь, что успешно провел операцию на самом себе, «взрезав не только желудок, но и сердце». Взрезать желудок, символизировавший самодовольную обеспеченность, было недостаточно; очищение должно было затронуть самую суть его личности:

Я умертвил себя во мне — и потом совершилось чудо, — уже не надеявшийся ни на что, кроме гибели физической, уже приготовивший себе эту гибель — я понял и увидел вдруг начало совсем нового, нового «я» — далекого прежних смут и сует, “я”, возникшего из тумана всего

лучшего, что во мне было когда-то и что потом заглохло, пропало, испарилось! И вот оказалось, что не пропало, не испарилось, не умерло до конца, а дало начало новому — очень слабому пока, очень маленькому — но началу, в котором говорит со мной мой новый хозяин моего тела [[455](#)].



Афиногеновы и их дача в Переделкино. 1937 г.

Источник: Российский государственный архив литературы и искусства

Описывая, как он отбросил прежнее *Я* и способствовал появлению нового хозяина своего тела, Афиногенов пользовался нарративом коренного преображения, родственным христианскому представлению о возрождении. Возрождение в христианском богословии — акт, в котором верующий достигает спасения, оставляя в прошлом свою прежнюю грешную сущность и обретая новую жизнь. В советских условиях понятия возрождения часто использовались для описания внутреннего

преображения человека, вступившего в Коммунистическую партию. Вступив в партию, посвященный обретал новое зрение и понимание; он «вновь рождался», «видел», «знал» и «говорил» новое, ибо в момент вступления в партию этот человек покидал мир профанной действительности и оказывался в царстве высшего знания и видения[[456](#)].



Александр Афиногенов. 1937 г.

Источник: Российский государственный архив литературы и искусства.

Понятие возрождения было важно для субъективности Афиногенова в условиях чисток, потому что оно позволяло ему признать свои прошлые грехи, одновременно давая гарантию, что в конечном счете он будет спасен. Поскольку возрождение предполагает существование прежнего грешного *Я*, Афиногенов мог отождествлять это *Я* с «разложившимся драматургом Афиногеновым», как называли его обвинители и как он воспринимал себя сам. Но по той же причине он мог отречься от этого *Я* в акте

исповеди. Символически умерев, чтобы возродиться, он мог утверждать, что стал новым и чистым человеком, у которого не осталось ничего общего с прежним Афиногеновым. В своем дневнике он замечал, что газетные нападки на него обращены к «мертвому телу, которое по недоразумению еще называется моим именем» [\[457\]](#).

Но даже распрощавшись с прежним *Я* и возродившись как новая личность, Афиногенов продолжал сталкиваться с вопросами об обоснованности его претензий на самообновление. Критики отрицали предпосылку, на которой писатель основывал эти претензии, предположение, что он был разложившимся членом партии, заблуждавшимся большевиком, временно утратившим полноту партийного сознания, но теперь прочно вставшим на правильный путь. Как отмечалось в связи с его исключением из партии в «Литературной газете», «вся деятельность Афиногенова... показывает, что он только потому не может быть назван переродившимся, что всегда был глубоко чужим партии человеком». Как бы в ответ на этот сокрушительный приговор Афиногенов сделал в дневнике программное заявление: «Новый [человек] живет во мне — спокойный и мудрый, и с ним ничто не может совершиться, что бы могло потрясти его и сломить, этот новый — человек, слово которого люди еще услышат и поймут, что это слово есть слово большевика, несмотря ни на что». Учитывая исключение Афиногенова из коллектива, дневник оставался практически единственным местом, в котором мог возвыситься и испытать свой голос этот большевик [\[458\]](#).

Однако было бы ошибочно сводить афиногеновский дневник 1937 года исключительно к повествованию о перевоспитании себя в большевистском духе. Наоборот, в дневнике звучат разные голоса. В нем изображается отверженный коллективом индивид, отчаянно пытающийся осмыслить свое личное существование в контексте

происходящих вокруг политических процессов. Надежды мгновенно сменяются сомнениями, ожидание — разочарованием и апатией. Всего лишь через несколько дней после исповеди и самообновления Афиногенов писал о себе в дневнике совсем по-иному, утверждая, что он невиновен, и высказывая подозрение, что его осуждение было частью «дьявольского» фашистского заговора, который ставит себе целью «истребить талантливых советских художников». Ясность ума, которой он, как казалось, достиг в течение дня, сменялась моментами отчаяния в сумеречные часы: «Наступает вечер, и новый приступ тоски и боли... За что? За что? <...> Вот Бела Иллеш отравился — я все-таки покрепче, но вот-вот и мне не хватит сил, вот-вот и я закричу не своим голосом о чем-нибудь совершенно диком. Где же люди? Где голос помощи и одобрения? Где спасение и жизнь?» [\[459\]](#)

Аналогичные колебания были характерны и для реакции Афиногенова на официальное решение о его исключении из партии, последовавшее 20 мая 1937 года. В записи за этот день описано собрание партийной ячейки Союза писателей, на котором ее секретарь Александр Фадеев «с каменным лицом обзывал [Афиногенова] пошляком и мещанином, переродившимся буржуазным человеком и никудышным художником». Затем все члены ячейки открытым голосованием исключили его из партии. Когда собрание перешло к следующему пункту повестки дня, Афиногенов встал и в «мертвой тишине» вышел из зала. Как только он оказался за дверями, к нему вернулось «успокоение и почти радость», потому что он знал, что «ни в чем не виновен». Но к концу дня, когда «утешить и ободрить» к нему домой пришел Илья Сельвинский, настроение Афиногенова изменилось: «[Мы] говорили о всей жизни человека, в которой не может не быть ошибок. И тогда, когда отвечаешь за ошибки, вдруг забывают обо всем хорошем, что тот же самый человек в своей жизни мог сделать и,

наверное, сделал. Как Гретхен всю жизнь жила непорочной и чистой, безгрешной и доброй. Но стоило ей один — только один раз согрешить с Фаустом, как даже перед небом пошло в ад все ее прежнее благочестие и хорошесть» [\[460\]](#).

Уподобляя себя Гретхен, Афиногенов признавал, что согрешил против партии, пусть даже в разговоре с Сельвинским прозвучал упрек в том, что его за это слишком сурово покарали. Таким образом, исключение Афиногенова из партии, означавшее публичное разоблачение его греховной сути, заставляло его признавать свою вину даже в такой неформальной ситуации, как личная беседа. Более того, он записал содержание этой беседы в дневник, тем самым скорректировав сделанное им незадолго до того заявление о своей невинности. Далее он отмечал, что целые дни и недели после исключения посвящал анализу понятий опалы, жертвы и искупления. Образцы, которыми можно было бы руководствоваться в духовном отношении, он пытался найти в произведениях Сервантеса, Бруно Франка и Достоевского: «Да, теперь, в одиночестве, ощутил наконец потребность в осмысливании, чего раньше не было совершенно. О философском обосновании жизни захотелось почитать не для образованности, а в силу прямой потребности в ответе — как же дальше жить с людьми, как относиться к ним и себя держать» [\[461\]](#).

Пытаясь стать новым человеком, Афиногенов решил резко изменить свою жизнь. Отказ от прежнего развращенного *Я* предполагал в первую очередь прекращение беззаботной, сибаритской жизни. Но он означал также отказ от прежних друзей и коллег, общение с которыми и развратило Афиногенова. Однажды Афиногенов заметил в дневнике, что большинство его бывших товарищей оказалось «врагами»: они были «либо арестованы, либо проработаны». Подозревая, что еще большее число его знакомых в ближайшее время будет

арестовано в качестве врагов народа, Афиногенов все дальше двигался в поиске способов самоочищения. С его точки зрения, вся Москва, где аресты были наиболее частыми, превратилась в «испорченное» место. Он решил избегать этого опасного источника загрязнения и вести уединенную жизнь в Переделкине: «Вообще каждый приезд в Москву — нервное потрясение. Нельзя туда больше ездить, надо жить у себя, одному, отдыхать и радоваться тому, что ты живешь и можешь лежать на солнце, не думая ни о чем, кроме своей маленькой жизни, простой и понятной тебе одному» [462].

Афиногенов имплицитно противопоставлял чистую «маленькую, простую и понятную только [ему] одному» жизнь морально развращенному, коварному миру, полному скрытых врагов, склонных к предательству. Он мечтал расстаться с этой нечистой общественной средой и найти приют в каком-нибудь отдаленном месте: «Уйти в отшельники, поселиться одному, либо вдвоем и с ребенком — и ни от кого не зависеть, ни с кем не быть связанным. Боюсь я людей сейчас, хоть и тянет порой к ним и посидеть, и поговорить, но боюсь. Уж такой урок жизни был, когда люди, которым верил больше всего, оказались предателями и врагами! Теперь кроме себя никому не верю — ни за кого не могу ручаться и хочу уйти далеко и так, чтобы жить, никого не затрагивая» [463].

Живя как Робинзон Крузо, в своей добровольной ссылке, в разгар не спадавшей волны арестов, собиравших свою жатву и среди жителей писательского поселка, Афиногенов начал превозносить ценности, в корне противоречившие большевистскому представлению о человеке как коллективном существе. Афиногенов не только обнаружил, что «жизнь для себя» — проклятье для идейного коммуниста — возможна, но и описал ее как высшую форму самореализации: «Они сыграли в карты, и это доставило ему наслаждение. Потом они пили чай и ели

сладкие пироги с вишневой начинкой. Он возвращался домой теплой летней ночью. Неспешно шагая под яркими звездами, он насвистывал и нежно благодарил жизнь за то, что она у него теперь такая ясная и спокойная. Внезапно он понял, что всегда нуждался в такой спокойной жизни, пусть даже ценой ужасной катастрофы. Это было неважно. Теперь он был никому не нужен, и это его радовало» [464].

От поддержки этого нового идеала уединения оставался лишь один шаг до осуждения прошлой жизни, отданной служению партии:

Со мной происходят странные вещи. С 14 лет я не зависел от себя. Сначала комсомол, потом партия. Я всегда признавал, что должен чем-то жертвовать. Я был солдатом и честно нес свою службу, я делал все, что приказывала мне партия, и никогда дурно об этом не думал... Но теперь я начал вызывать какие-то подозрения, и меня с позором отстранили от службы. Это все равно, как если бы мне выкололи глаз и сказали: «Ты нам не нужен, иди, куда хочешь». И, увы, что за ужасные одинокие дни сначала настали... Ну да, меня уволили со службы, я должен был взять свой вещмешок и уйти. Но потом, когда я покинул город и доверился своему чувству, я впервые со времен раннего детства понял, какое счастье — свобода. Ты никому не нужен, в тебе действительно никто не нуждается, иди куда хочешь и работай для народа и страны, но сам по себе и незаметно, потому что ты никому не нужен. Как прекрасно, когда никто не преследует тебя вызовами на собрания или распоряжениями написать статью или выступить с речью о чем-то скучном. Как прекрасно — пойти и заняться тем, что ты сам считаешь необходимым [465].

Афиногенов уже не рассматривал исключение из партии как абсолютную утрату или опалу. Наоборот, он описывал всю свою предыдущую жизнь как акт самопожертвования. Теперь, перестав быть солдатом на службе, выполнявшим

приказы партии, он открыл новый смысл свободы и увидел новую цель: маленькую, но спокойную и стабильную жизнь. Его исключение из партии было подобно утрате глаза: оно вызвало утрату «в́идения сверху», которым он прежде обладал как коммунист и как писатель. Это в́идение налагало на него как на инженера человеческих душ особую социальную ответственность, и именно утрату груза этой ответственности имел в виду Афиногенов, когда восхвалял свою новую жизнь, при которой он был «никому не нужен».

Однако уже через несколько недель Афиногенов начал так же настойчиво отвергать идеал уединенного существования. Дневниковые записи за июль — август 1937 года исполнены гордости за переход на новый уровень сознания. Первая из этих записей, сделанная всего лишь через три дня после того, как он мечтал «уйти в отшельники», начинается так: «Глава может называться “Возвращение к жизни”... Это день, в который я почувствовал вдруг, что снова жизнь играет кругом меня... снова строки газет зажили прежним к ним отношением». Афиногенов продолжал: «Это сознание близости к жизни наполняет радостью, прислушиваешься снова к словам последних новостей, читаешь про уборку богатейшего урожая, прилет Чкалова, его встречу в Кремле — и все это радует и волнует. Я снова вышел из летаргического сна, нокаут кончился, человек начинает жить».

Сейчас Афиногенов описывал свои прежние мысли о самостоятельной жизни как моменты «летаргического сна», как состояние «нокаута», предполагавшее, что, заносся эти мысли в дневник, он ничего не осознавал. Напротив, «возвращение к жизни» подразумевало новое включение в советскую систему и новое участие в героической жизни коллектива и в разворачивающейся вокруг истории. Пока его личное существование было оторвано от коллективного тела советского народа, оно оставалось мелким и

незначительным. Лишь воссоединившись с советской системой, можно реализоваться как личность [466].

Аналогичный поворотный пункт он описывал и несколько дней спустя, назвав его «пробуждением». Как выяснилось, предыдущие ночи он провел в ожидании ареста. Но теперь узнал, что его страхи были безосновательны: «Там, на Лубянке, сидят разумные люди. Несмотря на безумную занятость работой, они смотрят в корень всего... и ничто не заставит их арестовать невиновного человека». На следующий день Афиногенов вновь прославлял случившийся с ним «коренной и необычный перелом», а именно вновь обретенную уверенность в том, что он не будет арестован. Ему было стыдно, что он доверил дневнику свои прошлые страхи. Чтобы подчеркнуть, насколько по-иному он теперь себя ощущает, Афиногенов даже подверг сомнению авторство этих отчаянных мыслей: «Откуда родились все эти мысли? Кто писал их?» [467]

Афиногенов, похоже, предполагал, что в нем живут два разных человека, которые противоположным образом оценивают политическую обстановку и поэтому принимают противоположные меры к самореализации. Один из этих людей жил в постоянном страхе ареста и мечтал об уединенном существовании, которое защитит его от развращающей общественной среды. Другой отрицал вероятность ареста и даже «нечистоту» общественного устройства, призывая к интеграции в советскую систему. Было бы соблазнительно рассматривать эти расходящиеся представления об автономии личности и необходимости включения в общество как выражение конфликта между частным и общественным Я Афиногенова и утверждать, что в приватном пространстве писатель жаждал личной независимости и свободы, а на публике демонстрировал образ, соответствующий официальным советским нормам. То, что обе эти противоположные идентичности

обыгрывались в личном дневнике Афиногенова, можно было бы интерпретировать как свидетельство того, насколько сильно собственный официальный образ воздействовал на его самоопределение и как трудно ему было сохранить личное чувство собственного Я, отличающееся от социальной идентичности, предписанной режимом [468]. Однако такое истолкование, подчеркивающее расхождение между официальным и частным самоопределениями и исходящее из убеждения о первичности частной сферы, игнорирует связь между расходящимися оценками Афиногеновым собственного Я. Если мы перестанем рассматривать отдельные дневниковые записи изолированно и взглянем на них как на элементы более общей повествовательной структуры, то дневник предстанет перед нами как форма духовной литературы, воспроизводящая опыт обращения. Афиногенов описывал это обращение по-разному: как возвращение к жизни, как возрождение, как переход на более высокий уровень сознательности и чистоты. Дневник служил инструментом, способствовавшим личному спасению его автора.

Опыт обращения для коммуниста был основополагающим опытом. Коммунисты не могли обоснованно претендовать на членство в партии, не доказав того, что они испытали чувство обращения. При всех своих различиях автобиографии коммунистов раннего советского периода, чье написание было обязательно для вступления в партию, обращались к опыту обращения, разделяя жизнь кандидатов на два этапа: начальный, озаглавленный отсталостью, пассивностью и несознательностью, и зрелый, активный и сознательный, наступивший под влиянием коммунистического учения. Именно благодаря пониманию исторической роли партии и обусловленному этим пониманием обращению коммунист приобретал авангардную позицию первопроходца, ведущего за собой прогрессивное человечество [469].

Афиногенов осознавал, что обращение нельзя свести только к единичному опыту возрождения, вроде испытанного им после выступления с самокритикой на собрании московских драматургов. Как и у верующего христианина, его обращение было длительным процессом, его необходимо было повторять и подтверждать в течение всей жизни. Первоначальное прозрение и поворот к свету, сколь бы драматичны они ни были, являлись лишь прелюдией к продолжительной духовной работе. Как написала исследовательница христианского обращения, после «первоначального резкого пробуждения» обращенный должен «постоянно проявлять бдительность к признакам спасительной милости и новых искушений, всегда подвергая сомнению подлинность первой и опасаясь ложной безопасности... Уверенность, как и радость, горе или усталость, чревата множеством собственных опасностей, таких как гордыня, отчаяние или самодовольство. Таким образом, каждое достижение может привести к следующему циклу ощущения вины и самопроверки» [\[470\]](#).

В период, последовавший за исключением из партии, Афиногенов в дневниковых записях последовательно пытался вернуться на правильный путь и приобрести более чистую форму сознания, которую он иногда называл «второй степенью» понимания. Например, услышав, что некоторые его коллеги, в том числе бывший друг, писатель Всеволод Иванов, распространяют слух о том, что он будто бы уже арестован, Афиногенов написал: «Как жить среди таких двурушников, трусов и слабодушных!» Однако уже на следующий день его позиция изменилась: «Вчера никак не мог перейти на вторую степень... Сегодня мне это удалось, и я рад этому». Теперь, писал Афиногенов, он понял, что мотивы Иванова были «слишком человеческими»; возмущение сменилось пониманием и сочувствием. В дневнике зафиксированы и случаи, когда

Афиногенов не мог оставаться в «обращенном» состоянии и возвращался к своему прежнему Я. 2 октября 1937 года он отметил, что с восторгом воспринял выступление Сталина, в котором тот заявил, что врагами часто оказываются лица, проявляющие излишнее рвение. Но уже запись за следующий день была полна отчаяния, резко контрастируя с предыдущей: «Подавленность, свинцовая подавленность!.. Теперь вот, снизившись от подъема духа в обычное свое состояние, вдруг струсил, что долго не выдержу, опять стал бояться сойти с ума». Через несколько недель, вновь отмечая, что он вернулся к своим обычным сомнениям и страхам, Афиногенов упрекал себя: «Так чего же ты хнычешь, чего ж ты ослаб?» [471]

Диалектика определенности и уверенности в себе, уступающих место сомнениям, которые в свою очередь изгоняются во имя более высокого сознания, заметна не только в последовательности дневниковых записей, но и внутри некоторых из них по отдельности. Многие записи, относящиеся к периоду исключения Афиногенова из партии, начинаются сомнениями, отчаянием и жалобами на то, что он сам не может понять своего положения. Как правило, эти записи заканчиваются выражением оптимизма и веры в себя, и Афиногенов приветствует вновь обнаружившееся у него ощущение принадлежности к коллективу и наличия цели. Функция дневника состояла в том, чтобы развеять сомнения и преодолеть противоречия, позволяя автору достигать более высокого уровня сознательности и целостности. Афиногенов сравнивал появление у него новых «прозрений» с «почти мистическим чудом, благодаря которому [он] возродился» [472].

По сути дела, мотив обращения становится основой всей структуры дневника Афиногенова с самого начала кампании чистки. Дневник превращается в повествование о постепенном просветлении, движении вперед, первоначально извилистом и озаменованном

многочисленными откатами назад, но со временем все более устойчивом и определенном. В мае 1937 года, в день исключения из партии, Афиногенов признавался в дневнике, что не видит в этом исключении особого смысла. Он чувствовал, что перестал быть активным участником исторического процесса, грубо брошен на произвол судьбы внешними силами и потому не уверен в своем будущем [473]. Уже в конце лета того же года он оглядывался на месяцы, следовавшие за утратой партбилета, как на этап «нокаута», время, наполненное сомнениями, страхами, мечтами о бегстве. Как бы Афиногенов ни осуждал этот этап, он служил важной цели: повествование об обращении и возрождении было невозможно без предшествующей деградации и смерти. Афиногенов включил свои сомнения и зарождающееся критическое отношение к политике партии в общий нарратив обращения именно в качестве периода отката назад и слабости самоконтроля.

С конца лета 1937 года Афиногенов проявлял все бóльшую уверенность в том, что достиг глубинного понимания разворачивавшихся вокруг него политических процессов. Он лучше, чем раньше, понимал, что политика чистки прокладывает путь в коммунистический рай и что сопротивляться этому всемирно-историческому процессу нелепо. Исходя из этого, Афиногенов также считал оправданным добиваться возвращения на позиции ведущего коммунистического драматурга, потому что теперь он усвоил именно то глубокое понимание действительности в ее революционном развитии, которое было необходимо советскому художнику. Отсутствие подобного представления было основной причиной всех нападков и критики в его адрес в прошлые годы. Теперь он отбросил свои прежние минутные фантазии о том, чтобы отказаться от писательства и стать простым членом советского коллектива — например, трактористом где-нибудь в

деревне[474]. Афиногенов осудил так называемую «политику малых дел», типичную для русской интеллигенции конца XIX века, предпочтя ей бесконечно более осмысленную, жизнестроительную миссию советского писателя, находящегося на службе Коммунистической партии. В качестве инженера человеческих душ он имел бы уникальную возможность вносить непосредственный вклад в создание нового человека.

Чернильница на столе Хозяина

Афиногенов разрабатывал эти сценарии обращения в условиях острой экзистенциальной неопределенности. Заявлениям о новом включении в советский мир противоречил его статус социального изгоя. Положение Афиногенова стало еще хуже, когда 1 сентября 1937 года президиум Союза писателей исключил его из Союза. Это был сокрушительный удар, публичный остракизм, не меньший, чем исключение из партии, а быть может, и больший, потому что теперь Афиногенов, переставая считаться писателем, утрачивал все формальные связи с советским обществом. У него были все основания предполагать, что исключение из Союза писателей является прелюдией к аресту [475].

Одним из очень немногих людей, продолжавших оставаться рядом с Афиногеновым в этот крайне напряженный период, был Борис Пастернак. Писатели были знакомы с 1936 года, когда они получили соседние дачи в Переделкине. Летом и осенью 1937 года Пастернак, в то время работавший над набросками будущего романа «Доктор Живаго», не боялся беседовать с подвергнутым остракизму драматургом, долго прогуливаясь вместе с ним по поселку или заходя к нему на дачу. Эти беседы позволяли Афиногенову рассказывать о своем отчаянии и страхе человеку, которому он мог доверять, который утешал его и в конечном счете помог не сойти с ума.

Пастернак не только оказывал Афиногенову жизненно важную помощь, но и служил для него авторитетным образцом личного поведения. Афиногенова приводила в восторг страсть Пастернака к литературе, позволявшая ему не обращать внимания на окружающий мир: гул московских литературных кругов, интриги в Союзе писателей, героические поступки советских людей, восхвалявшиеся в газетах и по радио. Особенно сильное впечатление производило на Афиногенова бесстрашие Пастернака, обусловленное его самообладанием. Он был «живым образцом... жизненного стоицизма». Рядом с людьми, подобными Пастернаку, «учишься самому главному — умению жить в любых обстоятельствах самому по себе». Но хотя Афиногенов преклонялся перед «кристальной прозрачностью» Пастернака и его исключительной преданностью искусству, он не мог и не хотел вести себя таким же образом. Его изумляло то, что Пастернак не читал газет и не слушал радио: «Это странно для меня, который ни дня не может прожить без новостей». Афиногенову было необходимо жить в мире, а не находиться в стороне от него в позе стоического безразличия. Ведь в этом мире создавалось социалистическое общество. Даже если это общество не признавало его не только своим культурным вожакom, но даже своей органической частью, он не мог не следить за его строительством, о котором сообщалось на полосах газет и в радиопередачах [476].

Фиксируя в дневнике свои встречи с поэтом, Афиногенов использовал дневник и для записи некоторых других бесед, в которых он стремился прийти к пониманию своей судьбы. 4 сентября 1937 года, через три дня после исключения из Союза писателей, он описал воображаемую сцену допроса. Эта длинная запись показывает, насколько лихорадочно он обдумывал надвигавшийся арест, обвинения, которые против него могут выдвинуть, и то, как он на них ответит. «Протокол допроса», написанный в

форме диалога между «следователем» и повествователем, говорящим о себе в первом лице (которого я буду называть Афиногеновым), свидетельствует также о том, что Афиногенов не мог не осмысливать свою личную судьбу в понятиях драматургии. На всемирно-исторической сцене начинался решающий акт жизни писателя-коммуниста. Он знал, что этот акт станет поворотным пунктом, но как именно все разрешится, оставалось неясным.

Вновь и вновь в этом описании воображаемого допроса следователь подталкивает Афиногенова к тому, чтобы тот признался, что вел «контрреволюционную работу», будучи «связан с подлыми врагами народа», и сознался в «очень большой вине». Афиногенов, со своей стороны, заявлял, что не знает, почему арестован. Он не признавал за собой никаких преступлений против советского строя и считал, что «невиновен перед обществом». Его изгнание из общества «несправедливо», тем более что с весны 1937 года он изменился. У него уже нет ничего общего с прежним Я, которое, как он признавал, не было совершенно невинно. Во время допроса — и в этом подследственный соглашался со следователем — на карту была поставлена прежде всего чистота совести коммуниста Афиногенова. Как и Пастернак, Афиногенов был привержен идеалу внутренней чистоты, но это была не чистота причащения художника к своему творчеству. Афиногенов рассматривал себя в первую очередь как строителя нового мира. Душевная чистота была необходимой предпосылкой вхождения в этот новый мир, и она могла быть засвидетельствована лишь защитником нового мира — НКВД. Афиногенов просил следователя осуществить глубокую «морально-политическую оценку» его дела. Как только его чистота будет засвидетельствована, он сможет вернуться в общество и в его передовой отряд — Коммунистическую партию. Эта проверка может продолжаться целых три года, предполагал Афиногенов. «А может быть, и пять», — замечал

следователь, имея в виду время, которое Афиногенову предстояло провести в тюрьме или ссылке, прежде чем он станет достоин реабилитации. Протокол заканчивался выражением готовности следователя записывать показания Афиногенова: «Итак, начнем по порядку... *(Приготавливается записывать)*».

Такого разговора с сотрудником НКВД в действительности, конечно, не было. Взаимопонимание, которого достиг Афиногенов со следователем, было воображаемым. Оставалось увидеть, сможет ли Афиногенов сохранить уверенность, проявленную его повествователем во время допроса, в условиях еженощного напряженного ожидания страшного черного автомобиля, несколько раз останавливавшегося около его дачи, чтобы забрать кого-нибудь из соседей[477]. Длинная дневниковая запись, сделанная через несколько дней после написания протокола, обнаруживала отчаяние, отсутствовавшее в описании допроса, хотя и свидетельствовала о вере Афиногенова в то, что он сможет преодолеть кризис. Будучи сугубо личной по своему тону, эта запись тем не менее включала в себя детали уже написанных пьес Афиногенова. Она выглядит наброском того, как, по убеждению писателя, должна была разворачиваться драма его будущей жизни.

Начиналась она с описания печального настроения и указания на то, что Афиногенова преследует извечный вопрос: «За что? За что я, ни в чем не виноватый человек и писатель, должен сейчас так жить, как отрезанный от жизни ломоть, не иметь права радоваться вместе со всеми, быть на подозрении, исключенным, одиноким... за что?» Но уже в следующем предложении Афиногенов бранил себя за малодушие и эгоизм: «Ты опять позволил себе спуститься до собственной мелкой мозоли, ноющей от грубого толчка. Ты опять считаешь, что в тебе все дело. Ты все не можешь усвоить себе, что только тогда все поймешь, когда тебе

станет ясна цель всего происходящего. Эта цель сейчас — генеральная чистка нашего Советского дома от всей нечисти... При этой чистке, от которой вся страна вздохнет полной грудью, — неизбежно попадет кое-кому и зря». Бывает, например, что чашку случайно разбивают; если бы он был неодушевленным предметом вроде чашки, рассуждал Афиногенов, то пришлось бы лишь сожалеть о его судьбе: «Но ты ведь человек. И должен понять всем сердцем, что даже если тебя разобьют — нечего плакать, надо радоваться тому, что время такой чистки настало — и что тебя заматают не по чьей-то злой воле, а по простой случайности. От этого разве ты станешь просить приостановить выметание мусора? Конечно, нет. А раз так — не только терпи, но и радуйся тому, что ты живешь в такое интересное время, что ты тоже еще вздохнешь свежего воздуха, когда рачительный хозяин, выметая мусор — найдет за окном случайно выброшенную чернильницу, прикажет ее вымыть и внести обратно на стол. Это ты — чернильница! И ты еще должен долго будешь стоять на хозяйском столе, и кто знает, может, именно из тебя он напишет новые замечательные мысли. Во всяком случае, тебе ведь ясна теперь цель происходящего? Да. Хочешь ты быть в этой цели — участником или неодушевленным предметом? Конечно — участником!» [478]

Подобный сценарий знаком нам по афиногеновскому «Страху». Чистка происходит подобно уборке квартиры. Вновь появляется и конкретный предмет — чашка севрского фарфора, творение уходящей в прошлое аристократической культуры, которому нет места в социалистическом мире. Афиногенов обращался к этой чашке в дневнике как к неодушевленному и пассивному объекту, которому он противопоставлял себя — активного революционного субъекта. Из такого противопоставления объекта и субъекта становится ясно, что Афиногенов понимал свою роль писателя-коммуниста как высшую

форму активного участия в историческом развитии. Как близкий к Сталину драматург, он был наделен демиургической способностью формировать общественные отношения и принимать участие в создании совершенного мира будущего.

Тем не менее эта высшая форма самореализации писателя-коммуниста предполагала переход Афиногенова из положения субъекта в положение объекта — чернильницы на столе у Сталина. Высший уровень субъектности для смертного писателя-коммуниста состоял в его превращении в объект в руках бессмертного советского бога и вождя — Сталина. Как отмечал Афиногенов, именно *через него* Сталин мог бы выражать свои мысли. Он был приспособлением, посредством которого писалась история, воплощенная в Сталине. Таким образом, наилучшим творцом в сталинской системе был тот, чье творчество было непосредственно вдохновлено Сталиным. Сталин олицетворял революционное развитие истории, играя роль, сопоставимую с ролью гегелевского мирового духа, а потому высшая цель Афиногенова, как и других советских художников, заключалась в том, чтобы оказаться рядом со Сталиным и сделаться причастным к его пророческому видению и преобразующей силе.

Как показывает описание Афиногенова, самореализация имела различные градации, зависевшие от места того или иного человека в советской системе. На низшем уровне находились беспартийные: лишенные коммунистического сознания, они обладали в лучшем случае смутным представлением об историческом прогрессе, а потому были преимущественно объектами, а не субъектами истории. Члены партии могли достичь гораздо более глубокого понимания законов истории, и именно этот более высокий эпистемологический статус давал им право пытаться преобразовывать и совершенствовать мир. Но даже у

партийцев понимание было лишь частичным, а целостным видением обладал один Сталин.

В своем дневнике Афиногенов однажды сравнил себя с «каменщиком на лесах, которому трудно понять смысл возводимого им здания и его архитектурную форму»[479]. Как рабочий-строитель он активно участвовал в возведении здания коммунизма. Более того, место писателя находилось на значительной высоте, что предоставляло ему возможность обзора, недоступную простым, ходящим по земле людям. И все же у него отсутствовало полное понимание замысла проекта, имевшееся только у архитектора — Сталина. Работа на лесах была опасна, потому что каждый неосторожный шаг, каждый промах в истолковании истории мог привести к смертельному падению. Тем не менее роль каменщика, одновременно возвышенная, четко очерченная и опасная, вдохновляла Афиногенова на протяжении всех 1930-х годов.

Проанализированные выше отрывки из дневника позволяют, пусть и в первом приближении, оценить саморазрушительную динамику коммунистического проекта, которая стала особенно очевидной во время Большого террора. Афиногенова никто не принуждал подчиниться законам истории, провозглашенным советскими вождями. Он сам активно создавал для себя «жизнь в истории» как высшую форму самореализации. И все же при советском строе даже идеальная субъективность, к которой стремился Афиногенов, не выходила за рамки объектного отношения со стороны Сталина, являвшегося абсолютным субъектом истории. Это объясняет, почему Афиногенов (как и другие коммунисты) соглашался с перспективой быть уничтоженным партией и оказаться на свалке истории: этот акт, казалось бы, чистого саморазрушения способствовал осуществлению исторических предначертаний, а стало быть, достижению

основной цели, которой он — как субъект — посвятил всю свою жизнь.

Осенью 1937 года у Афиногенова стала нарастать уверенность, что скоро он будет вновь принят в советский коллектив. С его точки зрения, празднование двадцатой годовщины революции 7 ноября и выборы в Верховный Совет в начале декабря стали порогом перехода к новому социалистическому обществу. Он надеялся, что чистки достигнут своего логического завершения в конце 1937 года, когда возникнет новый политический строй, в котором будет действовать новое поколение «чистых» советских людей и который освободится от нечистоты прошлого. Афиногенов верил, что и он — благодаря самоочистительным усилиям — станет в этот строй. Но в конечном счете только «честная [литературная] работа» для страны обеспечит ему возвращение в советское общество, а не «письма, протесты, жалобы... Ими ничего не поделаешь — их было слишком много, этих жалоб и писем». Чтобы стать оправданной, полезной, писательская работа должна отбросить описательную модальность и нацелиться на преобразование. Этого не могли сделать жалобы и протесты, которые он сочинял после исключения из партии и в которых твердил о несправедливостях или ошибках, допущенных в его деле, обращаясь, таким образом, лишь к статичному ощущению собственного Я. Единственным приемлемым способом рассказать о себе было повествование о своем преобразовании и обновлении [480].

Конкретным замыслом, благодаря которому Афиногенов надеялся восстановиться в роли советского писателя, был замысел романа — того самого романа, наброски которого уже содержались в его дневнике за 1935 год. В конце 1937 года он начал всерьез разрабатывать этот замысел. Роман под названием «Три года» должен был охватывать период с декабря 1934 по конец 1937 года. Предполагалось, что развитие личности главного героя романа, Виктора, будет

состоять из стадий падения, кризиса и последующего выздоровления. В этом романе Афиногенов хотел показать, как советские люди пережили сталинскую кампанию чисток. В 1935 году он думал обратиться в романе к проблеме утраты веры, которую писатель наблюдал у себя и у окружающих. Теперь, почти три года спустя, рассказ телеологически трансформировался в соответствии с моделью диалектического цикла «кризис — отделение от общества — синтез на более высоком уровне». Одновременно личная история автобиографического героя превращалась в исторический нарратив. Трехлетие кризиса и выздоровления Виктора соответствовало трехлетию общесоветского кризиса и его разрешения: от первых проявлений контрреволюции в связи с убийством Кирова в декабре 1934 года до победной осени 1937-го, когда новое социалистическое общество должно было освободиться от своих врагов[481].

В одной из дневниковых записей Афиногенов кратко описал центральную сцену задуманной книги. Персонаж (возможно, главный герой) возвращается в Москву из ссылки и встречает старого друга, который списал его со счетов. «Как будто пришел из загробного мира, — а тот уже торопится все высказать, что он приехал совсем другим, что теперь он так же сам изменился, как этот замечательный город» [482]. Таким образом, основной темой задуманного романа была переделка личности в результате сталинских чисток. Афиногенов стремился изобразить личность, которая в ответ на содержащийся в политике чисток призыв к переделке своего *Я* работала над собой и в конечном счете становилась новым человеком. Очевидно, одна из целей Афиногенова состояла в том, чтобы обратить внимание на собственный труд по самотрансформации и тем самым подтвердить свое право на возвращение в круг писателей-коммунистов. Но попытка автобиографии показывала и то, насколько он стремился вписаться в историю.

Ретроспективно, после успешного возрождения, исключение писателя из Коммунистической партии и последующая работа над собой представлялись переработкой его тела и сознания самой историей.

Дневник Афиногенова тесным и сложным образом связан с его работой над романом. Несмотря на сугубо личный характер дневника, в нем на протяжении всего периода чисток сохранялась отчетливая литературная цель. Пытаясь избавиться от личных сомнений и страхов, Афиногенов выстраивал их описание в соответствии со структурой романа. (Безусловно, сравнение двух этих текстов не может не быть чисто предположительным, потому что роман не был закончен и от него остались лишь несколько глав, а также наброски отдельных сцен в дневнике.) В дневнике и романе затрагивались одни и те же темы личного вырождения, работы над собой и обновления. В этом смысле можно сказать, что дневник служил Афиногенову строительной площадкой автобиографии. Дневник являлся лабораторией его *Я*, в которой обнаруживалась внутренняя работа души писателя, в том числе ее темные стороны — сомнения, слабости, грехи. Важнее всего, однако, то, что повествование в дневнике было заведомо незавершенным, поскольку относилось к незаконченному, постоянно развивавшемуся проекту по переделке личности. Роман же, хотя и касался «нечистоты» души, должен был представлять завершенную, гармоничную картину человеческой психики. Повествование в нем должно было охватывать полный — и с самого начала predetermined — цикл вырождения и возрождения, кульминацией которого предполагалось сделать спасение героя. Это различие свидетельствует о том, что Афиногенов никогда не собирался публиковать свой дневник. Скорее дневник являлся литературным месторождением, из которого добывался материал для литературного представления личности автора. Поэтому

Афиногенов и делал вырезки из дневника, а затем включал те вырезки, которые он считал наиболее ценными, в публикуемые произведения.

Материал для романа Афиногенов собирал в дневнике, руководствуясь установкой на максимальную искренность. Его двойственный замысел — восстановление советского писателя и обновление внутреннего мира советского гражданина — мог успешно осуществиться только в том случае, если тексты Афиногенова верно улавливали сущность разворачивавшейся в нем внутренней борьбы. Он понимал проблемы, которые эта установка на искренность могла породить в условиях чисток и возможного ареста. Эти проблемы затрагивались в уже упоминавшемся протоколе воображаемого допроса. В доказательство серьезной настроенности на самообновление повествователь сообщал следователю, что ведет дневник, в котором фиксирует свой «личный рост и совершенствование».

Следователь. Запискам вашим я не верю.

Я. Я и это знал.

Следователь. Почему?

Я. Потому что, раз человек ждет ареста и ведет записки — ясно надо думать, он ведет их для будущего читателя — следователя и значит там уже и приукрашивает все, как только может, чтобы себя обелить... А прошлые записки, за прошлые годы — так сказать «редактирует» — исправляет, вырезает, вычеркивает... Ведь так вы подумали?

Следователь. Так.

Повествователь признавался, что тоже думал об этом и задавался вопросом, не следует ли ему прекратить писать. Речь, таким образом, шла о проблеме искренности во времена жесткого контроля и императивной открытости. Как мог Афиногенов убедительно заявить о своей преданности делу революции, если для этого у него не было ничего, кроме слов, и если истинность этих слов,

оцениваемая подозрительным «государственным читателем», должна была предопределить его жизнь или смерть? Знание об этом будущем читателе делало сомнительным самый замысел писать искренно. Но потребность писать, чтобы запомнить внутренний опыт чистки, пересилила подобные сомнения. Принять это решение помогло Афиногенову и осознание того, что НКВД не поверит его записям. Как объяснял его повествователь: А что касается того, что вы запискам не поверите — так это естественно, так и будет, хотя — конечно, если бы вы в них нашли вредные мысли или даже анекдоты — вы бы тогда им поверили, то есть, с другой стороны, стороны обвинения моего... Но и это понятно. Но вы не верите написанному мной для себя, я это знал, об этом думал, и это сразу мне облегчило решение задачи — да, надо продолжать писать. Потому что, если б я думал, что вы будете верить запискам, то я бы писал как бы для постороннего человека, прощай моя откровенность с самим собой — все равно я бы чувствовал ваш будущий глаз на этих страницах. А раз я знал уже, что вы все равно не поверите ничему и только усмехнетесь, прочтя мною записанное — я сразу избавился от вашего присутствия для меня при работе над дневником и опять стал писать свободно и просто, как раньше, в прошлые годы [483].

Это не значит, что Афиногенов вел дневник, совсем не имея в виду НКВД. На следующий день после написания сцены допроса он задумался о том, что в ней проявилось сильнее — «искренность или желание вылить на бумагу все, о чем давно уже хотелось бы поговорить со следователем. Вероятно — и то и другое вместе. Но не это важно. Важно понимание, что Достоевский, описывая припадок Мышкина — писал о себе и своих чувствах — и это не только право художника, это его первая обязанность» [484]. Афиногенов с трудом отделял друг от друга политические, моральные и литературные причины ощущаемого им напряжения. На

вопрос о том, записывал ли он в дневник свои признания для НКВД или для себя, невозможно ответить однозначно. Исключенный из партии и опасавшийся ареста, он ощущал острую политическую необходимость большевистской самокритики, но одновременно считал покаяние своей нравственной потребностью. Более того, как политическое, так и нравственное напряжение сливались в его сознании с представлением о том, что советский писатель должен создавать социально и нравственно образцовую литературу, содержащую в себе зерно субъективной истины.

Афиногенов знал, что ценность задуманного им романа будет зависеть от того, выразил ли он в нем эту внутреннюю истину. Таким образом, для того чтобы создавать образцовую литературу, требовалось восхождение на высоты нравственной мысли.

Афиногенов вел дневник, подразумевая все эти политические, моральные и литературные цели. Осенью 1937 года, вспоминая прошедшие месяцы, он писал: «Записки спасли меня — каждую ночь я садился и писал все, о чем передумал за день и носил в себе, недогоревшее, давящее. И как только мысли выливались на бумагу, так сразу становилось легче, сердце и голова освобождались от тяжести, как будто кто-то брал на себя мои черные думы и давал мне отдых». Освобождая Афиногенова от «черных дум», дневник становился своеобразной «помойкой». Подобно Степану Подлубному, вываливавшему на страницы дневника весь мусор, скопившийся в его душе, Афиногенов пытался излить в нем все неприемлемое для коммуниста, все, что он считал свидетельством своей нечистоты. Но в то же самое время дневник давал ему перспективу обновления. Последовательность дневниковых записей, по его собственным словам, представляла собой вехи на пути из тьмы к свету, по которому он продвигался. Одной из основных целей дневника на протяжении всего

периода террора была наглядная фиксация Афиногеновым собственного развития[485].

Переделка себя в духе большевизма была для Афиногенова бесконечным процессом борьбы и преобразования, осуществляемым им в писательстве. Остановиться на этом пути значило бы отступить к прежнему, то есть несовершенному Я. Стояние на месте было равносильно деградации: «Теперь, сегодня вот, например, я встал с желанием двигаться как-то дальше... Не переставая размышлять и накапливать то, что уже начато накоплением, постоянно оглядываясь назад и проверяя себя, не давая себе становиться прежним ни на мизинец». Наоборот, к чистоте можно было приобщиться только в акте очищения, в самой борьбе с прежними внутренними импульсами. Писание было средством преодоления нечистоты, а также выявления чистой внутренней сущности, под которой Афиногенов подразумевал коммунистическую природу своей души. Показательно, что он обнаружил эту сущность, «лучшее» из того, что в нем было, как раз накануне революционного праздника 7 ноября 1937 года. Праздник, который был призван возвестить появление нового поколения молодых руководителей, ознаменовал также омоложение самого Афиногенова: Сегодня, по своему завету, проглядел записки за последние два года. Внимательно — день ото дня. Впечатление — массы зря прожитого времени, неумения использовать обстоятельства для работы, много зряшней толкотни, обид по всякому поводу, напрасных ожиданий лучшего, когда казалось, что лучшее должно обязательно прийти от кого-то, а сам ты только сиди сложа руки и ожидай его. Теперь только понял, что лучшее во мне самом, и это лето, эти мои лихорадочные ночи, мои записки, они — мое лучшее... Впереди — суровая работа, новые задачи, не похожие ни на что прежнее и легкое. Чем труднее будет жизнь впереди, тем плодотворнее [486].

Афиногенов приветствовал препятствия, свидетельствовавшие о пройденном расстоянии и о пути, который еще оставалось пройти. Чем с большим количеством проблем, недоработок и сомнений он сталкивался, тем больше усилий должен был приложить для их преодоления и тем чище становился в результате. Этот способ переделки и самосовершенствования, который можно определить как бесконечный процесс труда и самопревосхождения, отчетливее всего проявлялся в дневнике Афиногенова именно в период террора, и в этом состояла главная причина того, почему он считал данный период самым ценным во всей своей жизни.

Восстановление в правах

Убежденный, что он уже достиг уровня внутренней чистоты, необходимого коммунисту, Афиногенов в декабре 1937 года подал прошение о реабилитации. В дневнике он завершил роковой 1937 год, чуть его не уничтоживший, выражениями благодарности за то, что получил возможность восстановиться как личность и возродиться. Называя 1937 год «годом своего рождения», Афиногенов, несомненно, имел в виду многих других членов партии и товарищей-писателей, которым этот год принес крушение их прежнего положения или смерть [487].

18 января 1938 года вышло постановление ЦК, в котором признавалось, что в предшествующие месяцы многие коммунисты были несправедливо исключены из партии. Они стали жертвами внутренних врагов в партии и государственном аппарате, которые скрывали свой подлинный облик под маской рьяной бдительности. В течение нескольких следующих недель тысячи человек были восстановлены в партии, среди них был и Афиногенов. В дневнике подробно описывается его восстановление. Драматурга вызвали в райком на собрание, на котором секретарь объявил, что его исключение было делом рук не до конца ликвидированных врагов в

руководстве советской литературы. Но секретарь райкома настаивал также на том, что Афиногенов несет персональную ответственность за связи с врагами: «“Конечно, если б Афиногенов нашел в себе достаточно большой твердости порвать с Авербахом и Киршоном тогда же, после решения ЦК о РАППе, он не зашел бы так далеко в своих связях с ними, но, я думаю, то, что он пережил за эти 9 месяцев, — достаточная для него школа, чтобы ему что-то еще записывать”. Все согласились, у меня слезы застлали глаза, я что-то пробормотал, что им не придется стыдиться своего решения, что я оправдаю их доверие всей своей жизнью и работой, — и меня отпустили» [488].

В дневнике Афиногенов полностью признавал свою личную ответственность за перенесенные страдания. Хотя партия показала, что многие аресты 1937 года были спровоцированы врагами, замаскированными под ревностных коммунистов, он, по собственной оценке, был слишком слаб и самодоволен, чтобы заранее заметить свою постепенную деградацию и как-либо вмешаться в происходящее с ним. Слабость, писал Афиногенов, была, по сути дела, «болезнью», проявившейся у него задолго до начала чисток. Сначала безвредная, как легкая боль или простуда, со временем она стала хронической и более серьезной. Враги в писательской организации заметили его уязвимость и превратили его в «мишень для упражнений в бдительности» по отношению к подрывным элементам. Итак, характеризуя свое исключение как дело рук врагов, Афиногенов не подвергал сомнению инквизиторский механизм чистки как таковой. Напротив, он утверждал, что обязан жизнью настойчивости партии в проведении проверки чистоты ее членов. Самостоятельно он не нашел бы в себе сил для того, чтобы освободиться от пагубного внутреннего разложения. Оглядываясь назад, он понимал, что не только выдержал испытание, но и вышел из девятимесячного чистилища лучшим и более чистым

человеком: «Я теперь не только для других, но и сам для себя — проверен и испытан на самый жаркий огонь!.. Теперь я — не только сталинский художник, но и сталинской закалки большевик!» [\[489\]](#)

Более всего Афиногенов был благодарен самому Сталину. Выжидая, не реагируя поспешно на призывы осудить Афиногенова, советский вождь проявил доверие к своему литературному ученику: «Да здравствует Он, к которому теперь несутся все мои мысли, да живет и руководит нами его гений, гений грузинской страстности, русского разума, американского размаха, ленинской революционной принципиальности и Человеческой — человечности!» В сущности, предполагал Афиногенов, советская система обладала «человеческой чуткостью» Сталина — заботой, которую он распространял на любого человека, желающего работать над собой и стать полезным для общества и истории. Помимо Сталина, Афиногенов также чувствовал себя обязанным НКВД: «А еще спасибо, от самой глубины сердца, тем — кто в бешеной работе по корчевке вражеского охвостья, там, на Лубянке, — не поддается на оглушительные вопли газетных кличек, кто ведет свою работу без промаха, не допуская ошибок, но и разя в самое сердце врага». Кроме того, драматург с благодарностью вспоминал друзей и коллег, не покидавших его в самый трудный период его жизни [\[490\]](#).

Даже после реабилитации Афиногенов поддерживал кампанию чисток, направленную теперь против чрезмерно рьяных оппортунистов, делавших карьеру на осуждении «честных» коммунистов. Он жаждал разоблачения литературных чиновников, которые, на его взгляд, спровоцировали массовые репрессии в отношении писателей. Он выдвигал против этих людей те же обвинения, которые были выдвинуты против него, осуждая их за отсутствие преданности большевистской власти и искажение советской действительности. При чтении нового

романа Вениамина Каверина его «заливала волна ярости по отношению к этим бессовестным холодным книгам, написанным равнодушно к жизни, которую они призваны оправдать, но которая самим их авторам — в глубине души (!) — не нравится». Он осуждал роман как «ядовитый, вредный, как ягодинские ртутные пары», действующий «медленным, разлагающим душу опрыскиванием всего, разложением и пустотой». Ему хотелось «дать автору по зубам и потащить в НКВД всех, кто осмелится истратить такое количество бумаги на этот гнусенький роман» [491].

После восстановления в партии Афиногенов вернулся к ведению дневника, намереваясь продолжить свою обычную практику вырезания из него отдельных записей и включения их в наброски романа. Но для записей периода террора он сделал исключение: «Вчера, работая над романом, тронул ножницами “неприкосновенный запас” — дневник 1937 г. Жаль было разрушать страницы, столько с ними связано всего. Но до роковых дат и записей я еще не дошел, они должны полежать нетронутыми, я ведь помню новогодний завет — почаще их перечитывать!» На взгляд Афиногенова, дневник 1937 года выступал вещественным доказательством процесса его обновления и его новой идентичности истинного большевика. С этой точки зрения дневник того периода был для него не менее важен, чем партбилет, который он с неослабевающим удивлением рассматривал в первые дни после восстановления. Афиногенову необходимо было сохранять дневниковые записи наиболее критического периода своей жизни, чтобы знать, что он действительно один из новых советских людей. Только по этой причине дневник периода террора сохранился до нынешнего времени[492].

В конце 1938 года Афиногенов послал первоначальный вариант своей новой пьесы «Москва, Кремль» Сталину для оценки. На новый, 1939 год он получил от Сталина адресованную «товарищу Афиногенову» записку с

извинением за то, что он слишком занят, чтобы прочесть пьесу. Хотя Афиногенова обрадовало, что «снова *Его* рука пишет мне», сталинская записка, по сути, свидетельствовала о неустойчивости положения драматурга в советском обществе. Сталин признавал его товарищем, но не имел времени прочесть пьесу. Формально Афиногенов был реабилитирован, но не мог надеяться на удачное продолжение карьеры или, по крайней мере, мог надеяться на это не сразу. Как он записывал в дневнике, над ним нависло облако сомнений: коллеги хвалят его пьесу, но «с оговоркой»; «ее принимают к постановке, но только “почти”, и время идет — пьес не ставят». Его заработок за январь 1939 года составил 6 рублей, а за февраль — 20. Когда в том же месяце 170 советских писателей наградили за их достижения, фамилии Афиногенова не было в списке награжденных. Афиногенов не мог добиться постановки другой своей пьесы — «Мать своих детей». Это была уже пятая пьеса драматурга, не принятая советским театром. Раньше, думал он, такие отказы были терпимы. Но в создавшейся ситуации его «иногда уже охватывала усталость». Афиногенова преследовало ощущение, что его произведения никогда не вернутся на сцену [493].

Как и прежде, Афиногенов соотносил свои личные размышления о признании и неудачах с исторической рамкой. Положение изгоя в театральном мире подкрепляло прежние страхи драматурга, что его сметут исторические изменения, происходившие в советском обществе. Молодое поколение, за восхождением которого он следил начиная с середины 1930-х годов, вступило теперь в самостоятельную политическую и культурную жизнь, занимая места представителей старшего поколения. Призрак этих молодых людей заставлял Афиногенова особенно остро осознавать свой возраст. Да, он возродился в ходе чистки, но не обошлось без жертв: его подъем был «медленным», и он снова чувствовал себя «усталым и больным». Афиногенов,

некогда самый молодой из драматургов, беседовавших со Сталиным, теперь вынужден был признать, что младшее поколение опередило его. Дневник Афиногенова в этот период полон тревожных размышлений о том, что он становится все старше, а достижений у него все меньше.

В соответствии со своим убеждением, что только молодость придает человеку силу, энергию и исторический оптимизм, Афиногенов принял логичное, хотя и радикальное решение. Он стал стремиться реализовать себя в ранней смерти. Провозглашая, что обнаружил у себя «безразличие к собственной жизни», он обращался к теме, известной нам из дневника 1937 года; на сей раз, однако, речь не шла о возвращении в жизнь советского коллектива. Наоборот, имелась в виду подготовка к смерти, которая, по его убеждению, должна была произойти достаточно скоро. Он понимал эту смерть не как самоубийство, добровольное «самоизгнание» из советского общества, а как кульминацию исторически детерминированной жизни и способ навсегда остаться молодым. Дневник Афиногенова за 1939 год завершается рядом афоризмов, последний из которых таков: «Тот, кто умер молодым, уже не может состариться — его лицо для нас всегда молодо и прекрасно» [[494](#)].

Эти мысли Афиногенов развивал, как было для него характерно, и в дневнике, и в драматургических произведениях рассматриваемого периода. В 1940 году он приступил к работе над новой пьесой — «Накануне», посвященной кануну и первым дням большой войны, которая, по его убеждению, надвигалась. Эту пьесу, писал он в записке в оборонную комиссию Союза писателей в феврале 1941 года, необходимо поставить «накануне близящихся событий. Она о том, как люди в свете этих событий переоценивают нормы, определяющие их личную жизнь и взаимоотношения». Так же как Афиногенов в дневнике, герои «Накануне» учились справляться со страхом смерти и понимать относительную ценность

человеческой жизни в моменты, имеющие всемирно-историческое значение. Пьеса была официально принята к постановке через несколько дней после вторжения Германии в Советский Союз. Афиногенову пришлось лишь придать абстрактным врагам первоначального варианта облик фашистских агрессоров.

Замысел пьесы и исторический сюжет своей личной жизни Афиногенов наметил до начала войны между Германией и Советским Союзом. Реальность и то и другое обрело уже после 22 июня 1941 года. Через десять дней после начала войны, 1 июля 1941 года, писатель завел новый дневник. Он писал его от руки в тетради, внешне резко отличавшейся от разрозненных листов бумаги, на которых велся дневник в предыдущие годы. Он озаглавил эту тетрадь «Дневник последней войны». Такое заглавие подразумевало апокалипсическую битву между силами социализма и империализма, которую советские коммунисты ожидали по крайней мере на протяжении десяти предшествующих лет, но оно имело и личный смысл: «Говорю о себе. Для меня это последняя ступень жизни — не знаю, в какой из дней она оборвется и где встречу я смерть, — но я ее встречу. Это я знаю и к этому готов». Миллионы советских людей продолжают жить, писал Афиногенов, но его среди них не будет, и он не увидит коммунистического будущего. Дело было не в том, что он искал смерти на войне «как искупления или жертвы»; наоборот, он принимал смерть как «естественный конец жизни, прожитой в роковую полосу мировой истории» [495].

И судьба настигла драматурга. Летом и осенью 1941 года он оставался в Москве. В середине октября его семья была эвакуирована в Ташкент; тем временем самого его командировали в Куйбышев, куда перебралась часть советского правительства. В конце октября Афиногенов вернулся в осажденную столицу, чтобы получить

разрешение на поездку в Англию и Соединенные Штаты, где ему предстояло выступить с лекциями о героической борьбе советских людей с агрессорами. Он погиб 29 октября 1941 года от немецкой бомбы, попавшей в здание, в котором он в тот момент находился, — в здание Центрального комитета, самого сердца советской Коммунистической партии [496].

Посмертное

Описывая в военном дневнике преодоление страха смерти, Афиногенов беспокоился о том, сохранится ли этот дневник. «И ты, будущий мой случайный читатель, где ты найдешь эту тетрадь? Бродя по дорогам великой страны с мешком за плечами, нагнешься ли ты поднять валяющуюся в пыли книжку, или, как и другие, наступишь на нее усталой от далекого пути ногой — и зашагаешь дальше?» [497] Для Афиногенова, по-прежнему не уверенного в том, насколько он реабилитирован как советский драматург, эти слова касались не только дневника. Решающее значение имел вопрос о том, как вообще будет вспоминаться его жизнь. Признают ли потомки его настоящим большевиком, или же советские люди пройдут мимо его пьес, дискредитированных во время сталинских чисток и валяющихся в пыли?

Настойчивая устремленность Афиногенова к смерти и к посмертной жизни в советской коллективной памяти соответствовала представлению коммунистов о самореализации, вершиной которой являлось включение того или иного коммуниста в пантеон истории. Биологическая жизнь коммуниста была коротка и неполноценна по сравнению с его жизнью в качестве субъекта истории, которая могла продолжаться долгое время после смерти, но которая зависела от того, признает ли исторически более передовое потомство за этим коммунистом право на «историческое» бессмертие [498].

В посмертных панегириках друзья и коллеги реабилитировали Афиногенова как коммуниста, приобщившегося к истории. В воспоминаниях, приуроченных к третьей годовщине смерти Афиногенова, Борис Пастернак описывал его словами, невольно заставлявшими вспомнить об идеале юного бессмертия, которое стремился сохранить в себе драматург: «В нем было что-то идеальное... Он был высокого роста, строен, красиво двигался, и его высоко поднятая голова с чертами античной правильности как-то соответствовала красоте его внутреннего облика, сочетавшего в себе признаки чистоты и силы. Таков и был его талант, юношески свежий, светлого, прозрачного, классического склада». Пастернак прямо не ссылаясь на историю, но, изображая Афиногенова классическим героем, он включал его в представление сталинской системы о себе как о неоклассической эпохе, являющейся апогеем развития человечества. Борис Игрицкий в 1946 году более непосредственно затрагивал исторический аспект жизни Афиногенова. Драматург «много искал, он много дерзал, экспериментировал, изучал, наблюдал, учился, но никогда не уходил, не прятался от жизни, от своей эпохи, ее гроз и бурь, ее страстей, ее трудностей. Он рос вместе с партией, народом, смело шагал вперед и вперед». Образ человека, «смело шагавшего вперед вместе с партией», был стандартной советской панегирической формулой и равным образом применялся к другим ушедшим из жизни писателям. Но на фоне личных записей Афиногенова эти риторические клише свидетельствуют об интенсивном переносе значений из языка советской идеологии в субъективный опыт коммуниста [499].

29 октября 1946 года, в пятую годовщину смерти Афиногенова, в московском доме писателей состоялся вечер его памяти. Ряд писателей воздал должное покойному коллеге; председательствовал на вечере Всеволод

Вишневский, тот самый Вишневский, который выдвинул против Афиногенова публичное обвинение на роковом собрании в апреле 1937 года. Самую примечательную речь произнес на вечере писатель Виктор Финк. Он внимательно изучил дневник Афиногенова и захотел поделиться со слушателями своими впечатлениями от этого чтения:

...перед вами лежит объемистая кipa бумаги, в которой вылилась душа человека, в которой он живет сам с собой и представляет собой, как бы, новый, никем посторонним невидимый, сокрытый мир, комплекс идей и поступков, не известных никому... [Дневники] представляют собой интересный материал не только биографический и не только литературный, они представляют собой интересный материал и для изучения передового человека нашего времени: о чем человек писал и что он писал, и как он писал: чем он жил. Вот, посмотрев сотни страниц, я не увидел ничего, кроме того, что представляет собой принципиальный общественный, литературный или политический интерес. Человек жил на какой-то очень высокой настроенности. Меня захватило и завистью, и восторгом перед цельностью, перед душевной чистотой этого человека.

В связи с «цельностью» и «духовной чистотой» дневника, продолжал Финк, ему в голову пришла такая мысль. «Быть может, усовершенствуются человеческие знания, и по таким записям когда-нибудь люди научатся воссоздавать и моральный, и физический облик человека», подобно тому, как археологи способны возвращать к жизни цивилизации прошлого. Таким образом будущий ученый сможет «воссоздать, создать обратно именно Афиногенова, человека, который был красив физически — у него был высокий рост, круглая голова греческого полубога, спокойная уверенность в правде жизни, уверенность в своих творческих силах» [500].

Финк здесь буквально излагал философию воскрешения Николая Федорова. Полагая, что написанное человеком составляет ядро его личности, этот философ выступал за такое государственное устройство, при котором письменные источники будут сохраняться до тех пор, пока развитие науки не сделает возможным физическое воскрешение личности на основании духовной сути ее текстов. Финк разделял с Федоровым и несколькими поколениями русской интеллигенции убеждение, что ядро личности заключено именно в том, что этой личностью написано. Текст является не просто отражением действительности, а самым существом сознания. С точки зрения Финка, дневник Афиногенова представлял собой сущность его полноценно прожитой необыкновенной жизни[501]. Всякий, кто прочитает дневник, говорил Финк, обязательно отчетливо ощутит, что «только у великого народа и в великую эпоху рождались и вырастали такие молодые люди», как Афиногенов. Это замечание свидетельствовало о том, что историческое сознание, воодушевлявшее Афиногенова при жизни, сохранялось и после его смерти. Подобно Афиногенову, Финк и другие искали исторические признаки, подтверждавшие реальность социалистического общества. Из-за своей безвременной кончины одной из таких вех на историческом пути стал теперь сам Афиногенов. Неопровержимая цельность и красота его жизни рассматривались оставшимися в живых современниками как свидетельство реального существования нового, социалистического человека. Эта интерпретация противоречила чувству собственной неполноты, которое испытывал Афиногенов.

Никто из восхвалявших Афиногенова в день годовщины смерти не упоминал о его семье: о том, что произошло с его женой и дочерьми, или о том, как его пожилая мать перенесла утрату единственного сына. В дневнике Афиногенова эта сторона жизни драматурга также

преимущественно обойдена молчанием. Как автор дневника, так и вспоминая о нем писатели упорно фокусировались на истории. Они подчеркивали те стороны его личной жизни, которые, по их убеждению, имели историческую ценность. Несмотря на интроспективность и отшельничество автора, дневник Афиногенова 1937 года не являлся хроникой его личной жизни. Например, он лишь вскользь упомянул о рождении второй дочери. Глубоко личный характер дневника за этот год обусловлен в первую очередь тем, что Афиногенов осознал: его жизнь внезапно приобрела исторический смысл; история — в виде сталинских чисток — проходит прямо через него. Он рассматривал драму своей жизни как драму исторических масштабов. Кроме того, призвание драматурга было неразрывно связано со стремлением Афиногенова-коммуниста прожить жизнь в истории. Эта жажда сыграть историческую роль объясняет то, почему Афиногенов стремился в полной мере реализовать себя в период самой интенсивной политической борьбы, репрессий и гибели [\[502\]](#).

ГЛАВА 8

СТРЕМЛЕНИЕ ПРОДОЛЖАТЬ БОРЬБУ

Годы сталинского правления, безусловно, являются одной из самых жестоких глав в истории XX столетия. Коммунистический режим разрушил бесчисленное количество жизней и причинил страдания, до сих пор полностью не оцененные. Личные дневники сталинской эпохи, в большом числе обнаружившиеся после открытия советских архивов, демонстрируют со множеством ярчайших подробностей, как насильственные практики режима становились частью жизни советских граждан, часто заканчивающейся катастрофически. Однако многие из

этих дневников исполнены потрясающим стремлением к самовыражению и самореализации в условиях массовых репрессий. В них отражено желание их авторов включиться в тот самый поток революционной мысли и действия, который оказался столь разрушительным как для других людей, так и для самих авторов многих дневников. Связь самовыражения и террора в создании этих личных записей раздражает современных западных читателей и требует объяснения.

Изучение дневников сталинской эпохи показывает притягательность коммунистической идеологии для самосознания личности. Активисты-большевики призывали всех советских людей принять программу революционного преобразования и в процессе этого преобразования преобразовывать самих себя. Принадлежность к сообществу революционеров и помощь в осуществлении законов истории обещали интеллектуальную, нравственную и эстетическую самореализацию. Авторы многих дневников включались в проведение революционной политики, видя в ней способ обретения личного голоса, иными словами — собственной «личности», «биографии» или «мировоззрения». Этот голос обретался в принципиально важном столкновении с прежней неорганизованной, «пассивной» или эгоистической жизнью человека, нацеленной на выработку общественно более ценного и многостороннего, менее эгоистичного *Я*. Таким образом, включение в революционное движение могло быть обусловлено стремлением к самовыражению, а не желанием стереть собственную личность, как утверждают некоторые комментаторы [503].

Хотя значительное число авторов дневников проявляли интерес к самосовершенствованию и самопреобразованию, идеологический язык их *Я* был весьма различен. Тем не менее многие из их записей можно сгруппировать по общим темам и конкретным моментам периода 1920—1930-х

годов, когда стремление к самовыражению проявлялось наиболее отчетливо. Дневники первой группы велись «классово чуждыми элементами» и «классовыми врагами», главным образом интеллигентского происхождения, которые хотели отрешиться от своей «буржуазной личности» в контексте борьбы коммунистов за разрушение «старого мира», активно развернувшейся в конце 1920-х и начале 1930-х годов. Во второй группе дневников описывались процессы обучения, приобретения культуры и формирования личности. Принадлежавшие в основном молодым людям, происходившим из низших слоев общества, эти дневники стали появляться в начале 1930-х годов и велись на фоне формирующейся «социалистической цивилизации». Наконец, существовал дневник коммуниста, свидетельствующий о резком росте стремления к самопреобразованию в связи с кампанией внутрипартийного очищения, кульминация которой пришлась на годы «большой чистки».

«Если вдуматься, сколько жизней течет вокруг — длинных и коротких, полных и скудных, ярких и бесцветных, счастливых и несчастных, — писала в своем дневнике в 1932 году молодая учительница Вера Павлова. — Сколько людей — творящих и разрушающих, строящих, борющихся в одиночку и коллективом, людей, так или иначе вкладывающих свои жизни в общее здание жизни общества, людей — песчинок истории, которых она незримо вписала в свои страницы». Павлова была поражена многообразием позиций окружавших ее людей, но еще поразительнее были понятия, в которых она осмысливала жизнь. Это были манихейские понятия созидания и разрушения, коллективизма и индивидуализма, яркой выразительности и бесцветного существования, характерные для периода строительства социализма[[504](#)].

Павлова была убеждена, что все эти различные и даже противоположные друг другу формы жизни

разворачиваются исторически закономерно. Представление о том, что история в конечном счете задает нормы человеческой жизни, что эта жизнь тем выразительнее и исторически ценнее, чем в большей степени она служит потребностям общества, разделялось не только Павловой. Оно формировало самоопределение широкого круга людей в сталинские годы, в особенности в довоенный этап «социалистического строительства». Именно этой ориентацией на самовыражение в коллективе и на службе истории определялась социалистическая субъективность. Благодаря своей общественной силе и исторической значимости такая жизнь обещала людям подлинность и глубокую осмысленность, а потому они активно к ней стремились. Она противопоставлялась жизни вне коллектива или вне потока истории. Так же как авторы дневников жаждали жизни в коллективе, они боялись утраты смысла, которую влекло за собой изгнание из этого мира. Некоторые говорили о своей боязни стать «лишним человеком», ненужным обществу; другие сравнивали себя с беспомощными персонажами чеховских пьес, которые пассивно наблюдают за тем, как жизнь и история уходят за линию их личного горизонта. Они боролись за то, чтобы не быть лишними в эпоху, когда и общественная ценность, и личная самооценка человека определялись его «полезностью для общества». В ходе этой борьбы авторы дневников описывали свои надежды на принадлежность и страх исключения в биологических терминах. Они представляли коллектив живым организмом, включенность в жизнедеятельность которого давала человеку силу, смысл и энергию. В свою очередь, неспособность или нежелание идти в ногу с коллективом превращали авторов дневников в калек и паралитиков, чувствующих себя отделенными от живого, энергичного, вечно молодого революционного тела.

В ряде дневников повторяется образ радио как замены реальной связи с обществом, необходимого для одиноких

людей, не имеющих возможности погрузиться в «общий поток жизни». Как передатчик праздничного шума советских демонстраций или вечерних новостей, в которых сообщалось об очередных подвигах советских людей, радио стало воплощением коллектива. Чем больше его передачи наполняли одиноких слушателей энтузиазмом, тем в большей степени они описывали чувство принадлежности к советской истории. Однако сама картина одинокого человека, способного проникнуться ощущением связи с другими только благодаря потрескивающим звукам радиоприемника или фиксации своих мыслей в дневнике, заставляет задуматься об уединении и отчаянии — неафишируемой оборотной стороне ярко описывавшихся сценариев принадлежности.

Социалистическую субъективность правильнее всего понимать не как неизменную сущность, которой человек был наделен раз и навсегда, а как состояние сознания, которое приобреталось в самом акте перехода *Я* от мелких и ограниченных забот на более высокий уровень вовлеченности в историю. Чтобы быть устойчивой, эта установка требовала постоянных усилий, связанных с нахождением своего места в мире. Не все дневники того времени в равной мере демонстрируют функционирование социалистической субъективности, и еще меньше таких дневников, которые бы позволяли увидеть полный набор ее определяющих признаков, однако можно утверждать, что самоопределение в советском мире обеспечивалось за счет тройственной установки на самовыражение, коллективное действие и историческую цель. Эта идеальная форма субъективности была отчетливо нелиберальной в том смысле, что в ней отсутствовала положительная оценка автономии и индивидуальных ценностей. Характерно, что не только коммунистические идеологи, но и критически мыслящие советские интеллектуалы презирали

«буржуазные» требования индивидуального творчества и исключительности.

Большевистским активистам удалось распространить представление о необходимости личностного роста через верность делу революции благодаря укорененности подобного образа мысли в историческом прошлом России. Нравственная обязанность самосовершенствоваться, заниматься общественной деятельностью и выражать себя в соответствии с требованиями истории была основой русской интеллектуальной и политической жизни в течение почти столетия, предшествовавшего революции 1917 года. Стремясь включиться в историю и добиться исторически обоснованного представления о собственном *Я*, авторы дневников сталинской эпохи на удивление последовательно продолжали линию поведения нескольких поколений образованных русских людей, начавшуюся с первых десятилетий XIX века и служившую отличительной особенностью русской интеллигенции.

Первое поколение интеллигентов, немногочисленных образованных русских людей, собиралось в литературно-философских салонах Москвы и Санкт-Петербурга; их объединяло глубокое недовольство общественно-политической «отсталостью» России и ощущение нравственной обязанности изменить эту ситуацию. Инструмент быстрого и решительного изменения они нашли в немецком идеализме, в частности в гегелевской философии исторического развития, которую они изучали не как простой набор идей, а как руководство в личной, общественной и политической жизни. Учение Гегеля привило им веру в существование законов истории, применимых и к России и дававших надежду в условиях мрачной действительности. Хотя Россия отставала от более передового Запада, она могла догнать его благодаря напряженным усилиям «сознательных» личностей, знавших

законы истории и посвятивших свою жизнь применению этих законов для блага страны.

Привилегированное происхождение большинства этих молодых людей осознавалось ими как нравственная обязанность превратить соотечественников, темных крестьян (а позднее рабочих), из существ, которые вели рабское существование, в полноценных людей, способных восстать против угнетения и помочь продвижению России вперед. Однако главным долгом интеллигента была работа над собой: формирование установки на общественно-политические изменения и сохранение представления о том, что свою жизнь он должен поставить на службу истории. Именно эту установку имели в виду интеллигенты, говоря об образцовой «личности», которую они определяли как надличностный этический идеал — ориентацию не на индивидуалистические цели, а на историю и коллектив ради строительства лучшего будущего.

Такой подход, предъявлявший к интеллигентам серьезные требования, предоставлял им и значительные преимущества. Вера в историческую адекватность своих мыслей и действий наделяла их смыслом, тогда как в официальных структурах царской России, из которых эти «лишние люди» были исключены в силу своего критического к ним отношения, они никакого смысла не видели. История давала возможность спастись от невыносимого настоящего на бескрайних просторах будущего и почувствовать себя там как дома. Некоторым из них будущее казалось очень многообещающим. Наблюдая за Западом, диктовавшим темп исторического развития, они предполагали, что усиленное культивирование личности в России рано или поздно приведет к тому, что эта «молодая» страна перегонит «старый» Запад, отягощенный, по их мнению, вырожденческими, своекорыстными «буржуазными» ценностями.

Свои идеи об исторических изменениях интеллигенция развивала в основном в сфере литературы. В условиях существовавшей при самодержавии политической цензуры качества «нового человека» очерчивались и обсуждались именно в, казалось бы, неполитической литературной сфере — в романах, критических статьях и литературных автобиографиях. По той же причине чтение этих произведений давало интеллигентам зеркало, глядя в которое они могли преобразовывать себя. Жизнь и искусство были тесно взаимосвязаны: образцовая жизнь интеллигентов служила моделью для создания литературных образов, по примеру которых, в свою очередь, формировали себя читатели. Эти вполне проницаемые границы, соединявшие, а не разделявшие жизнь и текст, сохранялись на протяжении большей части XX века и являлись отличительным признаком дневников сталинской эпохи [505].

Ленин и другие большевики жили в соответствии с ретранслируемым через литературу требованием вести образцовое существование на службе истории. Они формировали свои установки в соответствии с новаторским толкованием понятия о новом человеке и, в свою очередь, пропагандировали образцы поведения, сообразующиеся с изменяющимися представлениями об исторически-необходимых действиях. Работу Ленина «Что делать?» (1902), посвященную новому типу политической партии профессиональных революционеров, можно читать как руководство по воспитанию личности. Жестко организованная партийная среда должна была формировать максимально преданных делу и стойких людей, обладавших высочайшей сознательностью и железной волей, которые позволили бы им вовлечь отсталую Россию в водоворот мировой революции.

Придя к власти, большевики последовательно подавляли альтернативные сценарии исторических изменений,

предлагавшиеся интеллигентами-небольшевиками. Параллельно и в самой партии шел процесс подавления «оппозиционных» голосов и навязывания «генеральной линии», во все большей степени отождествлявшейся с личной волей Сталина. Дух радикальной интеллигенции проявлялся в Коммунистической партии, но еще более широкое применение он находил в учреждениях и кампаниях советского государства. С первых дней своего существования советская власть развернула широкомасштабные кампании по образованию и ликвидации неграмотности, оказавшиеся поразительно успешными [506].

По мере советизации этос интеллигенции подвергался преобразованию. Затрагивавший ранее лишь тонкий слой образованного общества России, он превращался теперь во всеобщий общественный идеал, распространявшийся через институциональные структуры советского государства. Становясь более узким в интерпретации и авторитарным по содержанию, этот идеал сохранял отчетливые очертания касавшегося теперь всех советских граждан требования вести идеологически цельную, «сознательную» жизнь, посвященную нуждам «общества» и в конечном счете нацеленную на обеспечение исторического прогресса. Каким запутанным путем идейные ориентации, возникшие в дореволюционное время, переносились в советскую действительность, видно из дневника Зинаиды Денисьевской, на протяжении всей жизни не отходившей от представления об обязанности интеллигенции просвещать массы. Но интеллигентские ценности определяли концепцию собственного *Я* и у рабочих крестьянского происхождения, выросших в 1920—1930-е годы. Леонид Потемкин пользовался дневником для упорядочения своих усилий, направленных на превращение в социалистическую личность. Усилиям Степана Подлубного препятствовал груз

утаиваемого прошлого, но его путь самовоспитания свидетельствовал об аналогичных устремлениях.

Возникает вопрос, как соотнести эти повествования, наполненные напряженным самоанализом и стремлением вперед, с политическим давлением, психологическим и физическим, которое оказывала советская власть. Имея в виду требование коммунистического государства с энтузиазмом участвовать в «строительстве социализма», его решимость регулировать мысли граждан и преследование им малейших проявлений оппозиционного поведения, можно было бы заподозрить, что авторы дневников делали записи в первую очередь для НКВД и прилагали усилия к тому, чтобы представить себя пылкими сторонниками советской власти, вопреки своим подлинным убеждениям.

Зинаида Денисьевская вела дневник более тридцати лет; он охватил и революцию 1917 года, и сталинскую индустриальную революцию десятилетием позднее. На протяжении всего этого периода ее самопонимание развивалось без внезапных переломов или изменений тональности; оно разворачивалось последовательно, в соответствии с собственной логикой. Денисьевская нигде не сворачивала со своего пути, не переходила от искренности и самораскрытия к более расчетливой форме самопредставления, предназначенного для постороннего читателя. Другие дневники охватывают менее длительные промежутки времени, но вести их авторы стали до начала сталинских репрессий. Эти дневники тоже отличаются последовательностью тематики и стиля самовыражения. Александр Афиногенов стал анализировать свой творческий и личностный кризис еще в 1932 году, но лишь в 1937-м, под сильным давлением режима, он всерьез обратил внимание на собственное «разложение». Начав вести дневник, Леонид Потемкин посвятил его самовоспитанию, которым последовательно занимался в дальнейшем. Ведение дневника он прекратил в 1936 году, потому что

дневник уже не помогал ему в самосовершенствовании. Вместо этого Леонид обратился к прямому обмену мнениями с ровесниками, в частности вступив в обширную переписку с Ириной Жирковой. Случай Степана Подлубного сложнее в том смысле, что он сознательно вел двойную жизнь, изображая из себя рабочего, но зная при этом, что принадлежит к другому классу. Однако его дневниковый голос последователен: он критически комментирует свою двойную жизнь и ищет выход из нее, а не настроен на ее продолжение. Во всех четырех главах, посвященных отдельным авторам дневников, я, помимо самих этих дневников, опирался и на другие источники — личные письма, стихи, воспоминания, фотографии, опубликованные тексты и беседы. При их совокупном изучении возникает более сложное представление об индивидуальной субъективности, чем то, которое могут дать сами дневники; но это представление не противоречит дневниковому нарративу и не обесценивает его. И из дневников, и из других источников становится очевидной всепроникающая программа общественного контроля, управление собственным развитием и самосовершенствованием.

В дневниках Подлубного, Денисьевской и Афиногенова много свидетельств личных сомнений и собственных мыслей о политике, причем особенно они заметны в моменты усиления политического давления. Вспомним Подлубного, называвшего свой дневник хранилищем «реакционных» мыслей, или попытки Афиногенова уйти от коммунистической жизни в частное существование, или сомнения Денисьевской в правильности генеральной линии партии. Если бы эти дневники были изъяты и просмотрены недоверчивым взглядом прокурора, их авторов, несомненно, обвинили бы в «разложении», «оппозиционных настроениях» или «контрреволюционных намерениях». Наличие подобных записей безусловно

отвергает подозрения в том, что дневники создавались в первую очередь для глаз и ушей сотрудников сталинского аппарата безопасности. Тем не менее кто-то может предположить, что даже эти выражения сомнений и отчаяния были нацелены на НКВД, чтобы создать впечатление о борющихся со своими слабостями сторонниках социализма, заслуживающих доверия именно потому, что они не скрывают своих сомнений. Однако читать эти дневники страница за страницей, усматривая в них выражение расчетливой позиции, которую их авторы сохраняли долгие годы, было бы несправедливым как по отношению к этим авторам, так и по отношению к самим документам. Такое прочтение не может объяснить неисчислимого множества автобиографических документов сталинской эпохи, которые показывают, что самоанализ и самовоспитание были в то время устоявшимися культурными практиками. Авторы с большим трудом доставали дефицитные бумагу и тетради, и это также свидетельствует о том, что им было очень важно сформулировать, проработать и разрешить насущные вопросы относительно своих *Я*.

В этом свете рассмотренные мною дневники представляют собой нечто большее, чем просто тексты или своеобразные пассивные свидетельства. Они являются также материальными подтверждениями постоянных усилий, направленных на поиск и изменение авторами собственных *Я*, — усилий, которые поощрялись культурой, определявшей людей в терминах революционных субъектов. Дневниковые описания борьбы и личного становления указывают на сферу, внешнюю и по отношению к дневникам, и по отношению к социальным позициям их авторов. Выражая свои устремления, авторы дневников жаждали исторически действенным образом реализоваться за их пределами, в постоянной практической работе. Дневники, погруженные исключительно в сферу

мысли, описывали в лучшем случае суррогатное историческое действие. Многие дневники, наполненные самоанализом, велись людьми, исключенными из коллектива и обращавшимися к дневникам в целях создания замены чувства утраченной принадлежности. Дневниковые размышления могли продвигать проект переделки личности, но в основном этот проект осуществлялся не в дневниках, а в труде и активной общественной деятельности. Поэтому ориентированные на самоанализ дневниковые нарративы обращают наше внимание на значительно более общие процессы конструирования и реконструирования личности, пронизывающие советский социальный, политический и экономический ландшафт [507].

Как и в отношении любого другого исторического периода, мы достигаем глубокого понимания субъектов сталинской эпохи, лишь локализуя их в культурной среде, определявшей категории речи, мышления и действия, используемые при создании дневников. Если советские граждане настаивали на первостепенном значении самовоспитания, если они утверждали, что дневниковые лаборатории нужны им для личностной переделки, и обменивались письмами с друзьями в целях взаимного душевного контроля, у нас нет причин не верить им на слово, пусть даже мы считаем, что эта их программа являлась результатом заблуждений и дезориентации. Императив изменения личности и идеал созвучного истории социализированного Я, которые играли для этих авторов определяющую роль, должны учитываться и при исторической оценке сталинского периода. Такое понимание вовсе не предполагает сочувствия или одобрения выбора, сделанного непосредственными субъектами этой истории. Цель, наоборот, состоит в том, чтобы отделить самопонимание этих исторических субъектов от наших нынешних представлений о личности.

Сочувствие же приводит к прямо противоположному результату: оно нарушает историческую дистанцию, проецируя на субъектов истории наши собственные ценности и представления о личности. Мы переделываем этих субъектов по своему образу и подобию, определяемому либеральными идеалами индивидуализма и автономии, и релятивизируем или игнорируем аспекты, этому образу не соответствующие.

Судьба инженера Юлии Пятницкой, вытолкнутой из советского общества после ареста ее мужа, вызывает сочувствие. Но такое сочувствие трудно совместить с осуждением ею в 1938 году Николая Бухарина как изменника и шпиона. Годом ранее муж Пятницкой защищал Бухарина от его противников в Коммунистической партии, и эта позиция, вероятно, и послужила причиной его ареста. Прочитав признания в организации террористических актов, данные Бухариным на московском показательном процессе, Пятницкая пришла к обескураживающему нас сегодня выводу о том, что ее муж ошибался, защищая скрытого контрреволюционера [508]. Равным образом мы можем сочувствовать Зинаиде Денисьевской, особенно с учетом многочисленных бедствий, выпавших на ее долю в течение сравнительно недолгой жизни. Но в рамках «сочувственного» прочтения невозможно объяснить упорную поддержку Денисьевской каждого нового политического поворота как исторически неизбежного и желательного, даже обращаясь к контексту советской политики классовой войны, в конечном счете погубившей ее. Психологическая драма Степана Подлубного с его стигмой сына «классового врага», безусловно, вызывает сочувствие. Но его замечания о голодающих украинских крестьянах («А те, кто умирает с голоду, пускай, раз он не может защитить себя от голодной смерти, значит слабовольный. Что же он может дать для общества?») значительно ослабляют эту симпатию. То же самое можно

сказать и о Леониде Потемкине, который преклонялся перед эстетикой строительства социализма, но чье видение нового мира красоты и выразительности основывалось на сценариях ожесточенной борьбы, разложения и упадка, которые он понимал далеко не только метафорически.

Эти модальности мысли сложны для восприятия современными читателями именно из-за принятия насилия в качестве инструмента самореализации. Сталинский режим прибегал по отношению к своим гражданам к крайним формам насилия, но и их собственное самопонимание было проникнуто символическим насилием. Ключевыми компонентами советской субъективности являлись борьба с внешними и внутренними врагами, а также уничтожение «старого человека» в целях создания «нового».

Прометеевское прославление силы, здоровья и красоты сочеталось с откровенным презрением к тем, кто считался слабым, больным и непригодным к жизни. Отдельных субъектов и агентов государства объединяли параллельные траектории революционного очищения социального пространства и личного сознания, и те и другие рассматривали насилие как необходимый инструмент формирования общества и человеческой личности. При рассмотрении в диахронном аспекте, с учетом таких вех, как война, революция и сталинская индустриализация, эти дневники показывают, что для воплощения индивидуальных форм самопреобразования была необходима среда, пронизанная насилием. Ежедневные записи свидетельствуют о нараставшей неотложности самоанализа, а пробелы и пропуски в фиксации событий указывают на то, что стимулов обратить взор внутрь себя становилось все меньше. Война со «старым миром», начатая коммунистическим режимом в конце 1920-х годов, подтолкнула к размышлениям людей, отождествлявших себя с «буржуазной интеллигенцией»; коммунистическая инквизиция 1930-х заставила заняться самоанализом

большевиков, оказавшихся на линии огня. Таким образом, авторы отдельных дневников превращали направленное против них насилие в катализатор самоанализа. В процессе этого многие из них преобразовывали внешнее давление в рефлексию, административное принуждение во внутреннее стремление. Но, поступая так, они продолжали развивать взгляды на себя, существовавшие до непосредственных кампаний чисток. Размышляя о давлении, с которым они сталкивались, эти люди сохраняли в дневниках собственный авторский голос, и нет оснований считать плотную фактуру их записей простым примером конформизма, повторения предписанных советской властью заклинаний [509].

Чтобы продвинуться в процессе самопреобразования, авторы дневников стремились избавиться от ненужных или вредных мыслей. Называть это «самоцензурой» не совсем правильно. В этих случаях авторы дневников следовали не вполне осознаваемому зову своей души и тела, пытаясь создать условия для формирования у себя подлинного советского Я. Самовоспитание было преимущественно нравственным начинанием, направленным на самосовершенствование и экзистенциальное оправдание. Напротив, понятие «самоцензура» правомерно прилагать только к ситуациям индивидуального самоподавления, обусловленным боязнью авторов дневников, что их мысли или действия могут повлечь за собой политические санкции. В дневниках сталинского периода проявляются оба аспекта — нравственное самовоспитание и политическая самоцензура, и часто они пересекаются и сливаются друг с другом, а авторы дневников не проводят различия между страхом внешних репрессий и страхом экзистенциальной утраты собственного Я. Особенно остро это слияние проявляется у тех авторов дневников, которые в периоды духовных кризисов обращались к НКВД, главному исполнителю сталинского политического насилия, как к

высшему нравственному авторитету, с просьбой вмешаться и исправить их ошибочные побуждения[[510](#)].

Для многих авторов дневников сталинской эпохи история служила стимулом включения в политическое настоящее, сколь бы репрессивным оно ни казалось. Знать направление истории и включиться в ее революционный поток было необходимым условием превращения в развитую личность и законного члена советского общества. Настоящее могло быть мрачным, но если оно открывало путь к будущему, то становилось пригодным для жизни и даже исключительно ценным. Никто не выразил эту связь между страданиями и спасением более отчетливо, чем Юлия Пятницкая, которая потеряла в результате сталинских чисток мужа и сына и все же не могла представить себе, что откажется от возможности служить сталинскому государству: «Твои самые близкие и дорогие люди уничтожены, ты измучена, ты видишь со всех сторон страдания и смерть, и все же ты продолжаешь идти, поднимаешься во весь рост, смотришь прямо в будущее общества — твоя жизнь будет ярче и богаче, и полезнее для других. Ты должна жить, действуя, а не созерцая, и если становится невозможно не видеть старой, темной жизни, то возвысься над ней, отделись от нее и выйди на светлый и радостный путь» [[511](#)]. Авторы других дневников также описывали острые противоречия между лично наблюдаемой ими действительностью и «революционной истиной», пропагандировавшейся властями, но подходили к разрешению этих противоречий через напряженный исторический анализ. Они были склонны фиксировать достижения социалистического строительства как исторические вехи, свидетельствующие о том, что история движется вперед верным курсом.

Такое истолкование было в определенной мере оправданно: облик Советской России быстро менялся; миллионы людей из низших слоев общества получали

образование; современные ценности — рациональность, дисциплина и наука, неустанно пропагандировавшиеся режимом, казалось, вытесняли извечные представления о российской косности и апатии. Ощущение, что страна движется к новым вершинам, получало дополнительное подтверждение при ее сравнении с капиталистическим Западом, испытывавшим экономическую депрессию и политический кризис. Подобное понимание истории действовало как сильный наркотик. Оно могло придать жизни личности опьяняющие смысл и динамику и таким образом ослабить боль, возникавшую в результате наблюдения действительности, сталкивавшейся с предписанной истиной. Хотя Александр Афиногенов и другие представители художественной интеллигенции иногда выражали сожаление по поводу накладываемых на них творческих ограничений, их роль инженеров нового мира вознаграждала их возможностью участия в истории, на фоне которой роль художника в несоциалистическом мире представлялась крайне незначительной [512].

Представления о закономерном историческом развитии воодушевляли и тех, кто критиковал советскую власть и отказывался признавать ее исторические претензии. Посвящая себя альтернативному будущему, эти критики придерживались того же самого понятия личности, реализующей себя в революционном потоке истории [513]. Для того чтобы бороться с режимом на этом поле, требовалась не только большая смелость, но и способность концептуализировать самого себя в таких категориях, как «история», «революция» или «народ», — в категориях, которые режим стремился монополизировать. Судя по дневникам, о которых шла речь в этой книге, сталинскому режиму удалось заставить замолчать многих своих критиков не только с помощью репрессий или их угрозы, но и косвенно, за счет общественного ostracism и контроля над семантикой социалистической личности. Под сильным

давлением режима, реализовывавшего ритуальные сценарии изгнания, наглядно отлучавшие личность от коллектива, прежде чем выбросить ее на «свалку истории» (Троцкий), многие «лишние люди» превращались в одиноких и сомневавшихся в себе, «никому не нужных» субъектов — ужасная судьба с учетом их стремления вести общественно полезную и исторически целеустремленную жизнь [514].

Желание слиться с движением, обещавшим людям всеобъемлющее мировоззрение, уверенность, смысл и самореализацию, было характерно не только для Советского Союза. Оно являлось неотъемлемой составляющей европейской культурно-политической жизни в первой половине XX века, когда возникавшая массовая политика и технологическое экспериментирование воинственно противопоставлялись традиционным буржуазным ценностям. Интеллектуалы по всей Европе, в том числе Жорж Сорель, Эрнст Юнгер и Вальтер Беньямин, превозносили нравственно-искупительную и эстетически очистительную энергию политического насилия. В европейском искусстве межвоенного периода были обильно представлены эксперименты, основанные на эстетическом насилии, — от формализма до футуристической поэзии и авангардного кинематографа. Новые — как левые, так и правые — политические партии конкурировали между собой за реализацию эстетизированных представлений об обществе, свободном от грязи и вырождения. Все активисты соответствующих течений, независимо от их происхождения и политической ориентации, разделяли общую решимость порвать с устарелым «академизмом» и «буржуазностью» и настаивали на том, что насилие является необходимым условием осуществления их проектов пересоздания мира. И все они провозглашали исключительную силу, красоту и нравственность организованных масс, в противоположность «слабому» и «устарелому» «буржуазному индивидуализму»

предшествующего периода [515]. Циничная практика и огромная разрушительная сила этих течений с тех пор дискредитировали их в глазах многих, но образ целостного общественного организма, на который они опирались, сохраняет релевантность и по сей день. Этот образ привлекателен для нас, современных людей, освободившихся от уз традиции и брошенных на волю волн нашей индивидуальной жизни.

Хотя культура насилия была характерна в тот период для всей Европы, только в Советском Союзе развилась инквизиционная культура, стремившаяся выявить и разоблачить оскверняющего

Другого *внутри* революционного движения.

Коммунистическая идеология не предусматривала образа врага, имеющего постоянные — расовые или социально-статичные — характеристики, с которым надлежало бороться, чтобы достичь нравственного и эстетического совершенства. Принадлежность к создававшемуся коммунистическому миру определялась чистотой сознания, а потому каждый человек становился одновременно субъектом и объектом очищения. Пластичность личности, утверждавшаяся коммунистической идеологией, могла представлять серьезную угрозу, но первоначально она была многообещающей и привлекательной. Исключительная обращенность к личности была уникальна для советского коммунистического государства. Никакой другой режим массовой мобилизации, существовавший в XX веке, — ни в фашистской Италии, ни в нацистской Германии — не призывал людей к такой масштабной переделке себя путем включения в революционное строительство. И ни один из этих режимов не породил автобиографической литературы, сравнимой с советской по объему и глубине рефлексии.

Субъективирующий импульс советской идеологии был отчасти связан с марксизмом и его романтическими корнями, но отчасти и с требованием общественной

полезности, являвшимся ключевым для русской культуры задолго до революции. Жить по-настоящему означало возвыситься над эгоистическими интересами и посвятить жизнь служению обществу и истории, чтобы переделать ненавистную, отсталую Россию силой личного примера и неуклонной устремленностью в будущее. Эта установка действовала в разных, но всегда узнаваемых формах на протяжении всех лет советской власти, однако особенно отчетливо она была выражена в сталинские времена. После смерти Сталина ее интенсивность пошла на спад. В 1936 году задумавшийся о будущем молодой московский рабочий-комсомолец Александр Ульянов разрешил проблему выбора между двумя девушками, провозгласив, что настоящим предметом его любви является «дорогая» Коммунистическая партия. «Партия, вот она родная... Она близко, близко, и ежедневно ее чувствую, работаю для нее... Я нужен ей так же, как и она мне». В 1955 году, через два года после смерти Сталина, поэт Евгений Евтушенко затронул эту же тему, но с характерными изменениями. В стихотворении, обращенном к женщине, он написал: «у меня на свете две любимых — это революция и ты». Это была уже раздвоенная любовь, а не исключительная преданность обществу и истории. Более того, поэт просил обеих возлюбленных простить ему периодические измены [[516](#)].

СПРАВКА ОБ ИСТОЧНИКАХ

Большинство проанализированных в настоящей книге дневников стало доступно в связи с открытием советских архивов во время перестройки и после распада Советского Союза в 1991 году. Некоторые из них хранятся в бывших советских государственных и партийных архивах. Хотя эти дневники вели политические активисты, писатели и художники, лояльные к советской власти, они оставались засекреченными все время существования этой власти,

поскольку их «подстрекательское» содержание вызывало опасения. Другие дневники доступны в государственных архивах уже давно. Третьи взяты из так называемых «общественных архивов», созданных во время крушения режима для хранения собраний документов подвергавшихся преследованию лиц и политических групп или для сохранения личных документов рядовых советских граждан. В этих неофициальных учреждениях быстро скопилось множество автобиографических записей, создающих контрапунктическое звучание по отношению к административно-институциональному тону, доминирующему в государственных хранилищах. Помимо этого, часть личных записок стала доступна благодаря самим авторам дневников, если они еще были живы, или их семьям. Ряд дневников, подробно обсуждавшихся в настоящей книге, хранится в личных архивах, и в некоторых случаях мне посчастливилось встретиться с авторами этих дневников. Эти беседы были необыкновенно содержательными и увлекательными, хотя подчас наши мнения и интерпретации расходились. Пристрастность моих собеседников служила живым напоминанием об этических проблемах, которые возникают при рассмотрении в качестве исторических источников документов, составляющих неотъемлемую часть жизни их авторов.

Несмотря на их впечатляющее количество, известные личные записки сталинской эпохи, похоже, являются лишь верхушкой айсберга. До сих пор не изучены такие хранилища, как центральный и региональные архивы сталинской тайной полиции — НКВД, к которым иностранные исследователи по-прежнему почти не имеют доступа. В немногочисленных дневниках, все же добытых из этих архивов, имеются подчеркивания и пометки прокуроров, помогающие понять, как воспринимались и истолковывались соответствующие записи. Наконец, неисчислимы дневники хранятся в частных домах и

квартирах по всей территории бывшего Советского Союза. Есть основания опасаться, что многие из подобных дневников никогда не станут доступны исследователям, потому что нынешние владельцы не осознают исторического значения этих документов и считают их сугубо личными записями, неуклюжими прозаическими опытами, недостойными внимания историков.

Настойчивые усилия по собиранию и инвентаризации автобиографических записок советского прошлого наверняка открыли бы нам огромные богатства — множество личных документов, причем не только периода раннего сталинизма, но и военных лет и послевоенных десятилетий. Частично такие усилия предпринимаются, но к чему они приведут, пока неясно. Такие организации, как «Мемориал» или «Народный архив», хронически недофинансируются и существуют лишь благодаря энтузиазму и упорству их немногочисленных сотрудников. Им приходится учитывать, что общество болезненно приспособляется к рыночной экономике и в значительной степени утратило свой прежний интерес к вопросам общественной и культурной идентичности. Ослабление интереса к истории в обществе усугубляется нежеланием нынешнего политического руководства России осознать наследие коммунистического режима и разрешить фундаментальные проблемы политической преемственности и моральной ответственности. Обращение к этим проблемам чревато спорами и размежеваниями в обществе, но именно оно способствует формированию того типа гражданской культуры, на котором может развиваться политическая демократия.

Критический анализ с использованием автобиографий, относящихся к советскому прошлому, невозможен без учета сегодняшних отзвуков этих автобиографий. Анализируя дневники сталинской эпохи, важно осознавать изменение политической конъюнктуры, которое объясняет, почему в

конкретный период исторически ценными признаются (а потому собираются в архивах или публикуются) те или иные документы. Подобный критический подход позволяет нам обнаружить невидимые личные источники, не соответствующие историческим и политическим интересам своего времени, а следовательно, не попадающие в архивы или не публикующиеся. Если в документах, публиковавшихся в разгар сталинизма, авторы неизменно представляли исполненными энтузиазма советскими гражданами, то в период послесталинской оттепели герой дневников усложнился. Свидетельством этого является публикация дневника Нины Костериной в 1962 году. Московская школьница-комсомолка Костерина, погибшая во время Второй мировой войны, уйдя в партизаны, писала в дневнике о том, что ей трудно согласиться с арестом отца в 1937 году как «врага народа». Героизм Костериной заключался в сохранении приверженности коммунистическим ценностям, несмотря на беды и несправедливость, творящиеся вокруг. Возвращаясь к духу хрущевских реформ, дневники, публиковавшиеся в начале перестройки, изображали идейных коммунистов, страдавших при сталинизме, но тем не менее отстаивавших ценности партии. После того как перестройка провалилась, в печати стали появляться дневники, более критичные по отношению к советскому строю, а исследователи начали изучать дневники как очаги сопротивления сталинизму.

Дневники сыграли и продолжают играть важную роль в записывании и переписывании опыта сталинского периода. Современная политика исторической репрезентации также влияет на работу историков, использующих личные свидетельства в качестве исторических доказательств. И все же историки способны занять критическую позицию, анализируя политические и эпистемологические сдвиги, объясняющие, почему данный дневник оказывается интересен в данное время и почему он — в силу этого —

сохраняется в архиве или публикуется. Такой подход помогает нам оценивать архивы или публикации документов не как прозрачные окна в прошлое, а как институционализированные места конструирования памяти, в значительной степени вовлеченные в политические и нравственные проблемы настоящего.

Использованные архивы

Архив Музея им. Бахрушина, Москва

Архив общества «Мемориал», Москва

Архив фонда Солженицына, Москва

Государственный архив Калининской области, Тверь

Государственный архив Российской Федерации, Москва

Государственный архив Свердловской области,
Екатеринбург

Личные архивы А.А. Афиногеновой, М.С. Гавриловой (урожденной Подлубной), Л.А. Потемкина, Л. Рязановой и В. Круглеевой (Москва), А.Г. Манькова (Санкт-Петербург), Вячеслава Ульриха (Гейдельберг)

Отдел рукописей Российской государственной библиотеки, Москва

Российский государственный архив литературы и искусства, Москва

Российский государственный архив народного хозяйства, Москва

Российский государственный архив социально-политической истории, Москва

Центр документации «Народный архив», Москва

Справочники и библиографические указатели

Воспоминания и дневники XVIII—XX веков: Указатель рукописей. М.: Б-ка им. Ленина, 1976

Документы личного происхождения в архивных учреждениях Северо-Западного федерального округа Российской Федерации: Справочник. СПб., 2002

История дореволюционной России в дневниках и воспоминаниях: Аннотированный указатель книг и

публикаций в журналах: В 5 т. / П.А. Зайончковский (ред.). М.: Книга, 1976—1989

Личные архивные фонды в хранилищах СССР: Указатель. М., 1963—1980

Открытый архив: Справочник опубликованных документов по истории России XX века из государственных и семейных архивов (по отечественной периодике 1985—1995 гг.) / И.А. Кондакова (ред.). 2-е испр. изд. М.: РОССПЭН, 1999

Путеводитель по фондам и коллекциям личного происхождения. М.: Российский центр хранения и изучения документов новейшей истории, 1996

Советское общество в воспоминаниях и дневниках: Аннотированный библиографический указатель книг, публикаций в сборниках и журналах: В 4 т. / В.З. Дробижев (ред.). М.: Книга, 1987—2000

Центральные архивы Москвы: Путеводитель по фондам личного происхождения / А.А. Кац (ред.). М.: Мосгорархив, 1998

См. также разделы «Личные архивы» в многотомном путеводителе по фондам архивов Российской Федерации — Архивы России. М.: Звенья, 1999

В 2015 году был открыт архивный проект «Прожито» (<http://prozhito.org/>). Этот архив представляет собой электронный корпус личных дневников, собранный в мультязычную библиотеку дневниковых записей, снабженных поисковыми инструментами и научно-справочным аппаратом. Проект «Прожито» позволяет не только читать конкретные личные дневники, загруженные в систему, но и дает возможность работать со всем массивом записей, получая выборки по сложным запросам: авторам, времени, месту, языку записи, а также по упоминаемым в дневниках персонам и ключевым словам.

«Прожито» — инициатива, развивающаяся силами волонтеров. С момента открытия проекта в апреле 2015

года, через него прошло больше двух сотен участников, занимавшихся поиском публикаций, сканированием изданий и рукописей, распознаванием и набором текстов, технической подготовкой дневников к загрузке на сайт.

«Прожито» не только агрегирует уже опубликованные дневники, получая права на републикацию текстов у авторов, их наследников и издателей, но и развивает собственную издательскую программу. В распоряжении создателей проекта несколько десятков никогда не публиковавшихся дневников, и это число постоянно пополняется новыми источниками.

1

Пятницкий В.И. (ред.). Голгофа: по материалам архивно-следственного дела на Соколову-Пятницкую Ю.И. СПб., 1993. С. 41 (15.02.1938).

2

Пятницкий В.И. (ред.). Голгофа. С. 76, 79, 100 (26.03.1938; 09.04.1938; 27.05.1938).

3

Говоря о «либеральном субъекте», я имею в виду теоретический конструкт, лежащий в основе западных концепций Я. Различение «частного» («приватного») и «общественного» («публичного») важно для либерально-демократической концепции общества, опирающейся на согласие отдельных субъектов.

См.: *Halberstam M.* Totalitarianism and the Modern Conception of Politics. New Haven: Yale University Press, 1999. P. 46—49, 113—117.

4

Orwell G. 1984. San Francisco: Harcourt Brace Jovanovich, 1984. С. 7 (русский перевод В.П. Голышева: <http://readr.ru/dghordgh-oruell-1984-perevod-golisheva-vp.html>).

5

Богомоллов Н.А. Дневники в русской культуре начала XX века // Тыняновский сборник: Четвертые тыняновские чтения. Рига: Зинатне, 1990. С. 148—158. По наблюдению Жоржа Нива, после 1917 года «дневник как жанр интимной литературы исчезает. Ни революция, ни террор ему не способствуют... У нового человека нет внутреннего мира. Личный дневник? Он даже не знает, что это», см.: *Nivat G.* Le journal intime en Russie // *Russie-Europe. Le fin du schisme: Etudes littéraires et politiques.* Lausanne: L'âge d'homme, 1993. P. 146.

6

Впоследствии Булгаков попросил вести дневник жену, и она вела его: Дневник Елены Булгаковой. М.: Книжная палата, 1990. Большие фрагменты булгаковского дневника сохранились в машинописной копии, отпечатанной ОГПУ.

7

Чуковская Л. Записки об Анне Ахматовой. Т. 1: 1938—1941. М.: Время, 2007. С. 5. Однако на самом деле Чуковская во времена сталинщины завела несколько дневников. *Чуковская Л.* По эту сторону смерти: из дневника 1936—1976 гг. Париж: ИМКА-пресс, 1978; *Каверин В.* Эпилог: мемуары. М.: Аграф, 1997. С. 233.

8

Plaggenborg S. Revolutionskultur: Menschenbilder und kulturelle Praxis im Sowjetrussland zwischen Oktoberrevolution

und Stalinismus. Köln: Böhlau, 1996. Понятие *новый человек*, несмотря на грамматическую принадлежность к мужскому роду, относится к человечеству в родовом смысле и представляет идеал, к которому стремились люди. Тем не менее сама конструкция «новый человек» обладает ощутимо мужскими чертами.

9

Halfin I. Terror in My Soul. Cambridge, MA: Harvard University Press, 2003; *Kharkhordin O.* The Collective and the Individual in Russia: A Study of Practices. Berkeley: University of California Press, 1999. P. 57—60.

10

Бухарин Н.И. Тюремные рукописи Н.И. Бухарина: В 2 т. Т. 1: Социализм и его культура. М.: АИРО-XX, 1996. С. 66. Бухарин сформулировал эти идеи в 1934 году, см.: *Бухарин Н.* Кризис капиталистической культуры и проблемы культуры в СССР // Известия. 30.03.1934. С. 6, 18.

11

Gorham M.S. Speaking in Soviet Tongues: Language Culture and the Politics of Voice in Revolutionary Russia. DeKalb: Northern Illinois University Press, 2003; *Dobrenko E.* The Making of the State Writer: Social and Aesthetic Origins of Soviet Literary Culture. Stanford: Stanford University Press, 2001.

12

См. особенно: *Morrissey S.* Heralds of Revolution: Russian Students and the Mythologies of Radicalism. New York: Oxford University Press, 1998; *Steinberg M.* Proletarian Imagination: Self, Modernity, and the Sacred in Russia. Ithaca: Cornell University Press, 2002; *Могильнер М.* Мифология

«подпольного человека»: радикальный микрокосм в России XX века как предмет семиотического анализа. М.: Новое литературное обозрение, 1999. Понятие «экосистема» введено нами под влиянием представления Катерины Кларк об «экологии революции», см.: *Clark K.* Petersburg: Crucible of Revolution. Cambridge, Mass.: Harvard University Press, 1995. P. 1—29; см. также: *David-Fox M.* Revolution of the Mind: Higher Learning among the Bolsheviks, 1918—1929. Ithaca: Cornell University Press, 1997. P. 190—191.

13

Foucault M. What is Enlightenment? // Rabinow P. (ed.) The Foucault Reader. New York: Pantheon, 1984. P. 41. Юрий Лотман выступает за прочтение автобиографий Нового времени как «культуры программ поведения», см.: *Лотман Ю.М.* Литературная биография в историко-культурном контексте (К типологическому соотношению текста и личности автора) // Лотман Ю.М. Избранные статьи. Таллин: Александра, 1992. Т. 1. С. 372.

14

Это понимание субъектности, хотя оно и возникло под влиянием Фуко, не основано на предложенном Фуко понятии *assujettissement*. Этот термин был разработан Фуко для того, чтобы подчеркнуть иллюзию самостоятельности индивида и таким образом подвергнуть критике либеральную основу Нового времени; однако в случае его применения к нелиберальному советскому государству возникают проблемы. См.: *Engelstein L.* Combined Underdevelopment: Discipline and the Law in Imperial and Soviet Russia // Goldstein J. (ed.). Foucault and the Writing of History. Cambridge: Blackwell, 1994; *Plamper J.* Foucault's *Gulag* // *Kritika*. 2002. Vol. 3. № 2; *Hellbeck J.* The Analysis of Soviet Subjectivity Practices: Interview with the Editors of *Ab Imperio* // *Ab Imperio*. 2002. № 3. P. 217—

260, 397—402. О Фуко и субъектности см.: Rabinow P. (ed.). Foucault Reader; *Dreyfus H.L., Rabinow P.* Michel Foucault: Beyond Structuralism and Hermeneutics. Chicago: Chicago University Press, 1983. См. также: *Mansfield N.* Subjectivity: Theories of the Self from Freud to Haraway. New York: New York University Press, 2001.

15

См.: *Kotkin S.* Magnetic Mountain: Stalinism as a Civilization. Berkeley: University of California Press, 1995; *Malia M.* The Soviet Tragedy: a History of Socialism in Russia, 1917—1991. New York: Free Press, 1994; *Hoffmann D.L., Kotsonis Y.* (eds.). Russian Modernity: Politics, Knowledge, Practices. New York: St. Martin's, 2000; *Hoffmann D.L.* Soviet Values: the Cultural Norms of Soviet Modernity. Ithaca: Cornell University Press, 2003.

16

Пятницкий В.И. (ред.). Голгофа... С. 76 (26.03.1938).

17

Arendt H. On the Nature of Totalitarianism: An Essay on Understanding // *Arendt H.* Essays on Understanding, 1930—1954. New York: Harcourt, Brace, 1994. P. 338—339.

18

См. особенно: *Fitzpatrick S.* Education and Social Mobility in the Soviet Union, 1921—1934. Cambridge: Cambridge University Press, 1979; *Getty J.A.* The Origins of the Great Purges: The Soviet Communist Party Reconsidered, 1933—1937. Cambridge: Cambridge University Press, 1985.

19

Этого нельзя сказать о «Магнитной горе», превосходной микроистории Магнитогорска, написанной Стивеном Коткином и вдохновившей и мою работу. Я по-иному, чем Арендт, отношусь к взаимосвязи идеологии и субъектности. Арендт не интересовалась отдельным человеком как активным субъектом. С ее точки зрения, движущей силой является сама идеология: «независимо от любого опыта» идеология, «наталкиваясь» на конкретного человека, устраняет субъектность. При таком подходе недооценивается активное и творческое участие личности в усвоении идеологии, в процессе которого от человека требуется переработать свой субъективный опыт, а не отбросить его. См.: *Arendt H. The Origins of Totalitarianism. New York: Harcourt, Brace, Jovanovich, 1979. P. 470.* См. также: *Naiman E. Sex in Public: The Incarnation of Early Soviet Ideology. Princeton: Princeton University Press, 1997.*

20

«Скоординированная жизнь» (*ausgerichtetes Leben*) — термин, предложенный немецким критиком: *Kracauer S. Schriften, I: Der Detektiv-Roman: Ein philosophischer Traktat. Frankfurt a. M.: Surkamp, 1971. S. 109, 111, 118, 129.* О концепциях нелиберальной самости в Европе см.: *Wohl R. The Generation of 1914. Cambridge, Mass.: Harvard University Press, 1981; Fritzsche P. Germans into Nazis. Cambridge, Mass.: Harvard University Press, 1998; Herf J. Reactionary Modernism. New York: Cambridge University Press, 1984.*

21

Фурманов Д. Собрание сочинений: В 4 т. Т. 4: Дневники, литературные записи, письма. М.: ГИХЛ, 1961. С. 92—93 (26.03.1917).

22

Фурманов Д. Собрание сочинений: В 4 т. Т. 4. С. 100, 216, 224 (18.08.1917; 29.12.1919; 01.03.1920).

23

Горький М. Несвоевременные мысли: Заметки о революции и культуре. М.: Советский писатель, 1990.

24

О «новой жизни» и «новом человеке» см.: *Колоницкий Б.* Символы власти и борьба за власть: К изучению политической культуры российской революции 1917 г. СПб.: Д. Буланин, 2001. С. 326—335.

25

Чернышевский Н.Г. Что делать: Из рассказов о новых людях. Л.: Наука, 1975. С. 215.

26

Валентинов Н. Встречи с Лениным. Нью-Йорк: Изд-во им. А.П. Чехова, 1953; Революционная литература в борьбе против фашизма: Речь тов. Димитрова на антифашистском вечере в Доме литераторов 28 февраля 1935 г. // *Deutsche Zentralzeitung*. 4. März. 1935; *Паперно И.* Николай Чернышевский — человек эпохи реализма. М.: Новое литературное обозрение, 1996.

27

Пешехонов А.В. Материалы для характеристики русской интеллигенции (1900) // К вопросу об интеллигенции. СПб.: Типография Н.Н. Клобукова, 1906. С. 62, 65.

28

Фурманов Д. Собрание сочинений. Т. 4. С. 214—215 (26.12.1919; 12.08.1921). Такое новое понимание

окончательно прояснилось в ретроспективе, но уже до революции Фурманов работал над тем, чтобы достичь идеала совершенства. Революция, как показывает его случай, была вписана в биографический сценарий радикального интеллигента, она предвосхищалась как порог самореализации; см. также: *Куприяновский П.В.* Неизвестный Фурманов. Иваново: Ивановский госуниверситет, 1996.

29

Троцкий Л. Вопросы быта: Эпоха «культурничества» и ее задачи. М.: Красная новь, 1923. С. 71; *Clark K.* Op. cit. P. 201—223.

30

Веденов А. К вопросу о предмете психологии // Психология. 1932. № 3. С. 55. Благодарю профессора Питера Холквиста за то, что он обратил мое внимание на эту и другие советские работы в области военной психологии.

31

Троцкий Л. Литература и революция. М.: Политиздат, 1991. С. 197.

32

Троцкий Л. С. 198. О просвещенческой образности см.: *Kotkin S.* Magnetic Mountain; *Clark K.* The «History of the Factories» as a Factory of History // *Hellbeck J., Heller K.* (eds.). *Autobiographical Practices in Russia.* Göttingen: Vandenhoeck & Ruprecht, 2004.

33

Таким образом, написание «Чапаева» было для Фурманова автобиографической практикой; см.: *Hellbeck J.* Russian

Autobiographical Practice // Autobiographical Practices in Russia. P. 279—298. О «Чапаеве» см.: *Vroon R. Dmitrii Furmanov's Chapaeu and the Aesthetics of Russian Avant-Garde* // Bowlt J.E., Matich O. (eds.). *Laboratory of Dreams: The Russian Avant-Garde and Cultural Experiment*. Stanford: Stanford University Press, 1996.

34

Фурманов Д. Собрание сочинений. Т. 1. С. 277. Один из разделов военного дневника Фурманова называется «Сила слова» (Там же. Т. 4. С. 271).

35

Высказывания Подвойского и белого офицера приводятся в: *von Hagen M. Soldiers in the Proletarian Dictatorship: The Red Army and the Soviet Socialist State*. Ithaca: Cornell University Press, 1990. P. 98, 113.

36

Kenez P. The Birth of Propaganda State: Soviet Methods of Mass Mobilization, 1917—1929. Cambridge: Cambridge University Press, 1985. P. 72—73, 77, 72; *Ленин В.И. Полное собрание сочинений*. М.: Политиздат, 1967. Т. 44. С. 174.

37

Веденов А. Психология и политпросветработа // Психология. 1931. Т. 4. Вып. 2. С. 188—213.

38

Известия. 05.01.1930. С. 5.

39

Кузнецов И. Развитие устной речи в системе комплексного преподавания // Спутник политработника. 1924. № 3. С.

69—70; *Таль Б.* Вопросы методики политпросвещения // Там же. С. 19; Педагогическая энциклопедия. М.: Работник просвещения, 1927. Т. 1. С. 587.

40

Fitzpatrick S. The Problem of Class Identity in NEP Society // *Fitzpatrick S. (ed.). Russia in the Era of NEP: Explorations in Soviet Society and Culture.* Bloomington: Indiana University Press, 1991; *Naiman.* Sex in Public.

41

Instructions for carrying out verification of party documents and purging the party membership (15.05.1921) // *Koenker D., Bachman R. (eds.). Revelations from the Russian Archives: Documents in English Translation.* Washington: Library of Congress, 1997. P. 58—61.

42

Партийная этика: Документы и материалы дискуссий 20-х гг. М.: Политиздат, 1989. С. 310.

43

Там же. С. 326—327.

44

Halfin I. Terror in My Mind: Communist Autobiographies on Trial. Cambridge, Mass.: Harvard University Press, 2003. P. 43—95.

45

Вертов Д. Мы (1922) // *Вертов Д.* Статьи. Дневники. Замыслы. М., 1966. С. 47.

46

Corney F. Telling October: Memory and the Making of the Bolshevik Revolution. Ithaca: Cornell University Press, 2004.

47

Правда. 1928. 13 июня. С. 5.

48

Günther H. Der sozialistische Übermensch: M. Gor'kij und der sowjetische Heldenmythos. Stuttgart: Metzler, 1993.

49

Первый Всесоюзный съезд советских писателей:
Стенографический отчет. М.: Советский писатель, 1934. С.
549.

50

Clark K. History of the Factories; Правда. 1928. 13 июня. С. 5.

51

Бухарин Н.И. Тюремные рукописи. Т. 1. С. 61.

52

РГАЛИ. Ф. 2172. Оп. 3. Ед. хр. 5 (08.12.1937).

53

Гастев А.К. О тенденциях пролетарской культуры // Пролетарская культура. 1919. № 9—10; Problems of the Soviet Literature: Reports and Speeches at the First Soviet Writers' Congress. New York: International Publishers, 1935. P. 11.

54

Кренкель Э. Четыре товарища: Дневник. Изд-во Севморпути, 1940. С. 311. Сталин произнес этот тост за

жизнь через три дня после того, как распорядился казнить своего бывшего соратника Николая Бухарина.

55

Первый Всесоюзный съезд советских писателей. С. 501. См. также: *Wessell P., Jr.* Karl Marx, Romantic Irony and the Proletariat: The Mythopoetic Origins of Marxism. Baton Rouge: Louisiana State University Press, 1979.

56

Правда. 1935. 21 янв. С. 1—5. Сталинская метафора заставляет вспомнить представление Зигмунта Баумана о тоталитарной власти как «садоводстве», см.: *Bauman Z.* Modernity and the Holocaust. Ithaca: Cornell University Press, 1989.

57

Цит. по: *Bauer R.* The New Man in Soviet Psychology. Cambridge, Mass.: Harvard University Press, 1952. P. 147, 149 (Бауэр, в свою очередь, цитирует книги: *Каирова И.Л.* Педагогика. М.: Учпедгиз, 1948, и *Рубинштейн С.Л.* Основы общей психологии. М.: Учпедгиз, 1946); см. также: *Гройс Б.* Стиль Сталин // Гройс Б. Утопия и обмен. М.: Знак, 1993. С. 11—113; *Halfin I.* Terror in My Soul. P. 256—262.

58

Bauer R. New Man in Soviet Psychology. P. 47; *Halfin I.* Terror in My Soul. P. 33—38. Говоря о сути убеждений той или иной личности, большевики в 1930-е годы часто употребляли слово «душа» (например, «кулацкая душа бухаринско-рыковской группы не выдержала, и сторонники этой группы стали выступать уже открыто в защиту кулачества» — Краткий курс истории ВКП(б). М.: ОГИЗ-

Госполитиздат, 1945. С. 280). Душа представляла собой психическое сочетание характера и направленности личности. Такое эссенциалистское понимание личности существенно отличалось от интерпретаций 1920-х годов, в рамках которых личность рассматривалась как совокупность физиологических рефлексов, вызванных стимулами общественной и физической среды.

59

Holquist P. State Violence as Technique: The Logic of Violence in Soviet Totalitarianism // Weiner A. (ed.). *Landscaping the Human Garden: Twentieth-Century Population Management in a Comparative Framework*. Stanford: Stanford University Press, 2003.

60

Thurston R. Life and Terror in Stalin's Russia, 1934—1941. New Haven: Yale University Press, 1996. P. 113—115.

61

Kharkhordin O. The Collective and the Individual in Russia. P. 55, 228.

62

Walzer M. The Revolution of the Saints: A Study in the Origins of Radical Politics. Cambridge, MA: Harvard University Press, 1965. P. 143; *Hambrick-Stowe C.E.* The Practice of Piety: Puritan Devotional Disciplines in Seventeenth-Century New England. Chapel Hill: North Carolina University Press, 1982.

63

Книжка красноармейца. Екатеринослав: Типография губернского военного комиссариата, 1919.

64

Залкинд А. Культурная революция и вопросы педологии (К итогам первого всесоюзного педологического съезда) // Революция и культура. 1928. № 1. С. 27—32. Цит. по: Рыбников Н.А. Юношеские дневники и их изучение // Психология. 1928. Т. 1. Вып. 2. С. 85—87; Загоровский Л. О некоторых вопросах методики изучения поведения старшего школьного возраста // Психология. 1930. Т. 3. Вып. 1. С. 39—40.

65

Дневник подростка (предисловие профессора Военно-медицинской академии В.П. Осипова. Л.: Время, 1925. С. 4 (перевод: *Tagebuch eines halbwüchsigen Mädchen*. Wien: Internat. psychoanalyt. Verlag, 1919). См. также: Рубинштейн М.М. Юность по дневникам и автобиографическим записям. М.: Высшие пед. курсы при МВТУ, 1928; Эткинд А.М. Эрос невозможного: история психоанализа в России. СПб.: Изд. дом «Медуза», 1993.

66

Gorham M. Speaking in Soviet Tongues. P. 89—95; Огнев Н. Дневник Кости Рябцева. Л., 1927, вторая, дополненная редакция — 1929; на англ. языке: Ognev N. The Diary of Communist Schoolboy. New York: Payson & Clarke, 1928; *Idem*. The Diary of a Communist Undergraduate. New York: Payson & Clarke, 1929. Личный архив Леонида Потемкина (Москва). Дневник. Т. 4. Л. 500б, 510б (22.08.1933; 29.08.1933).

67

Эткинд А. Биографический институт: Неосуществленный замысел Н.А. Рыбникова // Лица: Биографический альманах. М.: Феникс-Атенеум, 1996. Т. 7. С. 420; Загоровский Л. О некоторых вопросах. С. 40. Цит.

по: *Рыбников Н.А.* Юношеские дневники. С. 40. Эткинд считает, что инициатива Рыбникова зародилась под влиянием «философии воскрешения» Николая Федорова. Воскрешение, согласно Федорову, можно превратить в «научно обоснованную» процедуру посредством написания и сохранения автобиографических текстов, описывающих сущность той или иной личности. Эта «сущность» вернет человека к жизни в будущем, как только будут в достаточной степени разработаны соответствующие технические средства. Тем временем общество должно превратиться в «психократию»: все граждане станут вести «психофизиологические дневники» и собираться на ритуалы взаимоисповедывания, чтобы зафиксировать все «психолого-биографические» подробности, необходимые для воскрешения. Программа Рыбникова пересекалась с замыслами большевиков распространить сознательность с помощью биографического инструментария. В конце 1920-х годов он предложил изучать биографии выдвиженцев, рабочих, которых готовили к занятию должностей в государственном аппарате. Такое изучение способствовало бы воспитанию «выдающихся личностей» в массовом масштабе. См.: *Рыбников Н.А.* Опыт психологического анализа биографий выдвиженцев // Автобиографии рабочих и их изучение. Б.м.: ГИЗ, 1930.

68

Вечерняя Москва. 08.01.1997. С. 3. Я благодарен Дэвиду Бранденбергеру за то, что он обратил мое внимание на эту публикацию. В справочнике по педагогике, вышедшем в 1927 году, рекомендовалось, чтобы учителя поощряли ведение дневников как средство «развития индивидуальности» учащихся, но в то же самое время в нем содержались предостережения по поводу хаотичности и несогласованности, которые невозможно преодолеть в дневнике: Педагогическая энциклопедия. Т. 1. С. 582.

Экскурсии систематически организовывались советским государством в целях гражданского и политического воспитания: см.: *Plaggenburg J. Revolutionskultur. S. 223—228.*

69

Третьяков С. Новый Лев Толстой // Литература факта: Первый сборник материалов работников ЛЕФа. М.: Захаров, 2000 (1-е изд. — М., 1929). С. 34, 38.

70

Чужак Н. Литература жизнестроения (Исторический пробег) // Там же. С. 60.

71

Bouvard J. Le moi au miroir de la société nouvelle: les formes autobiographiques de l'histoire (рукопись). Р. 61—62; см также: *Bouvard J.* Une fabrique d'écriture, le projet de Gorki *L'Histoire des fabriques et des usines* (1931—1936) // Pennetier C., Pudal B. (eds.). *Autobiographies, autocritiques, aveux dans le monde communiste.* Paris; Berlin, 2002. Р. 63—73; *Журавлев С.В.* Феномен «Истории фабрик и заводов»: Горьковское начинание в контексте эпохи 1930-х гг. М.: Ин-т Российской истории РАН, 1997.

72

Bouvard J. Le moi au miroir. Р. 64—65, 68, 89.

73

Цит. по: *Ibid.* Р. 62.

74

Цит. по: *Ibid.* Р. 59, 64, 67.

75

Цит. по: Ibid. P. 64—67.

76

Bouvard J. Le moi au miroir. P. 68—69, 84.

77

Рассказы строителей метро. М., 1935; Как мы строили метро. М.: История фабрик и заводов, 1935.

78

Bouvard J. Le moi au miroir. P. 85. В статье в тогдашней энциклопедии превозносилась способность воспоминаний организовывать жизнь автора «под углом зрения определенной идейной концепции», а дневник пренебрежительно характеризовался как «наиболее примитивная форма мемуарной литературы», в которой «повествование держится на молекулярной связи записей, объединенных [лишь] единством излагающего их лица»: Мемуарная литература // Литературная энциклопедия. М.: Изд-во Коммунистической академии, 1934. Т. 7. Стлб. 131—139.

79

Как представляется, ведение дневников было широко распространено в дореволюционном социалистическом движении. Критики и писатели Н.Г. Чернышевский и Н.А. Добролюбов, на примере которых воспитывались многие революционеры, в дневниковой форме фиксировали результаты своей интроспекции и самосовершенствования, см.: *Паперно И. Семиотика поведения: Николай Чернышевский — человек эпохи реализма; Егоров О.Г. Дневники русских писателей XIX в.: Исследование. М.: Флинта, 2002. Социал-демократ, герой романа 1910-х годов, вел дневник, на заглавном листе которого «было написано*

крупным почерком МОИ НАДЕЖДЫ, и нарисован корабль, вроде греческой триремы. На триреме было три ряда весел, на каждом весле было написано: ТРУД, и в середине мачта с широким четырехугольным парусом и надписью: СВОБОДА. На верху мачты был флаг с девизом: ИДЕАЛ. На корме было выведено имя триремы: ЖИЗНЬ, и две широкие доски, вделанные в бока корабля, назывались НАУКА и БОРЬБА. Руль корабля назывался СИЛА ВОЛИ», см.: *Могильнер М.* Мифология «подпольного человека». С. 101.

80

Фурманов Д. Собрание сочинений. Т. 4. С. 214 (29.12.1919). Дневник Николая II был опубликован в журнале: Красный архив. 1927. № 1—3; 1928. № 2.

81

Цит. по: *Kharkhordin O.* The Collective and the Individual in Russia. P. 254—255.

82

См.: *Kharkhordin O.* Reveal an Dissimulate: The Genealogy of Private Life in Soviet Russia // Weintraub J., Kumar K. (eds.). Public and Private in Thought and Practice. Chicago: University of Chicago Press, 1994; *Volkov V.* The Concept of «Kulturnost»: Notes on the Stalinist Civilizing Process // Fitzpatrick S. (ed.). Stalinism: New Directions. London: Routledge, 1999.

83

Следы этого перехода заметны в романе Ильи Эренбурга «День второй», впервые опубликованном в 1933 году. Эренбург порывает с традицией советских писателей (в частности, Фурманова и Федора Гладкова) изображать положительных героев-коммунистов авторами дневников. В

романе Эренбурга тайный дневник, в котором высказываются контрреволюционные мысли, ведет отрицательный герой, болезненный одиночка Вася Сафонов: *Эренбург И.* День второй. Париж: Паскаль, 1933; *Гладков Ф.* Энергия. М.: Советская литература, 1933.

84

См. дневник Ольги Берггольц, обсуждаемый в главе 3.

85

Начало разгрома профдвижения: Дневник Б.Г. Козелева, 1927—1930 гг. // Исторический архив. 1996. № 5—6; 1997. № 1. В послесловии к дневнику (написанном в 1991 году) дочь Козелева отмечает, что в Магнитогорск ее отца направил ЦК. Учитывая его предшествующее решение пойти рабочим на завод — что было классическим ответом коммуниста на обвинения в разложении, — более вероятно, что он сам решил включиться в битву за социализм.

86

Петрухов Н., Хомчик В. Дело о «Ленинградском центре» // Вестник Верховного Суда СССР. 1991. № 5. С. 5—18; *Кирилина А.* Неизвестный Киров. СПб.: Нева, 2001.

87

Шиллинг М. ГАРФ. Ф. 883. Оп. 1. Д. 104 (12.01.1893); я благодарен Диане Шаттенберг за то, что она указала мне на этот дневник. О дефиците бумаги см.: Степан Подлубный. ЦДНА. Ф. 3. Оп. 1. Д. 15, 17 (01.01.1935; 18.01.1939); Личный архив Леонида Потемкина. Дневник. Т. 2. Л. 4 (09.01.1930); *Руднева Е.* Пока стучит сердце: Дневники и письма Героя Советского Союза Евгении Рудневой. М.: Молодая гвардия, 1958. С. 62 (3.08.1938); Правда. 1934. 22 дек. Владимир Бирюков и Александр Афиногенов вели

машинописные дневники: ГАСО. Ф. 2266. Д. 1385—1388; РГАЛИ. Ф. 2172. Оп. 3. Ед. хр. 5—6.

88

ГАРФ. Ф. 7900. Оп. 1. Д. 7. Л. 11—12. Своеобразные «бухгалтерия» и «счетоводство» были важными занятиями авторов дневников в разных культурах и в разные эпохи, см.: *Langford R., West R. (eds.). Marginal Voices: Diaries in European Literature and History. Amsterdam: Rodopi, 1999.* Владимир Бирюков вел дневник на до- и послереволюционных бланках.

89

См., например, дневники Федора Ширнова, Зинаиды Денисьевской и Дмитрия Фурманова. Весь дневник Ширнова — с 1888 по 1938 год — поместился в одном толстом томе, см.: *Garros V., Korenevskaya N., Lahusen T. (eds.). Intimacy and Terror: Soviet Diaries of 1930s. New York: New Press, 1995. P. 67—97.* Денисьевская до 1919 года вела дневник в переплетенных томах, после чего перешла на тетради (см. главу 4). Фурманов после революции вел дневник в бухгалтерских книгах; см.: *Фурманов Д. Собрание сочинений. Т. 4, 6.*

90

Дневник Степана Подлубного. ЦДНА. Ф. 30. Оп. 1. Д. 11 (02.09.1932). Это интенсивное присутствие исторической рефлексии напоминает наполеоновский период, когда тоже наблюдался всплеск создания автобиографических текстов с историческим уклоном. См.: *Fritzsche P. Stranded in the Present: Modern Time and the Melancholy of History. Cambridge, Mass.: Harvard University Press, 2004; Тартаковский А.Г. Русская мемуаристика и*

историческое сознание XIX в. М.: Археографический центр, 1997.

91

1933—1936 гг. в грязовецкой деревне (Дневник А.И. Железнякова) // Вологда: Историко-краеведческий альманах. Вологда: Русь, 1994. Вып. 1. С. 455 (30.05.1933).

92

См.: *Scott J.* Behind the Urals: An American Worker in Russia's City of Steel (1942). Bloomington: Indiana University Press, 1989. P. 118—119.

93

Вишневский В. Собрание сочинений: В 5 т. Т. 6 (дополнительный): Выступления и радиоречи. Записные книжки. Письма. М.: ГИХЛ, 1961. С. 411 (22.01.1942).

94

Дневник Н.В. Журавлева. ГАКО. Ф. 652. Оп. 1. Ед. хр. 2 (06.01.1936; 07.01.1936). Несмотря на намерение Журавлева сосредоточиться на «фактах», а не на сменах настроений, его дневник превратился, по сути дела, в исповедь, в которой фиксировались рабочие конфликты и проблемы в личной жизни. О советских проектах революционизации быта см.: *Naiman E.* Sex in Public. P. 185—188; *Clark K.* Petersburg. P. 242—260; *David-Fox M.* Revolution of the Mind. P. 101—117.

95

ОР РГБ. Ф. 442. Оп. 1. Ед. хр. 4—5 (18.02.1930; 01.03.1930; 12.04.1933; 07.05.1933).

96

РГАЛИ. Ф. 2211. Оп. 3. Ед. хр. 18 (08.04.1961).

Дневниковые записи Перегудова, делавшиеся в 1930-е годы, действительно не отличались особой глубиной и состояли в основном из характеристик погоды и «протокольных» описаний действий автора: «Я спал... проснулся... выпил две чашки чаю».

97

ЦДНА. Ф. 336. Оп. 1. Ед. хр. 32 (15.10.1931; 08.07.1932).

98

См.: *Sherman S. Telling Time: Clocks, Diaries an English Diurnal Form, 1660—1785. Chicago: University of Chicago Press, 1996. P. 58—68.*

99

ГАСО. Ф. 2266. Д. 3088 (23.04.1938; 24.04.1938), личный архив Вячеслава Ульриха (Гейдельберг), запись от 12.04.1931; см. также: *Rolf M. Constructing a Soviet Time: Bolshevik Festivals and Their Rivals during the First Five-Year Plan // Kritika: Explorations in Russian and Eurasian History. 2000. Vol. 1. № 3. P. 447—473; Павлова В. ЦДНА. Ф. 336. Оп. 1. Ед. хр. 32 (16.07.1933). Речь идет о романе «Обрыв».*

100

Луговская Н. Хочу жить!: Дневник советской школьницы (1932—1937). М.: Глас, 2003. С. 8, 42—42 (24.03.1933).

101

Маньков А.Г. Дневники 30-х гг. СПб.: Европейский дом, 2001. С. 16, 42 (30.03.1933; 23.04.1933). Я справлялся с оригинальной рукописью дневника в личном архиве Манькова в Санкт-Петербурге и сравнивал ее с напечатанным вариантом. Впоследствии Маньков стал

известным историком, специалистом по допетровской России.

102

Вернадский В.И. Дневник 1938 года // Дружба народов. 1991. № 2 (04.01.1938; 1.03.1938); см. также: *Волков В.П.* Кадет Вернадский // Нева. 1992. № 11—12; Минувшее. Вып. 7. Париж, 1989. С. 447.

103

Личный архив Манькова (06.07.1933); название дяди именем чеховского персонажа подчеркивало его неспособность приспособиться к требованиям современности. См.: *Пришвин М.М.* 1930 год // Октябрь. 1989. № 7 (6.05.1930); *Он же.* Дневники. М.: Правда, 1990. С. 365 (24.02.1946). На протяжении 1930-х годов Пришвин пытался разрешить конфликт между *хочется* и *надо*, созвучный большевистской дихотомии стихийности и сознательности. Дневник, который Пришвин вел с 1905-го до смерти в 1954 году, — его основное литературно-философское произведение. См. личное собрание Л. Рязановой и В. Круглеевой (Москва). Рязанова и Круглеева готовят к публикации полное критическое издание дневника писателя. (За последние 20 лет издано полное собрание его дневников, охватывающих период с 1905 по 1951 год. — *Прим. ред.*)

104

«Исчез человек и нет его, куда девался — никто не знает»: Из конфискованного дневника // Источник. 1993. № 4. С. 51, 52, 58 (01.05.1933; 17.02.1937).

105

Garros V., Korenevskaya N., Lahusen T. (eds.). Intimacy and Terror. P. 111—165; см. также: На разломе жизни: Дневник Ивана Глотова, пежемского крестьянина, Вельского района Архангельской области, 1915—1931 гг. М.: РАН, 1997; «Дневные записки» усть-куломского крестьянина И.С. Рассыхаева: 1902—1953 гг. М.: Институт, 1997.

106

Garros V., Korenevskaya N., Lahusen T. (eds.). Intimacy and Terror. P. 114 (30.10.1936). Как и отец Нины Луговской, Аржиловский настоятельно рекомендовал своим детям вести дневники (Ibid. P. 137, 12.01.1937).

107

Пришвин М.М. «Жизнь стала веселей...»: Из дневника 1936 года // Октябрь. 1993. № 10 (12.03.1936); Мандельштам Н. Воспоминания. М.: Согласие, 1999. С. 126.

108

Устрялов Н. Под знаком революции. Харбин: Полиграф, 1927. С. 87; Устрялов Н. «Служить» родине приходится костями... — Дневник Н.В. Устрялова 1935—1937 гг. // Источник. 1998. № 5—6 (03.09.1935; 05.07.1936; 18.02.1937).

109

ОР РГБ. Ф. 543. К. 32. Ед. хр. 15 (14.07.1935; 17.09.1935); см. также: Лещенко-Сухомлина Т. Долгое будущее. М.: Советский писатель, 1991. С. 5—7.

110

ОР РГБ. Ф. 543. К. 32. Ед. хр. 15 (13.07.1936).

111

Там же (24.07.1936; 29.07.1936; 29.09.1936); арест и приговор описаны в книге: *Лещенко-Сухомлина Т.* Долгое будущее. С. 302—309.

112

ЦДНА. Ф. 336. Оп. 1. Ед. хр. 32 (31.07.1930; 14.08.1930; 05.05.1931; 09.07.1931).

113

ОР РГБ. Ф. 442. Оп. 1. Ед. хр. 4—5 (23.03.1930; 01.07.1932); *Инбер В.* Страницы дней перебирая: Из дневников и записных книжек. М.: Советский писатель, 1977. С. 24 (09.07.1933); РГАЛИ. Ф. 1072. Оп. 4. Ед. хр. 4 (07.03.1936).

114

Человек среди людей: рассказы, дневники, очерки. М.: Советский писатель, 1964. С. 171, 174 (17.11.1930; 29.11.1930).

115

ЦДНА. Ф. 30. Оп. 11. Ед. хр. 1 (13.09.1932); РГАЛИ. Ф. 1072. Оп. 4. Ед. хр. 4 (31.12.1934).

116

Человек среди людей. С. 175 (03.12.1930); ЦДНА. Ф. 336. Оп. 1. Ед. хр. 32 (10.04.1932).

117

Денисьевская З. ОР РГБ. Ф. 752. Оп. 2. Ед. хр. 7 (06.11.1930); *Дейч Л.* Записные книжки Л.Г. Дейча // Вопросы истории. 1996. № 3. С. 28 (28.02.1935); Вишневский В. РГАЛИ. Ф. 1038. Оп. 1. Ед. хр. 2074 (28.05.1937).

118

ОР РГБ. Ф. 442. Оп. 1. Ед. хр. 5—6 (24.12.1932; 12.01.1934).

119

Человек среди людей. С. 174 (29.11.1930).

120

ЦДНА. Ф. 30. Оп. 1. Ед. хр. 12, 15 (30.12.1933; 31.10.1935).

121

Человек среди людей. С. 175 (1.12.1930); 1933—1936 гг. в грязовецкой деревне. С. 514 (12.10.1935).

122

Островский Н. Мысли о самовоспитании // Юность. 1955. № 3. С. 71; *Вишневский В.* Собрание сочинений: В 5 т. Т. 6 (дополнительный). С. 354, 377 (7.11.1938; 16—17.04.1940).

123

Накануне 1934 года // Правда. 1933. 30 дек. С. 1. Годовые балансы содержатся в дневниках Леонида Потемкина, Александра Афиногенова, Николая Журавлева, Анатолия Ульянова и Галины Штанге (о Штанге см.: *Garros V., Korenevskaya N., Lahusen T. (eds.). Intimacy and Terror. P. 167—217*). «Потребность в постоянном учете выполненных действий, — отмечается в книге, посвященной советским революционным понятиям, — выражается в постоянном употреблении терминов “сумма”, “итоги” и особенно “подведение итогов”» (*Селищев А.М.* Язык революционной эпохи: Из наблюдений над русским языком последних лет, 1917—1926. М.: Работник просвещения, 1928. С. 108).

124

ОР РГБ. Ф. 442. Оп. 1. Ед. хр. 5 (09.12.1932); ЦДНА. Ф. 36. Оп. 1. Ед. хр. 32 (07.05.1932).

125

Личный архив Потемкина, дневник. Т. 5. Л. 55 (недатированная запись, после 31.07.1935).

126

1933—1936 гг. в грязовецкой деревне. С. 493 (10.11.1933).

127

Руднева Е. Пока стучит сердце. С. 48 (25.11.1937).

128

Becher J.R. Der gespaltene Dichter: Gedichte, Briefe, Dokumente. Berlin: Aufbau, 1991. S. 14.

129

РГБ. Ф. 801. Ед. хр. 3 (09.03.1932; 10.03.1932). См. также дневники Веры Инбер и Федора Каверина: *Инбер В.* Страницы дней перебирая. С. 23—24 (09.07.1933); Музей Бахрушина. Ф. 454. Д. 447 (03.09.1928; 07.12.1928).

130

Олеша Ю. Книга прощания. М.: Вагриус, 1999. С. 35—36, 45 (05.05.1930; 07.05.1930).

131

Там же. С. 37, 45 (7.05.1930); другую интерпретацию см. в статье: *Wolfson B.* Escape from Literature: Constructing the Soviet Self in Yuri Olesha's Diary of the 1930s // *Russian Review*. 2004. Vol. 64. № 10. P. 609—620.

132

ЦДНА. Ф. 336. Оп. 1. Ед. хр. 32 (21.12.1932). Под «тремя буквами» Павлова подразумевала Всесоюзную коммунистическую партию (ВКП).

133

Там же (09.12.1932).

134

Там же (09.03.1933).

135

ЦДНА. Ф. 336. Оп. 1. Ед. хр. 32 (29.01.1932; 25.04.1933).

136

Fragments du journal inédit d'Ivan Ivanovič Sitč // Cahiers du monde russe et soviétique. 1987. Vol. 28. № 1. P. 90—92 («Первые дни июня [1930 г.]»); «Правда» от 26.06.1930 цитируется в дневнике: Л.Г. Дейча. Лев Дейч. Записные книжки. С. 22 (27.06.1930).

137

РГАЛИ. Ф. 1072. Оп. 4. Ед. хр. 4 (27.09.1937).

138

См.: *Weintraub J. The Theory and Politics of the Public/Private Distinction* // Weintraub J., Kumar K. (eds.). *Public and Private in Thought and Practice*. P. 1—42.

139

Маркс К. Экономическо-философские рукописи 1844 года // Маркс К., Энгельс Ф. Сочинения. Т. 42. М.: Политиздат, 1974. С. 118.

140

Комсомольская правда. 1938. 15 дек., цит. по: *Kharkhordin O. Reveal and Dissimulate*. P. 357; Крупская Н.К. (1924), цит. по: *Naiman E. Sex in Public*. P. 92.

141

Подлубный С.: ЦДНА. Ф. 30. Оп. 1. Ед. хр. 11—12 (07.06.1932; 01.06.1933); Ульянов А.: ОР РГБ. Ф. 442. Оп. 1. Ед. хр. 4—5, 7 (недатированная запись, до 18.02.1930; 18.02.1930; 01.03.1930; 1.07.1932; 26.01.1935).

142

ОР РГБ. Ф. 442. Оп. 1. Ед. 7 (6.02.1935).

143

Паперный В. Культура Два. М.: Новое литературное обозрение, 2006; *Volkov V.* The Concept of «Kulturnost'».

144

РГАЕ. Ф. 525. Оп. 1. Ед. хр. 70 (05.05.1935; 13.12.1935; 06.03.1937).

145

Ушаков Д.Н. (ред.). Толковый словарь русского языка. М.: Гос. ин-т «Советская энциклопедия», 1935. Т. 1. С. 613; Записные книжки Л.Г. Дейча. С. 26 (20.11.1933).

146

АВМБР. Ф. Р-242. Антонина Коптяева, студентка университета, впоследствии ставшая писательницей, в 1937 году вела дневник, начав его с записей, в которых перечислялись лишь заголовки «Правды». Сразу за ними последовал ряд датированных 1939 годом записей, в которых фиксировались интимные фантазии и мечтания, см.: РГАЛИ. Ф. 2537. Оп. 1. Ед. хр. 127.

147

АВМБР. Ф. Р-242 (27.01.1940; 05.02.1941).

148

1933—1936 гг. в грязовецкой деревне. С. 468, 520—521 (11.06.1933; 13.12.1936); ГАСО. Ф. 2266. Д. 1387 (15.01.1937).

149

Маньков также замечал, что общество и государство уже не составляют в Советском Союзе единого целого, причем государственные интересы размываются, а общественные связи атомизируются. В результате он диагностировал двойственность не только личности, но и общественного строя в целом. См.: *Маньков А.* Дневники 30-х гг. С. 285 (04.11.1940).

150

Устрялов. Н. «Служить мне приходится костями...» С. 13 (03.09.1935); *Кириллов А.* В середине тридцатых: Дневники ссыльного редактора // Наш современник. 1988. № 11. С. 111, 121 (21.02.1935; 20.05.1935). Апелляции Кириллова о восстановлении в партии были отклонены; в 1936 году он совершил самоубийство: *Аросева О.А.* Без грима. М., 2003. С. 51 (15.01.1934).

151

Маньков А. Указ. соч. С. 197 (25.10.1938); ЦДНА. Ф. 30. Оп. 1. Ед. хр. 13 (23.01.1933).

152

АВМБР. Ф. Р-242 (17.05.1940). Другой взгляд см.
в: *Kharkhordin O. The Collective and the Individual in Russia.*
Р. 271.

153

См., например, дневник Александра Афиногенова: РГАЛИ.
Ф. 2172. Оп. 3. Ед. хр. 5 (29.07.1937).

154

ОР РГБ. Ф. 442. Оп. 1. Ед. хр. 10 (09.11.1936). По-русски
слово *партия* — существительное женского рода.

155

Пятницкий был расстрелян в июле 1938 года после
допросов и физических пыток, продолжавшихся по
меньшей мере 220 часов. Он так и не подписал признания в
приписывавшихся ему преступлениях. См.: *Starkov B. The*
Trial That Was Not Held // Europe-Asia Studies. 1994. Vol. 46.
№ 8. Р. 1307; *Пятницкий В.И. (ред.).* Голгофа: по
материалам архивно-следственного дела на Соколову-
Пятницкую Ю.И. С. 29, 46 (18.07.1937; 25.02.1938).

156

Первый Всесоюзный съезд советских писателей. С. 318.
Борис Иогансон цит. по: *Гройс Б. Утопия и обмен.* С. 31.

157

Sinkó E. Roman eines Romans: Tagebuch. Köln: Verlag
Wissenschaft und Politik, 1962. S. 196—197 (15.07.1935).

158

Чуковский К. Дневник 1930—1969. С. 64 (04.07.1932).

159

Личный архив Аркадия Манькова (07.04.1933). Этих и некоторых других самокритичных пассажей нет в опубликованной версии дневника Манькова. После беседы с человеком, отстаивавшим «правильность» советской власти, Маньков записывал в дневнике: «Мой близкий друг, мой неизменный спутник — всеотрицающий, ненавидящий, разрушающий дух. Это мой демон, наполняющий собой каждый кровеносный шарик, бегущий по моим жилам» (Маньков А. Дневники 30-х гг. С. 95 (27.09.1933)).

160

РГАЛИ. Ф. 1072. Оп. 4. Ед. хр. 4 (07.08.1933); ЦДНА. Ф. 336. Оп. 1. Ед. хр. 32 (29.01.1932); Ф. 30. Оп. 1. Ед. хр. 15 (31.10.1935); ГАКО. Ф. р-652. Оп. 1. Ед. хр. 2 (9.02.1936).

161

Sinkó E. Roman eines Romans. S. 138, 197 (20—21.06.1935; 15.07.1935). Другие случаи самоцензуры см.: ЦДНА. Ф. 30. Оп. 1. Ед. 16 (06.12.1937); РГАЕ. Ф. 525. Оп. 1. Ед. хр. 70 (18.09.1937); *Луговская.* Хочу жить! С. 8; *Чуковский.* Дневник 1930—1969. С. 3. Трудно в точности указать на другие случаи самоцензуры, помимо очевидных пробелов в дневниковом повествовании, свидетельством которых являются нарушение ежедневного ритма записей, вырванные страницы или подчистки. Сам по себе эллиптический стиль записей о чистках в достаточной мере не подтверждает нежелания высказываться, особенно если такой же стиль характерен и для записей предшествующих лет. Взять хотя бы дневник Всеволода Вишневского. Посмотрим также на следующую запись из дневника Галины Штанге: «2.03.1938. Сегодня начался процесс правого троцкистского блока. Писать о нем не буду, т. к. собираю газеты и в них все можно прочесть». Из нее не обязательно делать вывод, что Штанге боялась выражать свое подлинное отношение к процессу, учитывая то, что

подобным же образом она высказывалась и в другой, более радостной обстановке: «6.12.1936. Вчера вечером была принята новая Сталинская Конституция. Не буду высказываться по этому поводу, — я чувствую то же, что и вся страна, то есть беспредельное восхищение». Похоже, обеими записями Штанге говорит, что советская печать или общественность гораздо лучше могут выразить ее субъективные чувства, чем она сама. Другую интерпретацию см. в: *Garros V., Korenevskaya N., Lahusen T. (eds.). Intimacy and Terror. P. XVII.*

162

АВМБР. Ф. Р-242 (02.02.1940).

163

Там же (13.11.1940).

164

АВМБР. Ф. Р-242 (02.07.1940; 12.10.1940; 12.12.1940).

165

Безумство преданности: Из дневников Ольги Берггольц // *Время и мы.* 1980. № 57. С. 277—287 (14.12.1939; 23.12.1939; 25.12.1939). См. также дневники Алексея Кириллова, Ивана Литвинова и Александра Соловьева: *Кириллов А.* В середине тридцатых; *Литвинов И.И.* Дневник // *Неизвестная Россия. XX век.* 1992. № 4. С. 81—139; *Соловьев А.Г.* Дневник красного профессора (1912—1940) // Там же. С. 140—228.

166

Подлубный С.: ЦДНА. Ф. 30. Оп. 1. Ед. хр. 12 (23.01.1933). Личный архив Аркадия Манькова (12.06.1933; 5.12.1933); *Sinkó.* Roman eines Romans

(31.08.1935); *Луговская Н.* Хочу жить (05.09.1933; 22.09.1933; 08.11.1933; 09.11.1933; 18.03.1934; 10.02.1935; 11.06.1936).

167

Голгофа. С. 32—33, 46—48 (18.07.1937; 20.07.1937; 01.03.1938; 13.03.1938).

168

Кит Бейкер говорит о «транспаризации» как о новом политическом стиле, созданном Французской революцией: *Baker K.* A Foucauldian French Revolution // *Foucault and the Writing of History*. P. 187—205.

169

Голгофа. С. 97, 103 (25.05.1938; 28.05.1938). Художник-авангардист Густав Клуцис тоже был «исповедником» для своей жены Валентины Кулагиной, отрывки из дневника которой опубликованы в книге: *Tupitsyn M.* Gustav Klutsis and Valentina Kulagina: Photography and Montage after Constructivism. New York: International Center of Photography, 2004, особенно P. 196—197 (14.04.1930; 27.04.1930). Гендерные отношения могли быть и противоположными. Коммунистка Мильда Драуле давала советы мужу, Леониду Николаеву, после того как его исключили из партии, но ее наставления не помешали ему через несколько месяцев убить Сергея Кирова. См.: *Петухов Н., Хомчик В.* Дело о «Ленинградском центре» // Вестник Верховного Суда СССР. 1991. № 5—6. С. 18; *Кирилина А.* Неизвестный Киров. С. 253—254.

170

Инбер В. РГАЛИ. Ф. 1072. Оп. 4. Ед. хр. 4 (29.01.1933; 11.01.1934); *Вишневский В.* Собрание сочинений: В 5 т. Т. 6

(дополнительный). С. 370; Безумство преданности. Из дневников Ольги Берггольц // Время и мы. 1980. Т. 57. С. 282 (01.03.1940).

171

Процесс антисоветского троцкистского центра (23—30 января 1937 года). М.: НКЮ Союза ССР, Юридическое издательство, 1937.

172

Голгофа. С. 61, 75, 97, 103 (13.03.1938; 22.03.1938; 25.05.1938; 28.05.1938); ЦДНА. Ф. 30. Оп. 1. Ед. хр. 13 (26.10.1934), 15 (05.01.1935).

173

Голгофа. С. 75, 101—103 (22.03.1938; 28.05.1938); о заключении и смерти Пятницкой см. с. 114—116.

174

Партийная этика: Документы и материалы дискуссий 20-х гг. С. 308; *Naiman E. Sex in Public*. P. 93.

175

Метафоры ампутации и телесной боли в ранней советской культуре обсуждаются в статье: *Kaganovsky L. How the Soviet Man Was Un(Made)* // *Slavic Review*. 2004. Vol. 63. № 3. P. 577—596.

176

Kracauer S. The Mass Ornament // Kaes A., Jay M., Dimenberg E. (eds.). *The Weimar Republic Sourcebook*. Berkeley: University of California Press, 1994. P. 404—407.

177

ОР РГБ. Ф. 752. Оп. 2. Ед. хр. 2 (04.11.1917); Ед. хр. 6 (29.03.1929); Ед. хр. 7 (13.01.1932); Оп. 3. Ед. хр. 17 (письмо А.С. Данкову, январь 1930 года). Дневники Зинаиды Антоновны Денисьевской хранятся в Российской государственной библиотеке в Москве.

178

ОР РГБ. Ф. 752. Оп. 1. Ед. хр. 1 (03.11.1901); Ед. хр. 4 (26.11.1901); Оп. 2. Ед. хр. 6 (20.02.1930).

179

Там же. Оп. 1. Ед. хр. 1 (18.01.1906); Ед. хр. 2 (03.09.1908); Оп. 2. Ед. хр. 2 (5.12.1920).

180

ОР РГБ. Ф. 752. Оп. 1. Ед. хр. 1 (21.03.1905); *Котлова Т.Б.* Гимназистки на рубеже веков: духовные ценности и идеалы (www.ivanovo.ac.ru/win1251/jornal/jornal2/kot.html).

181

См.: *Hellbeck J.* Russian Autobiographical Practice.

182

ОР РГБ. Ф. 752. Оп. 1. Ед. хр. 1 (19.11.1904; 23.07.1905; 25.07.1905); Ед. хр. 4 (7.11.1910).

183

ОР РГБ. Ф. 752. Оп. 1. Ед. хр. 1 (23.11.1904; 05.02.1905; 10.07.1905; 11.11.1905); Ед. хр. 2 (17.10.1906).

184

Там же. Ед. хр. 2 (15.02.1907).

185

Engelstein L. The Keys to Happiness: Sex and the Search for Modernity in Fin-de-siècle Russia. Ithaca: Cornell University Press, 1992. P. 383—388, 405—406; *Могильнер М.* Мифология «подпольного человека». С. 121—123.

186

ОР РГБ. Ф. 752. Оп. 1. Ед. хр. 2 (24.10.1907; 15.10.1908; 24.10.1907; 15.10.1908; 24.10.1908); *Pietrow-Ennker B.* Russlands «neue Menschen»: die Entwicklung der Frauenbewegung von den Anfängen bis zur Oktober-revolution. Frankfurt: Campus, 1999.

187

ОР РГБ. Ф. 752. Оп. 1. Ед. хр. 2 (17.02.1907; 22.06.1907; 06.11.1908; 12.11.1908). Сексуальность в ее понимании не была исключительно «женской» чертой. Однажды она описала своего отца как раба «чувственности», прибавив, что ее влюбчивость, возможно, унаследована от него: «Чувственность бросает его в объятия различных женщин, огрубила его, сделала пошлым, мелким, деспотичным, жестоким. Его духовная красота потускнела и угасла» (Там же. Ед. хр. 1 (19.12.1913)).

188

Коллонтай А. Новая женщина // Марксистский феминизм: Коллекция текстов А.М. Коллонтай. Тверь: Феминист-пресс, 2003. С. 154—191.

189

Там же. С. 162.

190

Коллонтай А. Новая женщина [1913] // Коллонтай А. Новая мораль и рабочий класс. М., 1919. С. 7.

191

ОГ РГБ. Ф. 752. Оп. 2. Ед. хр. 1 (20.06.1915); Ед. хр. 1 (20.06.1915); Ед. хр. 2 (13.11.1916; 6.03.1917).

192

ОГ РГБ. Ф. 752. Оп. 2. Ед. хр. 2 (09[22].03.1918; 02.04.1918; 05[18].07.1918; 16.08.1918; 8.09.1918).

193

Там же (2.04.1918; 21.04[4.05].1918; 16.08.1918; 8.09.1918; 5.01.1919; 25.04.1919).

194

ОГ РГБ. Ф. 752. Оп. 2. Ед. хр. 3 (6.08.1920; 17.04.1921); Оп. 3. Ед. хр. 9 (письмо Варваре Малахиевой, 9.12.1921); Оп. 3. Ед. хр. 4 (письмо Ольге Бессарабовой, 15.03.1922).

195

ОГ РГБ. Ф. 752. Оп. 2. Ед. хр. 4 (16.10.1926; 29.03.1927).

196

Там же (31.12.1926; 14.02.1927).

197

Соскин В.Л. (ред.). Судьбы русской интеллигенции: материалы дискуссий 1923—1925 гг. (П.Н. Сакулин). Новосибирск: Наука, 1991. С. 19.

198

Соскин В.Л. (ред.). Судьбы русской интеллигенции (Бухарин Н.И.). С. 35—36, 39.

199

ОР РГБ. Ф. 752. Оп. 2. Ед. хр. 4 (07.10.1926; 16.10.1926); Ед. хр. 5 (07.04.1928); Оп. 3. Ед. хр. 4 (письмо Ольге Бессарабовой, 23.04.1925).

200

Там же. Оп. 2. Ед. хр. 5 (11.01.1927; 16.12.1928; 18.12.1928).

201

Младшее поколение впервые появляется в дневнике в лице младшей сестры Зинаиды Вероники, сотрудницы все той же опытной фермы. Зинаида восторгалась ее спокойствием и весельем, но критиковала ее готовность свести сложные общественно-политические явления к какой-либо одной идеологической истине (Там же (03.06.1927); Ед. хр. 6 (24.10.1929)).

202

ОГ РГБ. Ф. 752. Оп. 2. Ед. хр. 5 (08.09.1928; 31.12.1928); Ед. хр. 6 (18.04.1929; 25.04.1929).

203

Там же. Оп. 3. Ед. хр. 4 (письма Ольге Бессарабовой, 23.04.1925; Новый год 1926; 23.09.1926); Ед. хр. 17 (письмо Данкову, 10.01.1930).

204

Там же. Ед. хр. 4 (письмо Ольге Бессарабовой, Новый год 1926); Оп. 2. Ед. хр. 4 (23.09.1926).

205

ОГ РГБ. Ф. 752. Оп. 2. Ед. хр. 6 (21.09.1929).

206

Там же. Оп. 3. Ед. хр. 17 (письмо Данкову, 28—30.09.1929);
Ед. хр. 28 (письмо Данкова, 13.07.1932).

207

Там же. Оп. 2. Ед. хр. 6 (24.10.1929; 28.09.1929; 20.04.1930).
Практика заключения браков в СССР в то время регулировалась Семейным кодексом 1926 года, легализовавшим фактические браки совместно проживавших партнеров. В выпущенном в 1927 году кинофильме «Третья Мещанская», посвященном порожденным этим кодексом проблемам, гость Володя, переспав с женой хозяина, заключает с ней брак простым рукопожатием. В то же самое время она остается женой своего первого мужа.

208

ОГ РГБ. Ф. 752. Оп. 2. (06.01.1930); выступление Анатолия Луначарского (1933) цит. в: *Lih L.T. Melodrama and the Myth of the Soviet Union* // McReynolds L., Neuberger J. (eds.). *Imitations of Life: Two Centuries of Melodrama in Russia*. Durham: Duke University Press, 2002. P. 182.

209

Там же. Ед. хр. 6 (28.10.1929).

210

ОГ РГБ. Ф. 752. Оп. 2 (11.02.1930; 10.03.1930); Оп. 3. Ед. хр. 6 (письма Данкову, 27—29.11.1929; 04.12.1929; 12.02.1930).

211

Там же. Оп. 3. Ед. хр. 17 (письмо Данкову, 16.12.1929); Оп. 2. Ед. хр. 6 (10.03.1930; 30.03.1930).

212

Там же. Оп. 2. Ед. хр. 6 (28.01.1930; 07.03.1930).

213

Там же (16.12.1929); Оп. 3. Ед. хр. 17 (письмо Данкову, 28.01.1930).

214

Müller D. Der Topos des neuen Menschen in der russischen und sowjetrussischen Geistesgeschichte. Bern: P. Lang, 1998. S. 123; *Guski A.* Literatur und Arbeit: Produktionsskizze und Produktionsroman im Russland des 1. Fünfjahrplans (1928—1932). Wiesbaden: Harrassowitz, 1995. S. 300—302. В романе Федора Гладкова «Цемент» ни один герой не лишен серьезных личных недостатков, и всем им недостает чувственных, интимных любовных отношений. См.: *Borenstein E.* Men without Women: Masculinity and Revolution in Russian Fiction, 1917—1929. Durham: Duke University Press, 2000.

215

Коллонтай А. Новая женщина. С. 197.

216

ОР РГБ. Ф. 752. Оп. 2. Ед. хр. 6 (30.03.1930); Ед. хр. 7 (16.07.1930; 22.07.1930); Оп. 3. Ед. хр. 17 (письмо Данкову, 28.06.1930).

217

Добрынин В.А. Кондратьев Н.Д. и Чаянов А.В. О решении аграрного вопроса в России: Лекция. М.: Изд-во МСХА, 1994; *Балязин В.Н.* Профессор Александр Чаянов 1888—1937. М.: Агропромиздат, 1990. С. 240—245. Бухарин был исключен из Политбюро в ноябре 1929 года, но по-прежнему оставался членом ЦК партии.

218

ОР РГБ. Ф. 752. Оп. 2. Ед. хр. 6 (28.02.1930; 13.03.1930; 19.03.1930).

219

Загоровский П.В. Социально-политическая история Центрально-Черноземной области 1928—1934. Воронеж: Изд-во Воронежского университета, 1995. С. 62; ОР РГБ. Ф. 752. Оп. 2. Ед. хр. 7 (12.08.1930; 20.11.1930).

220

Правда. 1930. 22 сент.; ОР РГБ. Ф. 752. Оп. 1. Ед. хр. 7 (27.09.1930).

221

ОР РГБ. Ф. 752. Оп. 1. Ед. хр. 7 (27.08.1930; 16.10.1930).

222

Там же (27.10.1930; 28.10.1930; 21.11.1930; 23.01.1931).

223

Там же (20.11.1930).

224

ОР РГБ. Ф. 752. Оп. 1. Ед. хр. 7 (27.08.1930; 16.10.1930); о судьбе Писцова см.: *Базилевская В.* Вспомним их... // Из небытия: воронежцы в тисках сталинщины. Воронеж: Центрально-Черноземное кн. изд-во, 1992. С. 32.

225

Там же. Оп. 2. Ед. хр. 7 (12.04.1931).

226

ОР РГБ. Ф. 752. Оп. 1. Ед. хр. 1 (12.10.1901); Оп. 2. Ед. хр. 3 (25.02.1921); Ед. хр. 7 (13.10.1931); Оп. 3. Ед. хр. 6 (письмо Евгении Бирюковой, 24.02.1928).

227

Там же. Оп. 2. Ед. хр. 6 (06.01.1930). «Интеллигентка-одиночка» — стереотипное выражение того времени, вполне отражающее положение Денисьевской.

228

Там же. Ед. хр. 3 (25.02.1921). О парадах в Воронеже см.: *Рольф М.* Советский массовый праздник в Воронеже и Центрально-Черноземной области России: 1927—1932. Воронеж: Изд-во Воронежского гос. ун-та, 2000.

229

ОР РГБ. Ф. 752. Оп. 3. Ед. хр. 9 (письмо Варваре Малахиевой, 12.11.1928); см. также: Оп. 2. Ед. хр. 5 (07.11.1928).

230

Там же. Оп. 2. Ед. хр. 6 (20.02.1930; 23.02.1930; 01.05.1930).

231

Там же. Ед. хр. 7 (17.07.1930).

232

Там же (28.10.1930; 23.01.1931).

233

ОР РГБ. Ф. 752. Оп. 3. Ед. хр. 7 (28.10.1930; 23.01.1931).

234

Там же (07.11.1930; см. также: 24.11.1930; 26.11.1930).

235

ОР РГБ. Ф. 752. Оп. 3. Ед. хр. 6 (01.05.1930); Ед. хр. 7 (10.08.1931); Ед. хр. 8 (20.01.1933). Приехав в Москву на октябрьские праздники 1932 года, она замечала: «Так торжественно-празднично пылала огнями Москва... Вся Тверская казалась коридором одного большого дома» (Там же. Ед. хр. 8 (06.11.1932)).

236

Там же. Ед. хр. 8 (27.12.1932; 17.01.1933).

237

Загоровский П.В. Социально-политическая история Центрально-Черноземной области. С. 85—88; ОР РГБ. Ф. 752. Оп. 2. Ед. 8 (17.01.1933).

238

ОР РГБ. Ф. 752. Оп. 2. Ед. хр. 8 (19.02.1933); Оп. 3. Ед. хр. 16. Л. 1.

239

ОР РГБ. Ф. 752. Оп. 2. Ед. хр. 16. Л. 6.

240

ОР РГБ. Ф. 752. Оп. 1. Ед. хр. 1 (02.01.1907); Оп. 2. Ед. хр. 2 (06.04.1917); Ед. хр. 8 (20.01.1933); Оп. 3. Ед. хр. 4 (письмо Ольге Бессарабовой, 23.04.1925).

241

См. автобиографии в: *Гудов И.* Записки рабочего. М.: Политиздат, 1970; *Hoffmann D.L.* Peasant Metropolis: Social Identities in Moscow, 1929—1941. Ithaca: Cornell University Press, 1994. См. также: *Козлова Н.Н.* Крестьянский сын //

Социологические исследования. 1994. № 6; *Она же*.
Заложники слова? // Социологические исследования. 1995.
№ 9—10.

242

О метафоре «волка в овечьей шкуре» см.: *Fitzpatrick S.* The Problem of Class Identity in NEP Society. P. 20; *Eadem*. Stalin's Peasants: Resistance and Survival in the Russian Village after Collectivization. New York: Oxford University Press, 1994. P. 124.

243

Дневник Подлубного за 1931—1939 годы, а также другие его личные документы того периода хранятся в: ЦДНА. Ф. 30. Оп. 1. Д. 11—18. Большие отрывки из дневника были опубликованы по-немецки: *Hellbeck J. (Hrsg.)*. Tagebuch aus Moskau 1931—1939. München: Deutscher Taschenbuch Verlag, 1996. Дневниковые записи Подлубного за 1936—1938 годы приводятся в: *Garros V., Korenevskaya N., Lahusen T. (eds.)*. Intimacy and Terror. P. 293—331. В положении «волков в овечьей шкуре» находилось и множество других потомков кулаков. Подлубный рассказывал мне о трех своих двоюродных братьях, которые превратились в советских граждан, не обнаружив своего происхождения; один из них стал офицером Советской армии и членом Коммунистической партии. Из кулацкой семьи происходил и поэт Александр Твардовский. Тема искупления «нечистого» социального происхождения отражена в его произведениях: *Твардовский А.Т.* По праву памяти // Знамя. 1987. № 2; см. также воспоминания его брата: *Твардовский И.Т.* Воспоминания // Юность. 1988. № 3; 1989. № 10—11; ср.: *Riordan J. (ed.)*. Memories of the Dispossessed: Descendants of Kulak Families Tell Their Stories. Nottingham: Bramcote, 1998.

244

Интервью с Подлубным, 22.06.1994; 28.06.1994.

245

Документ из личного архива дочери Подлубного, Марины Степановны Гавриловой (Москва).

246

Правда. 1930. 3 апр.

247

См. «автобиографию» Подлубного, написанную в 1980-е годы: ЦДНА. Ф. 30. Оп. 1. Ед. хр. 4; см. также: Ед. хр. 14 (10.08.1934).

248

Статья была позднее опубликована в многотиражке типографии «Правды» (Правдист. 1931. 19 июля. С. 3); ЦДНА. Ф. 30. Оп. 1. Ед. хр. 11 (27.06.1931; 30.06.1931; 10.07.1931; 21.07.1931; 23.07.1931; 02.08.1931; 10.08.1931; 11.08.1931; 12.08.1931).

249

О нормировании труда в сталинский период см.: *Kotkin S. Magnetic Mountain*. P. 198—237.

250

ЦДНА. Ф. 30. Оп. 1. Ед. хр. 11 (05.05.1932; 27.10.1932); Ед. хр. 12 (01.11.1932; 09.07.1933); *Clark K. Little Heroes and Big Deeds* // Fitzpatrick S. (ed.). *Cultural Revolution in Russia, 1928—1931*. Bloomington: Indiana University Press, 1978.

251

ЦДНА. Ф. 3. Оп. 1. Ед. хр. 11 (10.05.1932; 02.09.1932; 09.09.1932; 10.10.1932); Ед. хр. 13 (25.09.1934); Ед. хр. 15 (18.09.1935).

252

Там же. Ед. хр. 12 (03.11.1932; 23.01.1933).

253

Alexopoulos G. Stalin's Outcasts: Aliens, Citizens, and the Soviet State, 1926—1936. Ithaca: Cornell University Press, 2003. P. 13—43; *Kimerling E.* Civil Rights and Social Policy in Soviet Russia, 1918—1936 // *Russian Review*. 1982. Vol. 41. P. 24—46.

254

Самое большое их число было выслано в Северную область, в которую входил и Архангельск. См.: *Viola L.* The Other Archipelago: Kulak Deportations to the North in 1930 // *Slavic Review*. 2001. Vol. 60. № 4. P. 734.

255

Fitzpatrick S. Ascribing Class: The Construction of Social Identity in Soviet Russia // *Journal of Modern History*. 1993. Vol. 65. № 12. P. 757, 756; *Alexopoulos G.* Stalin's Outcasts. P. 31—34; ЦДНА. Ф. 30. Оп. 1. Ед. хр. 12 (17.11.1933).

256

Alexopoulos G. Stalin's Outcasts; *Fitzpatrick S.* Ascribing Class. P. 752—755, 757—759; *Bauer R.* New Man in Soviet Psychology. P. 47. См. также: *Смирнова Т.* «Бывшие люди» Советской России: Стратегии выживания и пути интеграции. 1917—1936 гг. М.: Мир истории, 2003.

257

О том, что советские чиновники опасались хитрости и обмана представителей буржуазии, см.: *Alexopoulos G. Stalin's Outcasts*. P. 40.

258

Человек среди людей. С. 175, 178 (03.12.1930; 13.12.1930).

259

ЦДНА. Ф. 30. Оп. 1. Ед. хр. 12 (25.08.1933).

260

Там же. Ед. хр. 11 (22.08.1932; 18.10.1932); Ед. хр. 12 (06.11.1932; 06.12.1932); Ед. хр. 13 (05.10.1934).

261

ЦДНА. Ф. 30. Оп. 1. Ед. хр. 11 (22.08.1932); Ед. хр. 12 (01.04.1933; 25.01.1934).

262

ЦДНА. Ф. 30. Оп. 1. Ед. хр. 11 (13.09.1932).

263

Там же. Ед. хр. 13 (25.09.1934).

264

Там же. Ед. хр. 11 (02.08.1932). Подлубный переписывал отрывки из «Капитала»: ЦДНА. Ф. 30. Оп. 1. Ед. хр. 33. Надежда Крупская в «Организации самообразования» (1922) сравнивает попытки коммунистов самостоятельно овладеть «Капиталом» с попытками убить медведя голыми руками и предлагает предварить «охоту» несколькими подготовительными этапами. См.: *Kharkhordin O. Collective and Individual in Russia*. P. 232. Сталин называл «Капитал» «проверкой мышления человека» и советовал читать его,

чтобы стать хорошим коммунистом. Об этом см.
также: *Banas I. (ed.). The Diary of Georgi Dimitrov, 1933—1949. New Haven: Yale University Press, 2003. P. 19*
(02.05.1934).

265

ЦДНА. Ф. 30. Оп. 1. Ед. хр. 11 (06.10.1932); Ед. хр. 15
(29.01.1935); Ед. хр. 12 (06.02.1933; 1.01.1934); Ед. хр. 13
(18.02.1934; 15.10.1934). Дети с «классово чуждым»
происхождением обращались к Горькому с просьбой
выступить в их защиту: Кем хотят быть наши дети: Сборник
детских писем для отцов. М.; Л.: ГИЗ, 1929. С. 5—6.

266

Там же (26.08.1932; 06.10.1932).

267

Там же. Ед. хр. 12 (21.12.1933).

268

ЦДНА. Ф. 30. Оп. 1. Ед. хр. 11 (18.08.1932).

269

Там же (01.10.1932).

270

ЦДНА. Ф. 30. Оп. 1. Ед. хр. 12 (15.11.1932; 17.11.1932).

271

Там же (08.12.1932).

272

Там же. Ед. хр. 11 (01.10.1932); Ед. хр. 12 (18.12.1932).

273

ЦДНА. Ф. 30. Оп. 1. Ед. хр. 12 (27.11.1932); Ед. хр. 13 (23.07.1934; 01.08.1934); Ед. хр. 6.

274

См.: *Werth N., Moullec G. (eds.). Rapports secrets soviétiques. La société russe dans les documents confidentiels 1921—1991. Paris: Gallimard, 1994. P. 44—46; Hoffmann D.L. Peasant Metropolis. P. 52—53; Kotkin S. Magnetic Mountain. P. 99—101.*

275

ЦДНА. Ф. 30. Оп. 1. Ед. хр. 12 (23.01.1933).

276

ЦДНА. Ф. 30. Оп. 1. Ед. хр. 12 (15.01.1933; 04.02.1933).

277

Там же (04.02.1933; 30.02.1933). Реально было выселено меньшее, хотя тоже чрезвычайно значительное количество людей: согласно внутриправительственному отчету за август 1934 года, в результате паспортизации население Москвы сократилось на 578 тыс. человек, которые либо не получили паспортов, либо покинули город, предвидя репрессии: *Werth N., Moullec G. (eds.). Rapports secrets soviétiques. P. 46.*

278

Там же (10.03.1933).

279

Там же (01.06.1933).

280

Возможно, этот удав был намеком на популярную пьесу Александра Афиногенова «Страх» (1931); см. главу 7.

281

ЦДНА. Ф. 30. Оп. 1. Ед. хр. 28 (16.01.1934).

282

Там же. Ед. хр. 13 (18.06.1934; 05.10.1934).

283

Там же (05.10.1934; 15.10.1934; 26.10.1934).

284

ЦДНА. Ф. 30. Оп. 1. Ед. хр. 15 (02.03.1935).

285

Там же (18.09.1935). Поступлением в мединститут Подлубный был обязан главным образом своему мнимому рабочему происхождению. Провалившись на вступительном экзамене по математике, он пошел к декану и попросил, чтобы ему разрешили переэкзаменовку. Эта просьба была удовлетворена, поскольку Подлубный утверждал, что является пролетарием. На переэкзаменовке преподаватель выдал Подлубному письменное задание, а потом, не посмотрев на результаты, поставил ему удовлетворительную оценку (интервью с Подлубным, 23.06.1992). До 1935 года прием в советские вузы регулировался нормами представительства различных общественных слоев, в рамках которых особое предпочтение отдавалось абитуриентам пролетарского происхождения. Делалось это в целях создания рабочей интеллигенции. В 1928 году пролетарское происхождение имела четверть советских студентов; к 1935 году их доля достигла 45%. См.: *Anweiler O., Ruffmann K.-H.*

(Hrsg.). Kulturpolitik der Sowjetunion. Stuttgart: Kröner, 1973. S. 62—63. В декабре 1935 года вышло правительственное постановление, которым провозглашалось право всех советских граждан независимо от происхождения на получение высшего образования. Однако эта новая политика не покончила с дискриминацией «классово чуждых» элементов. *Fitzpatrick S. Ascribing Class. P. 757—758.*

286

ЦДНА. Ф. 30. Оп. 1. Ед. хр. 11 (13.08.1932).

287

ЦДНА. Ф. 30. Оп. 1. Ед. хр. 12 (09.07.1933; 24.01.1934); Ед. хр. 13 (28.03.1934; 09.05.1934).

288

См.: *Druzhnikov Y. Informer 001: The Myth of Pavlik Morozov. New Brunswick, N.J.: Transaction, 1997.*

289

ЦДНА. Ф. 30. Оп. 1. Ед. хр. 11 (2.09.1932).

290

О крестьянах, приезжавших в Москву на работу, и особенно о «сетях крестьянской взаимопомощи» см.: *Hoffmann D.L. Peasant Metropolis. P. 54—72.*

291

ЦДНА. Ф. 30. Оп. 1. Ед. хр. 12 (12.02.1933).

292

Там же (24.10.1933).

293

ЦДНА. Ф. 30. Оп. 1. Ед. хр. 12. (18.06.1933); Ед. хр. 15 (07.12.1935); Ед. хр. 16 (01.01.1936); Ед. хр. 55 (Подлубный, письмо Татьяне Силаевой); Ед. хр. 102 (Татьяна Силаева, письмо Подлубному).

294

Там же. Ед. хр. 102 (30.01.1936).

295

ЦДНА. Ф. 30. Оп. 1. Ед. хр. 12 (10.10.1933); Ед. хр. 16 (20.12.1937); Ед. хр. 75. Л. 1—4 (письмо В.Е. Ивановой, октябрь 1933 года).

296

Там же. Ед. хр. 105 (письмо Ришата Хайбулина, февраль 1935 года). Степан не комментировал это письмо в дневнике, но мог бы посмеяться над ним, учитывая адресованный ему упрек Ришата и призыв повышать культурный уровень комсомола.

297

Там же. Ед. хр. 46 (письмо К.П. Криворуке); Ед. хр. 82 (письмо Криворуки).

298

Интервью с Подлубным, 28.03.1995; ЦДНА. Ф. 30. Оп. 1. Ед. хр. 16 (20.12.1937); аналогичный случай описан в: *Hoffmann D.L. Peasant Metropolis*. P. 71.

299

ЦДНА. Ф. 30. Оп. 1. Ед. хр. 12 (16.03.1933). Анализ хранится в личном архиве Марины Гавриловой.

300

ЦДНА. Ф. 30. Оп. 1. Ед. хр. 12. (01.04.1933).

301

Там же. Ед. хр. 11 (07.06.1932); Ед. хр. 12 (06.12.1933; 30.12.1933).

302

Там же. Ед. хр. 12 (10.10.1933; 3.11.1933); Ед. хр. 13 (18.02.1934; 23.03.1934; 27.12.1934); Ед. хр. 15 (08.12.1935).

303

Гычка — свежая рубленая капуста.

304

ЦДНА. Ф. 30. Оп. 1. Ед. хр. 13 (4.02.1933; 14.08.1933).

305

Там же (04.02.1933; 07.02.1933).

306

Поведение Подлубного соответствует введенному Гольфо Алексопулосом понятию «ритуальной жалобы», к которой прибегали многие классово чуждые элементы, в прошениях к власть имущим подчеркивавшие свою беспомощность, чтобы добиться заботливого к себе отношения.

См.: *Alexopoulos G. Stalin's Outcasts*. Но в случае Подлубного такая саморепрезентация не ограничивалась официальными отношениями с режимом и влияла на ощущение Степаном собственной личности.

307

ЦДНА. Ф. 30. Оп. 1. Ед. хр. 12 (23.12.1933); Ед. хр. 13 (25.09.1934).

308

Там же. Ед. хр. 13 (25.09.1934).

309

Там же. Ед. хр. 15 (05.01.1935).

310

ЦДНА. Ф. 30. Оп. 1. Ед. хр. 15 (05.01.1935; 26.01.1935).

Многие историки считают, что Сталин действительно организовал убийство Кирова: *Conquest R. Stalin and the Kirov Murder*. New York: Oxford University Press, 1989; *Tucker R. Stalin in Power: The Revolution from Above, 1928—1941*. New York: Norton, 1990. Р. 288—302. Более скептические оценки см.: *Кирилина А. Неизвестный Киров*; *Getty J.A. The Politics of Repression Revisited* // Getty J.A., Manning R. (eds.). *Stalinist Terror: New Perspectives*. Cambridge: Cambridge University Press, 1993. Однако несомненно, что Сталин воспользовался этим убийством как предлогом для развертывания кампании террора против своих противников.

311

Там же (12.02.1935).

312

Там же (28.10.1935; 31.10.1935); Ед. хр. 16 (17.02.1936).

313

Там же. Ед. хр. 15 (31.10.1935); Ед. хр. 16 (05.03.1936).

314

ЦДНА. Ф. 30. Оп. 1. Ед. хр. 15 (31.10.1935).

315

Там же. Ед. хр. 16 (13.02.1936).

316

Там же (22.02.1936).

317

Правда. 1941. 16 февр. С. 4; цит. по: *Fitzpatrick S. Ascribing Class*. Р. 764. Еще одним свидетельством веры Подлубного в биологическую детерминированность классовой принадлежности является отсутствие в его дневнике ссылок на сделанное Сталиным в декабре 1935 года чрезвычайно известное заявление «сын за отца не отвечает», означавшее, что потомок классово чуждых элементов или контрреволюционеров не несет ответственности за злодеяния родителей.

318

ЦДНА. Ф. 30. Оп. 1. Ед. хр. 16 (30.05.1936; 08.10.1936; 31.12.1936).

319

Там же (06.12.1937; 18.12.1937).

320

Приказ № 447 перепечатан в: Трагедия советской деревни: Коллективизация и раскулачивание. Документы и материалы: 1927—1939. Т. 5: 1937—1939. Кн. 1: 1937. М.: РОССПЭН, 2004. С. 330—337; о выполнении приказа см.: С. 372—390.

321

ЦДНА. Ф. 30. Оп. 1. Ед. хр. 16 (18.12.1937; 25.12.1937; 7.01.1938; 11.01.1938); интервью с Подлубным, 21.06.1994.

322

Там же. Ед. хр. 17 (18.03.1938; 15.04.1938).

323

Там же (18.03.1938; 03.04.1938; 5.04.1938; 09.04.1938). «Так жить нельзя» — знаменитая фраза из пьесы Горького «На дне».

324

ЦДНА. Ф. 30. Оп. 1. Ед. хр. 16 (11.01.1938); Ед. хр. 17 (21.06.1938; 10.12.1938).

325

Там же. Ед. хр. 17 (12.05.1938); Ед. хр. 18 (18.01.1939).

326

Интервью с Подлубным, 28.06.1994.

327

Война была новым основополагающим моментом в жизни советского общества в том смысле, что поступки человека во время войны делали неактуальными параметры его прежней социальной идентичности. См.: *Weiner A. Making Sense of War: The Second World War and the Fate of the Bolshevik Revolution. Princeton: Princeton University Press, 2001.*

328

Интервью с Подлубным, 28.03.1995.

329

О целях «Народного архива» см.: Центр документации «Народный архив»: справочник по фондам. М.: Народный архив, 1998; о воспоминаниях кулацких детей см.: *Riordan J. (ed.). Memories of the Dispossessed. О памяти и архивных*

практиках после падения советской власти см.: *Plamper J.* Archival Revolution or Illusion? Historicizing the Russian Archives and Our Work in Them; *Holquist P.* A Tocquevillian Archival Revolution? Archival Change in the Longue Durée // *Jahrbücher für Geschichte Osteuropas*. Bd. 51. 2003. № 1; *Paperno I.* Personal Accounts of the Soviet Experience // *Kritika*. 2002. Vol. 3. № 4. ЦДНА в 2006 году закрылся и был перевезен в помещение Российского государственного архива новейшей истории, где он находится и поныне и проходит процедуру описания.

330

Интервью с Леонидом Потемкиным, 24.03.2002. Потемкин написал три следующие книги: У северной границы: Печенга советская. Мурманск: Мурманское кн. изд-во, 1965; Ленин и развитие материальной сырьевой базы. М.: Знание, 1969; Охрана недр и окружающей природы. М.: Недра, 1977.

331

Имеется в виду антология: *Garros V., Korenevskaya N., Lahusen T. (eds.).* Intimacy and Terror. Потемкин выразил формальный протест против оскорбительного отношения к нему в «Московском журнале международного права» (1997. № 4); см. также весьма взвешенный ответ на этот протест составителя антологии: *Garros V.* Traduction: trahison? ou comment faire place aux conflits d'interprétation? // *La lettre du CEMS, centre d'étude des mouvements sociaux*. 1999. № 4. Vol. 30. P. 2—3. Фрагменты из дневника Потемкина, опубликованные в: *Garros V., Korenevskaya N., Lahusen T. (eds.).* Intimacy and Terror, я цитирую, за немногими исключениями, в переводе Кэрол Флэт. Дневники, письма и воспоминания Потемкина хранятся в его личном архиве в Москве.

332

Потемкин Л.А. Родные истоки (историко-биографические очерки), рукопись (1995). С. 56—75, 108, 118, 128, 157.

333

Потемкин Л.А. Родные истоки (историко-биографические очерки), рукопись (1995). С. 135. В интервью (23.04.2002) Потемкин вспоминал фасолевый суп с мясом и хлеб, которые он получал в школе и которыми, принося домой, делился с семьей. Он специально просил выразить благодарность АРА и народу Соединенных Штатов.

334

Потемкин Л.А. Балхашское крещение (рукопись); *Он же.* Родные истоки. С. 153.

335

Он же. У северной границы (рукопись). Биографии советских инженеров см. в: *Schattenberg S.* *Stalins Ingenieure: Lebenswelten zwischen Technik und Terror in den 1930er Jahren.* München: Oldenbourg, 2002.

336

Потемкин Л.А. Родные истоки. С. 160; интервью с Потемкиным, 27.04.2002.

337

См.: Советская интеллигенция: История формирования и роста, 1917—1965 гг. М.: Мысль, 1968. Классическим исследованием советских выдвиженцев является книга: *Fitzpatrick S.* *Education and Social Mobility*; о цивилизаторской миссии режима см.: *Volkov V.* *The Concept of «Kul'turnost'».*

338

См.: *Dunham V. In Stalin's Time: Middle-Class Values in Soviet Fiction*. Cambridge: Cambridge University Press, 1976, особенно Р. 13—18.

339

Дневник Потемкина. Т. 1. Л. 23 (31.05.1930), 28 об. (03.08.1930), 46, 125 об. — 126 об. (14.08.1931). Потемкин делал дневниковые записи (01.01.1930—23.09.1936) в четырех тетрадях, которые назвал томами 2—5. Записи отнюдь не всегда датированы. Поэтому в моих ссылках приводятся номер страницы рукописи и ближайшая дата.

340

Там же. Т. 2. Л. 6 об. Его дядя был арестован, а учитель выслан. Впоследствии Потемкин вычеркнул слово «дядя», заменив его словом «сосед» (24.01.1930). Это одно из немногих мест в дневнике, в которое внесены позднейшие редакционные изменения. Судя по почерку, Потемкин внес их еще в юности.

341

Там же. Л. 49—50 об. (11.01.1931), 58 об. — 59 (17.01.1931).

342

Там же. Л. 4 об., 10 об., 40 об., 90 об. — 91, 48—48 об., 35—35 об. (01.10.1930), 43 об. — 44 об. (10.11.1930), 72 об. (28.03.1931), 86 (30.04.1931); Т. 4. Л. 31, 61 об. — 62 (23.01.1934); Т. 2. Л. 54 (12.01.1931), 34 (12.01.1931); Т. 4. Л. 58—58 об. (18.10.1933).

343

Дневник Потемкина. Т. 1. Л. 128 об. — 129 (17.08.1931).

344

Дневник Потемкина. Т. 3. Л. 3—3 об., 60—60 об; Т. 4. Л. 9 об. — 10 (25.10.1932); Т. 3. Л. 11—11 об., 17, 28 об. — 29 (09.03.1932).

345

Дневник Потемкина. Т. 2. Л. 113 об. — 114 (17.06.1931); *Назаров И.Т.* Культура воли: Система самовоспитания здоровой личности. 2-е, расширенное и дополненное изд. Л.: О-во разр. метода дост. коорд. организма, 1929; *Потемкин Л.А.* Дневник. Т. 3. Л. 75 об. (01.08.1932). Потемкин нашел эту книгу, роясь в библиотеке мужа своей сестры, который был врачом (интервью, 23.04.2002).

346

Там же. Л. 130 об. — 132 об. (17.08.1931).

347

Дневник Потемкина. Т. 4. Л. 13 (25.10.1932), 15 (17.10.1932).

348

Там же. Т. 3. Л. 77—77 об. (01.08.1932); Т. 4. Л. 16 об. (01.11.1932).

349

Там же. Т. 4. Л. 29 (08.02.1933), 61 (12.01.1934), 70 (12.05.1934), 47—49 (21.08.1933).

350

Дневник Потемкина. Т. 4. Л. 60 об. — 61 (12.01.1934, 20-летие Потемкина), 58 об. — 60 (08.11.1933), 72 (12.05.1934).

О диагнозах советских невропатологов см.: *Naiman E. Discourse Made Flesh: Healing and Terror in the Construction of Soviet Subjectivity* // Halfin I. (ed.). *Language and Modern Revolution: The Making of Modern Political Identities*. London: F. Cass, 2002.

351

Потемкин Л.А. Дневник. Т. 4. Л. 65—65 об. (01.03.1934). В личной беседе (18.12.2004) Потемкин с некоторой гордостью признался, что его бабушка была незаконной дочерью аристократа.

352

Там же. Л. 67 (24.03.1934).

353

Десятый съезд Всесоюзного ленинского коммунистического союза молодежи, 11—21 апреля 1936 г.: Стенографический отчет. М.: Молодая гвардия, 1936. Т. 1 (1—2 заседания). С. 11, 23—24, 186; Молодая гвардия. 1936. № 5. С. 19.

354

Потемкин Л.А. Дневник. Т. 5. Л. 2 об. — 4 (01.10.1934).

355

Там же. Л. 5 об. (01.10.1934).

356

Десятый съезд. Т. 1. С. 42; *Потемкин Л.А.* Дневник. Т. 5. Л. 73 об. — 74 (после 6 июня 1934 года).

357

Потемкин Л.А. Дневник. Т. 5. Л. 13—13 об. (08.01.1935), 34 об. (04.04.1935).

358

Там же. Л. 37 (06.03.1935).

359

Горький М. В.И. Ленин // Горький М. Собрание сочинений: В 30 т. М.: ГИХЛ, 1952. Т. 17. С. 39—40.

360

Потемкин Л.А. Дневник. Т. 5. Л. 15 (после 12.01.1935).

361

Там же. Л. 9 об. (6.12.1934), 15 об. (25.01.1935).

362

Там же. Л. 30 об. (01.10.1934), 15 (12.05.1935), 17 об. (30.01.1935), 53 об. (после 28.09.1935), 65 (май 1936 года), Л. 62 (после января 1936 года).

363

Потемкин Л.А. Дневник. Л. 7 (19.12.1934), 17 об. (30.01.1935), 19 (после 04.02.1935).

364

Там же. Л. 41—42 (апрель или май 1935 года), 42—42 об.

365

*Потемкин Л.А. Дневник. Л. 31 об. (24.03.1935); о коммунистической сублимации см.: *Halfin I. Terror in My Soul*. P. 166—175.*

366

Потемкин Л.А. Дневник. Т. 5. Л. 81—81 об. (лето или осень 1936 года); Переписка. Л. 8 (письмо Ире Жирковой, ноябрь

1937 года); Дневник. Т. 5. Л. 69 об. (июнь 1936 года). Хотя иерархия типов любви в СССР выстраивалась в направлении от индивидуальных к коллективным и обезличенным формам (трудовой энтузиазм, советский патриотизм), социализм как высший предмет любви мог рассматриваться персонализированно, через любовь к вождю и отцу — Сталину. См.: *Brooks J. Thank You, Comrade Stalin: Soviet Public Culture from Revolution to Cold War*. Princeton: Princeton University Press, 2000.

367

Потемкин Л.А. Дневник. Т. 5. Л. 39 (04.04.1935).

368

Там же. Л. 39 (после 04.04.1935); Десятый съезд. Т. 2 (12—19-е заседания). С. 33.

369

Десятый съезд. Т. 1. С. 186; см. также: *Siegelbaum L. Stakhanovism and the Politics of Productivity in the USSR, 1935—1941*. Cambridge: Cambridge University Press, 1988.

370

Потемкин Л.А. Дневник. Т. 5. Л. 39 (4.04.1935).

371

Там же. Л. 32 об. — 33 (24.03.1935).

372

Там же. Л. 45 об. — 46 (10.07.1935); Переписка. Л. 11 (письмо к Жирковой, ноябрь 1937 года); Дневник. Т. 4. Л. 24 (11.01.1933).

373

Потемкин Л.А. Дневник. Т. 5. Л. 48—48 об. (10.07.1935), 39 об. — 40 об. (май 1935 года).

374

Десятый съезд. Т. 1. С. 131.

375

Потемкин Л.А. Переписка. Л. 73—74 (письмо к Жирковой). См.: *Rosenthal G.* New Myth, New World: From Nietzsche to Stalinism. University Park: Pennsylvania State University Press, 2002.

376

Потемкин Л.А. Дневник. Т. 5. Л. 26 об. (05.03.1935), 9 об. (12.1934).

377

Троцкий Л. Литература и революция. М.: Политиздат, 1991. С. 197. Бухарин, выступая на I съезде советских писателей в 1934 году, ссылаясь на Пушкина, который в 14 лет в совершенстве владел иностранными языками и прекрасно знал литературу, и призывал к созданию таких произведений, которые будут «возвышаться неприступными вершинами в истории человечества и в истории искусства» (Первый Всесоюзный съезд советских писателей. С. 503).

378

Потемкин Л.А. Дневник. Т. 5. Л. 17 (30.01.1935), 41—42 (апрель или май 1935 года); *Потемкин Л.А.* Стратегия жизни (рукопись). Л. 70 об.

379

Потемкин Л.А. Дневник. Т. 5. Л. 16 об. (26.01.1935).

380

Там же. Л. 10; Т. 4. Л. 25—25 об. (11.01.1933).

381

Там же. Т. 5. Л. 8 об. (20.12.1934), 6 об. (07.11.1934). Об эстетической привлекательности коммунизма см.: *Гройс Б.* Стиль Сталин.

382

Потемкин Л.А. Дневник. Т. 5. Л. 60—60 об. (январь 1936), 23 об. (после 4.02.1935). Он часто употреблял в одном ряду понятия «смысл» и «красота», исходя из того, что интеллектуальная сила коммунизма тождественна его эстетической привлекательности. Целостный смысл, придаваемый реальности коммунистической идеологией, был, с его точки зрения, равноценен красоте этой идеологии.

383

Потемкин Л.А. Дневник. Л. 10—10 об. (новогодняя запись, 1935 год), 15 (23.01.1935), 47 (после 10.07.1935), 61, 62 (январь 1936 года); Переписка. Л. 177—179 (письмо к матери, 22.11.1936); Десятый съезд. Т. 1. С. 58—59.

384

Потемкин Л.А. Дневник. Т. 5. Л. 47 (после 10.07.1935), 55 (после 28.09.1935).

385

Превращая себя в «инженера человеческих душ», Потемкин, похоже, не задумывался о своей инженерной подготовке. Если профессиональные писатели занимали привилегированное положение в сталинском обществе как

инженеры человеческих душ, то «просто» инженеры и архитекторы создали памятные монументы эпохи: роскошные высотные здания, грандиозные водные пути (Беломорско-Балтийский и Ферганский каналы, канал Москва—Волга) и подземные дворцы (московское метро). По словам одного из инженеров, участвовавших в строительстве Ферганского канала, «понятна радость скульптора, превращающего глыбу мрамора в произведение искусства, которое веками радуется человеку. Но сколь величественнее радость человека, превращающего мертвые земли в цветущие сады, обездоленный край — в счастливый, благоухающий оазис». См.: *Дмитриева Н.* Эстетическая категория прекрасного // Искусство. 1952. № 1. С. 78. См. также: *Lahusen T.* How Life Writes the Book: Real Socialism and Socialist Realism in Stalin's Russia. Ithaca: Cornell University Press, 1997; *Schattenberg S.* Stalins Ingenieure.

386

Потемкин Л.А. Дневник. Т. 5. Л. 1 (01.10.1934).

387

Потемкин Л.А. Дневник. Т. 5. Л. 51—51 об. (после 28.09.1935).

388

Там же. Л. 59 об. — 60 (январь 1936 года).

389

Там же. Т. 4. Л. 25 об. (11.01.1933).

390

Потемкин Л. Диалектический и исторический материализм (ст[удент] III курса РГИ Л. Потемкин), недатированная

рукопись (по штампу на тетради можно определить, что она была изготовлена в 1935 году).

391

Потемкин сначала написал слово «вождь», а потом заменил его словом «вожак». «Вождь» — значительно более серьезное понятие; оно имело однозначные идейно-политические коннотации («общепризнанный идейный, политический руководитель»; см.: *Ожегов С.И., Шведова Н.Ю.* Толковый словарь русского языка. М., 1993. С. 89) и предназначалось для обозначения главным образом Сталина, а также других членов Политбюро.

392

Потемкин Л.А. Дневник. Т. 5. Л. 52, 57—58 об. (после 28.09.1935).

393

Там же. Л. 5 об. — 6 (01.10.1934), 97 об. — 98 (23.09.1936).

394

Потемкин Л.А. Дневник. Т. 5. Л. 98.

395

Переписка с Ирой Жирковой продолжалась более тридцати лет; см. интервью с Потемкиным, 20.04.2002.

396

Потемкин Л.А. Переписка. Л. 76 (письмо от Жирковой, 14.01.1938), 23 (письмо к Жирковой, после 11.11.1937), 62 (письмо от Жирковой, 21.11.1937).

397

Там же. Л. 15, 134 (письма к Жирковой, ноябрь 1937 года и 27.03.1938). Ссылка Потемкина на оранжерею социалистической культуры была не просто метафорой. Чтобы подчеркнуть свою устремленность к жизни, культура сталинской эпохи представляла себя в категориях солнечной теплоты и пышного расцвета. В 1930-е годы Москва была усеяна ларьками, в которых продавались охлажденная газированная вода и мороженое; предполагалось, что вследствие этого город станет похож на южный курорт. Кроме того, во многих учреждениях были установлены кадки с пальмами, см.: *Паперный В.* Культура Два. М.: Новое литературное обозрение, 2006.

398

Потемкин Л.А. Переписка. Л. 61 (письмо к Жирковой, после 24.11.1937).

399

Там же. Л. 18 (письмо от Жирковой, 11.11.1937), 20—27 (письмо к Жирковой, ноябрь 1937 года).

400

Там же. Л. 129, 130, 132 (письма к Жирковой, 09.03.1938, 27.03.1938).

401

Там же. Л. 85, 112—113 (письма Жирковой, 02.02.1938, 27.03.1938). Благодарю Яна Плампера за то, что он подсказал мне термин «утопическая меланхолия».

402

Там же. Л. 139 (письмо к Жирковой, 13.04.1938), 128 (письмо к Жирковой, 09.03.1938); Стратегия жизни. Л. 8.

403

Потемкин Л.А. Переписка, титульный лист.

404

Там же. Л. 100—101 (письмо Жирковой, 20.03.1938).

405

Потемкин Л.А. Дневник. Т. 5. Л. 11 (январь 1935 года);
Переписка. Л. 52 (письмо Жирковой, 24.11.1937).

406

Потемкин Л.А. Переписка. Л. 123 (письмо к Жирковой, 23.02.1938); *Гинзбург Л.* О психологической прозе. Л.: Художественная литература, 1977. С. 16, 60.

407

Потемкин Л.А. Переписка. Л. 8, 73—74, 130 (письма к Жирковой, ноябрь 1937 года, январь 1938 года, 09.03.1938).
О Белинском см., например: *Малинкин А.* Неистовый Виссарион // Молодая гвардия. 1936. № 6; *Бровман Г.* О Белинском и Пушкине // Там же; *Бубнов А.* О В.Г. Белинском // Огонек. № 16. 1936. 30 июня; *Лаврецкий А.* Реализм Белинского // Октябрь. 1936. № 6; *Бровман Г.* Великий критик // Новый мир. 1938. № 6; *Автухов И.Г.* Педагогические взгляды В.Г. Белинского // Советская педагогика. 193. № 6. Ни в одной из этих публикаций и ни в одном из выступлений на X съезде комсомола, где Белинский часто упоминался, его не называли идеалом формирующейся советской личности. Это был собственный вывод Потемкина.

408

Многочисленные выписки из работ Белинского, сделанные Потемкиным, содержатся в двух тетрадях: «В.Г. Белинский» и «В.Г. Белинский. Том 2 (1840—1843)».

В этой записи Потемкин признавался в физическом влечении к женщине, которую не любил. Его радовало то, что он не вступил с нею в половые отношения и сберег «душевную чистоту»; при этом он добавлял: «Может быть, ей придется рассказать обществу обо мне» (*Потемкин Л.А.* Дневник. Т. 5. Л. 84 об. — 85 (лето или осень 1936 года)). Это красноречиво свидетельствует о том, как структуры надзора — опасность быть разоблаченным в качестве аморального и, стало быть, политически неблагонадежного человека — подпитывали стремление вести нравственное существование.

Иовчук М. Белинский: его философские и социально-политические взгляды. М.: Соцэкгиз, 1939. С. 3. Белинский описывал себя как представителя «несчастливого поколения, обремененного проклятием своего злосчастливого времени... Меня радует новое поколение: оно полно жизни и лишено гнилой привычки к разъедающему самоанализу» (цит. по: *Гинзбург Л.Я.* О психологической прозе. С. 79—81).

Потемкин Л.А. Стратегия жизни. Л. 6—6 об. Разрозненные заметки, содержащиеся в рукописи, свидетельствуют о том, что Потемкин собирался использовать ее и переписку с Жирковой для создания более крупного произведения в форме переписки или обсуждения современных ему идеалов личной жизни и новых форм гуманизма (Там же. Л. 20 об.).

Потемкин Л.А. Стратегия жизни. Л. 4, 10—11 об., 3, 5 об., 6 об. Потемкин ссылался на книги, из которых, как можно предположить, были взяты его рецепты самосовершенствования: Мендельсон «Воспитание воли»; Нечаев «Сила воли и ср. ее восп-я (sic!)»; Андреев «Дневник самоконтроля» (Там же. Л. 27 об., 31 об., 39).

413

Там же. Л. 3 об., 7 об.

414

Потемкин Л.А. Стратегия жизни. Л. 6 об.; Дневник. Т. 5. Л. 76—76 об. (август 1936 года).

415

Гройс Б. Стиль Сталин; Интервью с Потемкиным, 11.04.2004.

416

В аналогичном свете Потемкин излагал и биографии членов своей семьи, см.: *Потемкин Л.А.* Родные истоки. С. 129, 141, 155.

417

В 2005 году я помогал Леониду Потемкину с передачей его архива в собрание Государственного архива Российской Федерации (ГАРФ). В ГАРФ его личный архив составляет Фонд 10174. Леонид Потемкин умер в декабре 2007 года, немного не дожив до своего 94-летия.

418

Афиногенов А. Страх. М.: ГИХЛ, 1931.

419

Афиногенов А.Н. Избранное: В 2 т. Т. 2: Пьесы, статьи, выступления. М.: Искусство, 1977. С. 548; см. также: *Wolfson B.* Staging the Soviet Self: Literature, Theater, and Stalinist Culture, 1929—1939. Ph.D. diss. University of California, Berkeley, 2004. P. 140—182.

420

Афиногенов писал пьесу «Страх» в 1930 году, на фоне процесса Промпартии, который упоминается и в дневнике Зинаиды Денисьевской. Он хотел исследовать конфликтный внутренний мир буржуазных специалистов и таким образом объяснить, как они могут совершать чудовищные поступки, в которых их обвиняли. См.: *Cassiday J.A.* The Enemy on Trial: Early Soviet Courts on Stage and Screen. DeKalb: Northern Illinois University Press, 2000. P. 176—181.

421

О Сталине как литературном критике см.: *Симонов К.М.* Глазами человека моего поколения: Размышления об И.В. Сталине. М.: АПН, 1988.

422

Караганов А.В. Жизнь драматурга: Творческий путь Александра Афиногенова. М.: Советский писатель, 1964. С. 8—9. Автобиография, написанная Афиногеновым в 1933 году, цитируется по: *Афанасьев Н.* Я и Он. Александр Афиногенов // Парадокс о драме: Перечитывая пьесы 1920—1930-х гг. М.: Наука, 1993. С. 358—359. Отец Александра Николай печатался под псевдонимом Н. Степной.

423

См.: *Brown E.J.* The Proletarian Episode in Russian Literature, 1928—1932. New York: Columbia University Press, 1953.

424

РГАЛИ. Ф. 2172. Оп. 2. Ед. хр. 49. Л. 2.

425

Первый Всесоюзный съезд советских писателей. С. 5.

426

Kemp-Welch A. Stalin and the Literary Intelligentsia, 1928—1939. New York: St. Martin's, 1991. P. 129—130. По утверждению Николая Афанасьева, Афиногенов в тот период был «общепризнанным лидером» советских драматургов; *Афанасьев Н. Я* и Он. С. 346; см. также: *Wolfson B.* Staging the Soviet Self. P. 14—51.

427

Выступая на съезде советских писателей, Афиногенов защищал «новое» советское употребление слова «душа» от ортодоксально марксистского подхода, характеристику которого он давал по энциклопедии: «Марксистская психология устранила понятие души как бессодержательное и ненаучное» (Первый Всесоюзный съезд советских писателей. С. 429).

428

Караганов А.В. Жизнь драматурга. С. 221—224, 241; *Богуславский А.О., Диев В.А.* Русская советская драматургия: Основные проблемы развития, 1917—1935. М.: Изд-во АН СССР, 1963. С. 301—375.

429

Clark K. The Soviet Novel: History as Ritual. Rev. ed. Bloomington: Indiana University Press, 2000. P. 6—15.

430

Горький и советские писатели: Неизданная переписка. М., 1963. С. 34. Как показывает Борис Вольфсон в своей диссертации «Инсценирование советской личности», неоднозначность персонажей необходима в пьесе «Ложь» для обоснования сценической динамики нарастающего психологического прояснения.

431

РГАЛИ. Ф. 2172. Оп. 3. Ед. хр. 10. Л. 118—119; Ф. 2358. Оп. 1. Ед. хр. 413. Л. 13; *Караганов А.В.* Жизнь драматурга. С. 297; *Афанасьев Н.* Я и Он. Переделанная пьеса «Ложь» была опубликована только в 1982 году, см.: Современная драматургия. 1982. № 1. Как впоследствии вспоминал Афиногенов, в 1933 году он имел часовой разговор со Сталиным, во время которого обсуждались недостатки пьесы (см. запись в дневнике от 11.09.1937; все цитаты из дневника Афиногенова за 1937 год приводятся по: РГАЛИ. Ф. 2172. Оп. 3. Ед. хр. 5).

432

См., например: *Полянский Б.* Кривое зеркало (О пьесах Афиногенова) // Советское искусство. 1936. 11 дек.

433

РГАЛИ. Ф. 2172. Оп. 2. Ед. хр. 82. Л. 13—14.

434

О доходах Афиногенова упоминает в своем дневнике Корней Чуковский, которому рассказал о них другой писатель — Илья Ильф. См.: *Чуковский К.И.* Дневник, 1930—1969. М., 1994. С. 78. См. также: *Афиногенов А.* Избранное. Т. 2. С. 76 (письмо к другу, работавшему в санатории НКВД на Черном море, лето 1935 года); *Он же.* Дневник 1937 года // Современная драматургия. 1993.

№ 2. С. 234 (фотография Афиногенова в его «форде»); РГАЛИ. Ф. 2358. Оп. 3. Ед. хр. 63. Л. 23 об. — 24; Оп. 1. Ед. хр. 413. Л. 19. Свидетельство Пастернака см.: РГАЛИ. Ф. 2565. Ед. хр. 55. Л. 1—3. Дженни (Евгения Бернардовна, 1905—1948), урожденная Шварц, встретила с Афиногеновым во время гастрольной поездки по Советскому Союзу в составе ансамбля современного танца. Она стала его второй женой. В этом браке родились две дочери: Джоя (Джой, 1937 г.р.) и Александра (1942 г.р.).

435

Дачи принадлежали Союзу советских писателей и сдавались в аренду тщательно отбирившимся жильцам. В свою очередь, Союз писателей получал право на литературные произведения, написанные в поселке. См.: *Berelowitch A. Peredelkino: le village des écrivains // Moscou 1918—1941. P. 199—212; Lovell S. Summerfolk: A History of the Dacha, 1710—2000. Ithaca: Cornell University Press, 2003.*

436

Хранящиеся в архиве дневниковые записи Афиногенова до 1937 года состоят из двух частей: 1) остатков дневника за каждый год и 2) папок с вырезками из дневника, объединенными по темам: «быт», «вещи», «празднование Нового года», «дети», «мысли и чувства», «театр», «музыка». РГАЛИ. Ф. 2172. Оп. 1. Ед. хр. 124.

437

Афиногенов А. Избранное. Т. 2. С. 330, 336.

438

Там же. С. 273, 336.

439

Афиногенов А.Н. Расставание (не датировано), личный архив А.А. Афиногенова, Москва; судя по контексту, заметка была написана в 1934 году. Игрицкий: РГАЛИ. Ф. 2172. Оп. 2. Ед. хр. 82. Л. 13.

440

Афиногенов А. Избранное. Т. 2. С. 338 (не датировано, 1935), 226 (не датировано, 1934).

441

РГАЛИ. Ф. 2358. Оп. 1. Ед. хр. 413. Л. 23 (письмо Николаю Петрову, 10.12.1934). Впервые Афиногенов сравнил роль театра с ролью церкви в своем выступлении на I съезде советских писателей, сославшись на замечание Ленина, см.: Первый Всесоюзный съезд советских писателей. С. 431.

442

РГАЛИ. Ф. 2172. Оп. 1. Ед. хр. 119 (14.08.1936). См. также: *Афиногенов А.* Избранное. Т. 2. С. 401 (не датировано, 1936).

443

«Черт знает какая большая жизнь»: РГАЛИ. Ф. 2172. Оп. 3. Ед. хр. 5 (30.01.1937).

444

Правда. 1934. 17 авг.; цит. по: *Brooks J.* Thank You, Comrade Stalin! Soviet Public Culture from Revolution to Cold War. Princeton: Princeton University Press, 1999. P. 116; Первый Всесоюзный съезд советских писателей. С. 279.

445

Первый Всесоюзный съезд советских писателей. С. 279, 429—431; Молодая гвардия. 1936. № 5. С. 18.

446

РГАЛИ. Ф. 2358. Оп. 1. Ед. хр. 413. Л. 23; Первый Всесоюзный съезд советских писателей. С. 430.

447

Правда. 1936. 28 нояб. С. 8; РГАЛИ. Ф. 2172. Оп. 1. Ед. хр. 119 (29.11.1936, 02.12.1936); *Афиногенов А.* Избранное. Т. 2. С. 80 (письмо Б.В. Щукину, 07.01.1937).

448

О борьбе за внутрипартийную демократию см.: *Getty J.A.* Origins of the Great Purges. P. 137—163; РГАЛИ. Ф. 2172. Оп. 3. Ед. хр. 5 (17.03.1937; 05.04.1937). Лишь очень немногие отрывки из объемистого дневника Афиногенова за 1937—1938 годы были опубликованы в издании 1977 года (Избранное. Т. 2). Доступ к оригиналу дневника исследователи получили только после 1991 года. Часть записей была напечатана в: *Афиногенов А.* Дневник 1937 года // Современная драматургия. 1993. № 1. С. 239—253; № 2. С. 223—241; № 3. С. 217—230.

449

Правда. 1937. 29 марта и 1 апр.; *Гинзбург Е.С.* Крутой маршрут. М.: Советский писатель, 1990. С. 12; *Хлевнюк О.В.* 1937-й: Сталин, НКВД и советское общество. М.: Республика, 1992. С. 137—138; Литературная газета. 1937. 30 марта. С. 5.

450

Правда. 1937. 4 апр. С. 1; РГАЛИ. Ф. 2172. Оп. 3. Ед. хр. 5 (05.04.1937). В 1936 году Афиногенов разорвал дружбу с Киршоном, который, собственно, и связывал его с Ягодой, так что в дом Ягоды его больше не приглашали. Известно,

что общества руководителей НКВД искали и другие писатели, в частности Горький, Исаак Бабель и Всеволод Иванов. См.: *Шенталинский В.* Преступление без наказания: Русские писатели в пору Большого террора. М.: Прогресс-Плеяда, 2011; РГАЛИ. Ф. 2172. Оп. 3. Ед. хр. 5 (01.01.1937, 10.09.1937).

451

Правда. 1937. 23 апр. С. 1—3; Литературная газета. 1937. 26 апр. С. 2; РГАЛИ. Ф. 631. Оп. 2. Ед. хр. 222 (протокол собрания).

452

Комсомольская правда. 1937. 29 апр. С. 4; 1937. 30 апр. С. 4.

453

Литературная газета. 15.05.1937. С. 1; см. также: РГАЛИ. Ф. 2172. Оп. 3. Ед. хр. 5 (20.05.1937); РГАЛИ. Ф. 2172. Оп. 3. Ед. хр. 5 (03.04.1937; 18.05.1937; 7.07.1937). Возможно, Афиногенов избежал ареста, потому что полностью признался, тогда как опровержение Киршоном своей вины лишь усилило подозрения в том, что он скрывает свою антисоветскую сущность, и таким образом привел к его скорейшему аресту. 20 апреля — 6 мая 1937 года Киршон написал Сталину четыре письма, в которых подчеркивал, что его большевистская совесть чиста. Он также жаловался на то, что в печати «клеветническая и антисоветская пьеса Афиногенова “Ложь” упоминается рядом с его произведениями. Только в последних строках четвертого письма Киршона звучала самокритика: из-за связи с «преступником Ягодой» он «разложился и как коммунист, и как человек». «Я оказался политическим слепцом»: Письма В.М. Киршона И.В. Сталину // Источник. 2000. № 1. С. 83, 89.

454

РГАЛИ. Ф. 2172. Оп. 3. Ед. хр. 5 (29.04.1937). Жертвами чистки стали такие обитатели Переделкино, как Исаак Бабель, Бруно Ясенский, Борис Пильняк, Артем Веселый и Владимир Зазубрин, см.: *Berelowitch A. Peredelkino*. P. 199—212.

455

РГАЛИ. Ф. 2172. Оп. 3. Ед. хр. 5 (29.04.1937).

456

Rebirth // New Catholic Encyclopedia. Vol. 12. New York: McGraw-Hill, 1967. P. 123—125; *Clark K. The Soviet Novel*. P. 174.

457

РГАЛИ. Ф. 2172. Оп. 3. Ед. хр. 5 (29.04.1937).

458

Литературная газета. 1937. 20 мая. С. 1; РГАЛИ. Ф. 2172. Оп. 3. Ед. хр. 5 (02.05.1937).

459

РГАЛИ. Ф. 2172. Оп. 3. Ед. хр. 5 (30.04.1937; 02.05.1937). Если, как писал Афиногенов, венгерский писатель-коммунист Бела Иллеш и пытался отравиться, то он остался в живых. Иллеш (1895—1974) в 1923—1945 годах жил в Советском Союзе и до роспуска организации в 1932 году был одним из ведущих функционеров РАПП. Связь с РАПП, очевидно, и доставила ему неприятности в 1937 году, но что именно с ним случилось во время чисток, неясно. См.: *A magyar irodalom története*. № 6. Budapest: Akadémiai kiadó, 1966. P. 412—413; Краткая литературная

энциклопедия. М.: Изд-во «Советская энциклопедия», 1966.
Т. 3. Кол. 85.

460

РГАЛИ. Ф. 2172. Оп. 3. Ед. хр. 5 (20.05.1937).

461

Там же (25.05.1937; см. также: 6.02.1937).

462

РГАЛИ. Ф. 2172. Оп. 3. Ед. хр. 5 (08.06.1937; 26.07.1937).

463

Там же (26.07.1937).

464

Там же (19.07.1937). В этот период Афиногенов неоднократно сравнивал себя с Робинзоном Крузо. История Крузо давно признана «секулярной версией» пуританской автобиографии. На острове, внимательно читая Библию, Робинзон становится истинно верующим. Крузо осознает, что его изгнание было Божьей карой за грех, состоявший в том, что он не послушался отца, не хотевшего, чтобы он выходил в море. См.: *Starr G.A. Defoe and Spiritual Autobiography. Princeton: Princeton University Press, 1965*; РГАЛИ. Ф. 2172. Оп. 3. Ед. хр. 5 (01.05.1937).

465

РГАЛИ. Ф. 2172. Оп. 3. Ед. хр. 5 (07.07.1937).

466

Там же (29.07.1937).

467

Там же (04.08.1937; 09.08.1937).

468

Советские люди, жившие при Сталине, часто называют это явление расколотым сознанием или «двоедушием».

См.: *Гордон Л.А., Клопов Е.В.* Что это было? Размышления о предпосылках и итогах того, что случилось с нами в 30—40-е гг. М.: Политиздат, 1989. С. 221—242; *Kotkin S.* Magnetic Mountain. P. 225—230.

469

Halfin I. Terror in My Soul. P. 51—64.

470

Swaim K.M. Pilgrim's Progress, Puritan Progress: Discourses and Contexts. Urbana: University of Illinois Press, 1993. P. 139.

471

РГАЛИ. Ф. 2172. Оп. 3. Ед. хр. 5 (10.09.1937; 11.09.1937; 02.10.1937; 03.10.1937; 25.10.1937).

472

Там же (24.09.1937); только за период с мая по октябрь 1937 года такие диалектические переходы обнаруживаются в дневнике 21 раз.

473

Там же (20.05.1937).

474

Там же (16.08.1937).

475

Дочь Афиногенова подтверждает, что в конце лета 1937 года ее отец в буквальном смысле сидел на чемоданах. Интервью с Александрой Афиногеновой, 19.12.2004.

476

РГАЛИ. Ф. 2172. Оп. 3. Ед. хр. 5 (26.06.1937; 21.09.1937; 23.09.1937, 02.10.1937, 03.10.1937; 25.10.1937). См. также: *Пастернак Е.Б.* Борис Пастернак: биография. М.: Цитадель, 1997.

477

См. описание Афиногеновым ареста его соседа Валериана Правдухина: РГАЛИ. Ф. 2172. Оп. 3. Ед. хр. 5 (17.08.1937).

478

РГАЛИ. Ф. 2172. Оп. 3. Ед. хр. 5 (9.09.1937).

479

Там же (01.09.1937).

480

РГАЛИ. Ф. 2172. Оп. 3. Ед. хр. 5 (12.09.1937).

481

Там же (18.12.1937, 22.12.1937). Роман не был завершен. Первые девять его глав были опубликованы в 1958 году: *Афиногенов А.Н.* Три года // Театр. 1958. № 3.

482

РГАЛИ. Ф. 2172. Оп. 3. Ед. хр. 5 (11.10.1937; см. также 18.12.1937).

483

ГАЛИ. Ф. 2172. Оп. 3. Ед. хр. 5 (4.09.1937).

484

Там же (05.09.1937).

485

Там же (07.10.1937).

486

ГАЛИ. Ф. 2172. Оп. 3. Ед. хр. 5 (04.11.1937; 16.11.1937).

487

Там же (30.12.1937).

488

РГАЛИ. Ф. 2172. Оп. 3. Ед. хр. 6 (03.02.1938).

489

Там же.

490

Там же (03.02.1938; 04.02.1938); *Афиногенов А.* Избранное. Т. 2 (письмо Н.В. Петрову, 2.12.1938).

491

Там же (16.03.1938). Имеется в виду роман В. Каверина «Исполнение желаний».

492

РГАЛИ. Ф. 2172. Оп. 3. Ед. хр. 6 (07.02.1938; 08.02.1938; 09.02.1938; 10.02.1938).

493

РГАЛИ. Ф. 2172. Оп. 2. Ед. хр. 43. Л. 195, 198 (15.02.1939, 27.02.1939); *Афанасьев А.Н.* Я и Он. С. 348. Премьера пьесы

«Мать своих детей» все-таки состоялась в конце 1939 года. В марте 1941 года в Театре им. Моссовета была поставлена еще одна новая пьеса Афиногенова — «Машенька». Спектакль шел с аншлагом; его продолжали ставить и после войны. Если Афиногенова сейчас вообще помнят, то преимущественно как автора «Машеньки»; *Афиногенов А.* Избранное. Т. 1. С. 551—552.

494

РГАЛИ. Ф. 2172. Оп. 2. Ед. хр. 43 (не датировано, 1939); Ед. хр. 44. Л. 4.

495

Там же. Ед. хр. 44. Л. 3—3 об. (01.07.1941).

496

Караганов А.В. Жизнь драматурга. С. 515. В пятую годовщину смерти Афиногенова писатель Борис Горбатов заметил: «Он умер очень хорошей смертью... что-то символическое есть в этой смерти — это смерть большевика, коммуниста, такого, каким мы все знали Афиногенова» (РГАЛИ. Ф. 1614. Оп. 1. Ед. хр. 255. Л. 13). О представлениях советских коммунистов о смерти см.: *Halfin I.* Terror in My Soul. P. 274—284.

497

РГАЛИ. Ф. 2172. Оп. 2. Ед. хр. 44 (01.07.1941).

498

Это представление о себе как субъекте истории подтолкнуло Николая Бухарина к написанию письма, обращенного к «будущему поколению советских руководителей». Он сочинил это письмо накануне ареста и попросил жену выучить его наизусть, чтобы послание,

заклученное в нем, сохранилось и после его смерти. Бухарин предполагал, что приговор ему должна вынести «мировая история», выступающая как «мировое судилище». См.: *Ларина А.М.* Незабываемое. М.: Изд-во АПН, 1989; *Tucker R., Cohen S. (eds.).* The Great Purge Trial. New York: Grosset & Dunlap, 1965. P. 667.

499

Пастернак: РГАЛИ. Ф. 2565. Ед. хр. 55. Л. 1—2; Игрицкий: РГАЛИ. Ф. 2172. Оп. 1. Ед. хр. 256. Л. 12—13.

500

РГАЛИ. Ф. 1614. Оп. 1. Ед. хр. 255. Л. 22—24.

501

О Федорове см. главу 2, а также: *Masing-Delic I.* Abolishing Death: A Salvation Myth of Russian Twentieth-Century Literature. Stanford: Stanford University Press, 1992.

502

Судьба Афиногенова постоянно «переписывается». В советском издании его дневника в 1977 году были подвергнуты цензуре охватившие его в 1937 году индивидуалистические настроения, в результате он предстал стойким коммунистом, а в более поздней публикации предпочтение отдавалось именно опущенным в предыдущем издании фрагментам и Афиногенов представал субъектом, сопротивлявшимся сталинскому режиму, см.: *Афиногенов А.* Избранное. Т. 2; *Он же.* Дневник 1937 года.

503

См. в особенности роман Артура Кестлера «Слепая тьма».

504

ЦДНА. Ф. 336. Оп. 1. Ед. хр. 32 (28.07.1932).

505

Паперно И. Советский опыт, автобиографическое письмо и историческое сознание: Гинзбург, Герцен, Гегель // Новое литературное обозрение. 2004. № 68; *Она же.* Николай Чернышевский — человек эпохи реализма.

506

Добренко Е. Формовка советского писателя; *Fitzpatrick S.* Education and Social Mobility.

507

Cohen Y. La co-construction de la personne et de la bureaucratie: de la subjectivité de Staline et des cadres industriels soviétiques à travers de nouveaux usages des sources (années 30) // Haumann H., Studer B. (eds.). The Relations between Individual and System under Stalinism. München: Chronos, 2005.

508

Пятницкий В.И. (ред.). Голгофа. С. 51 (01.03.1938).

509

Об этом см.: *Naiman E.* On Soviet Subjects and the Scholars Who Make Them // Russian Review. 2001. Vol. 60. № 3. P. 307—315; см. также дискуссию «Анализ советских практик субъектности» в: *Ab Imperio.* 2002. № 3. P. 217—402. Отношение между принуждением и желанием блестяще проанализировано в: *Lahusen T.* How Life Writes the Book. P. 41—61.

510

Аспект нравственного самовоспитания не обсуждается в научных описаниях советской цензуры. См.: *Блюм А.В.* Советская цензура в эпоху тотального террора: 1929—1953. СПб.: Академический проект, 2000; *Ermolaev H.* *Censorship in Soviet Literature, 1917—1991.* Lanham, Md.: Rowman and Littlefield, 1997.

511

Пятницкий В.И. (ред.). Голгофа. С. 62 (19.03.1938).

512

См.: *Гройс Б.* Стиль Сталин.

513

См., помимо дневников Аркадия Манькова и Ольги Берггольц, последнее слово Николая Бухарина на суде.

514

См. дневники Николая Устрялова, Аркадия Манькова и Жени Рудневой («Служить родине приходится костями...»). С. 71 (18.02.1937); *Маньков А.* Дневники 30-х годов. С. 75—78 (31.07.1933); *Руднева Е.* Пока стучит сердце. С. 51 (11.01.1938)); см. также: *Robin R.* *Socialist Realism: An Impossible Aesthetic.* Stanford: Stanford University Press, 1992. P. 114—148.

515

Sorel G. *Reflections on Violence.* Cambridge: Cambridge University Press, 1999; *Jünger E.* *Storm of Steel.* London: Allen Lane, 2003; *Benjamin W.* *Critique of Violence* // Benjamin W. *Reflections: Essays, Aphorisms, Autobiographical Writings.* New York: Harcourt Brace Jovanovich, 1978.

516

ОР РГБ. Ф. 442. Оп. 1. Ед. хр. 10 (9.11.1936); *Евтушенко Е. Две любимых* // Евтушенко Е. Взмах руки: Стихи. М.: Молодая гвардия, 1962. С. 126—127; см. также: *Boym S. Common Places: Mythologies of Everyday Life in Russia*. Cambridge, Mass.: Harvard University Press, 1994. P. 65.

Йохен Хелльбек

Революция от первого лица: дневники сталинской эпохи

Дизайнер А. Рыбаков

Редактор И. Калинин

Корректоры О. Семченко, С. Крючкова

Компьютерная верстка Л. Ланцова

Адрес издательства:

123104, Москва, Тверской бульвар, 13, стр. 1

тел./факс: (495) 229-91-03

e-mail: real@nlobooks.ru